НЁМАН

8/2012
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 04.08.2012 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,66. Тираж 3202. Заказ 2279.
Цена номера в розницу 12 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



НИКОЛАЙ ЕЛЕНЕВСКИЙ

Мытари и фарисеи

Роман[*]

Последним офицерам
Вооруженных Сил Советского Союза

* * *

Дождь поутих. Над Крестыновом в облачной рваности появились голубые дыры, в которые с оглядкой прокрадывался солнечный луч, подчеркивая, что днем в осенней унылости улица еще больше постарела. Ночью этого не видел. Вот два дома с заколоченными окнами, там сараи пошли набок, давно позабыв о хозяйской руке. Асфальт где продавился, где вздыбился, а где и вовсе блестел ямами, наполненными холодной водой. Мать их старательно обходила, негодовала:

— Как начали перекупщики за бульбой приезжать, так своими фурами все улицы угробили: ни пройти, ни проехать. Ты хоть свою машину не продал? И не продавай. У кого машина, тот хоть как-то еще двигается…

Она говорила так, словно мой перевод уже состоялся или состоится обязательно, и это она не подвергала сомнению. Еще в Минске на вокзале в ожидании поезда взял газету. В рекламной странице чисто случайно наткнулся на объявление: «Куплю ордена, медали, старинные деньги, иконы». Крамольная мысль: «А что, если…» застряла в голове и не давала покоя. Подумал, приеду, позвоню этому коллекционеру, узнаю расценки…

— Сынок, ты бы под ноги смотрел, а то идешь как попадя. Все лужи твои, — упрекнула мать, — принесем людям мокроты в хату, прямо неудобно.

У высокого забора из оцинкованного листа мать остановилась, осмотрела обувь, провела подошвами резиновых полусапожек по траве и нажала на черную кнопочку электрического звонка на железном столбе. По ту сторону исходил громкой злобою пес.

— У них не собака, а сущий дьявол, — мать еще раз нажала на кнопочку, — хоть и на цепи, да все равно страхом пробирает.

От кирпичного дома, крытого такой же цинковой жестью, с большой застекленной верандой донеслось:

— Кто?

— Верка, это я, тетка Маруся, вот сын приехал, хочет попользоваться вашим телефоном!

— Проходите, я собаку на короткую цепь посажу.

И на калитке громко щелкнул электромагнитный замок…

---

* Окончание. Начало в № 7, 2012 г.

— Кто к нам пожаловал? — из полуоткрытой двери в просторную прихожую, хорошо и со вкусом обставленную, выглядывало сморщенное, похожее на печеное яблоко лицо.

— Ну, тебя еще не спросили, вечно высунешься, не дашь с людьми поговорить, — и хозяйка собралась прикрыть дверь в соседнюю комнатку, но лицо уперлось и не хотело прятаться.

— Чего ты мне рот затыкаешь, чего? И так как в тюрьме бедую…

— Началось, — негодующе произнесла хозяйка, — скажи еще, что тебя не кормят, не поят, спать не дают…

Старушка упрямо не давала закрыть дверь в свою комнатку.

— Это ты, Маруська, видишь, что они со мною делают, свежего человека только по телевизору вижу, а так, чтобы поговорить… Вот дожилась так дожилась, никому я, Маруська, не нужна, смогли бы, так живой в могилу закопали, антихристовы дети.

— Мать, ну что ты такое говоришь, не позорь…

— Вы и так опозорились, на грошах помешанные… я вам…

Хозяйке все же удалось отправить старушку за дверь и повернуть ключ в замочной скважине.

— Так оно спокойней будет, а то ведь не даст позвонить. Как кто придет, так обязательно встрянет и начинает учить уму-разуму. Тетя Маруся, давайте в залу пройдем, а Коля пусть телефонует. На межгород через ноль, а потом восьмерка, — пояснила она.

Несколько раз набрал номер коллекционера, но из белой трубки все время доносилось пипиканье, оповещавшее, что номер занят. Подумал: «Востребован человек!»

В боковую дверь громко стучали, и оттуда донеслось: «Открой, кому говорят, открой, а то милицию вызову! Мне с Маруськой надо поговорить, открой!» — опять стук. Под это грозное требование во двор въехала машина, послышались радостное повизгивание собаки, веселый громкий мужской голос: «Мухтарик, это кто тебя так коротко зацеповал? Хозяйка? Ну, сейчас мы ей выделим по полной норме».

В прихожую вошел Рымашевский, высокий, рыжеволосый, в кожаной куртке и новеньких джинсах:

— О, у нас, оказывается, гости! Никак пан Лунянин пожаловал? Какими судьбами? Сколько лет все мимо да мимо… Почему на столе пусто? Где хозяйка? Верка, Верочка, почему на столе пусто? — Он энергично сбросил кожаную куртку, повесил на стул. — Так с гостями никто не поступает, а Рымашевские тем более. — И не дожидаясь жены, несуетливо, но быстро доставал из огромного холодильника котлеты, уже нарезанные сыр, колбасу. Оттуда же извлек запотевшую бутылку, пояснил: «Виски, шотландское!»

— Вот теперь и разговор пойдет как по маслу. Ну что? По маленькой! — налил в хрустальные рюмки. — Первая — за встречу! Хороший напиток, когда в Польше первый раз попробовал, сказал, что на другой не променяю, даже на коньяк. Нет, в Польше виски не очень жалуют, там водка «Выборова» и все, а мне понравилось. Легло на душу… Так, между первой и второй, как говорят в народе, чтобы и пуля не просвистела. Ты ешь, ешь, — и подсовывал поближе тарелки с закуской, радостный и довольный своей щедростью. — В Ташкенте виски пьют, или о нем и не слышали? Как их там, калмыки, узбеки, таджики, чем они угощают? У них свое, у нас — свое! Я так понимаю, тебя сюда не радость привела? Хотя чего спрашиваю, на твоем лице написано! Будешь еще? Не брезгуй! Школу ведь одну заканчивали, по одним улицам бегали, под

одним дождем мокли… Я понимаю, у тебя в армии авторитет, писали про это, а для меня ты свой, просто Колька с Залома. Ты не обижайся…

Рымашевский говорил и говорил. Самодовольство сквозило в каждом его движении, начиная с поднятия налитой рюмки до нанизывания на вилку куска сухой колбасы. Он в родной деревне уже причислил себя к категории тех, кого слушают, чье мнение главное, а остальные или должны выслушивать, или убираться восвояси. И я был для него интересен как человек, который и понятия не имеет о возможностях, какими обладал хозяин, и главное, чтобы человек почувствовал, понял, восхитился им и… позавидовал. Мое равнодушие его только распаляло, даже слегка злило.

— Что, не идет? — и предложил: — У меня еще один интересный напиток есть. Давай испробуем! Вера-а-а!

На его требовательный зов Вера появилась, как по мановению волшебной палочки. Подбежала, обняла, погладила по рыжим волосам:

— А я слышала, ты приехал, да мы с тетей Марией как раз фотографии, которые ты из Франции привез, рассматривали. Дай буську, дорогой!

Он подставил щеку, она вкусно чмокнула:

— Что тебе, дорогой?

— Принеси из серванта ту, которую мне в Париже один знакомый француз подарил! Дорогая, зараза!

Я протестующее поднял руку, и в моем жесте он быстро уловил, что принесенная бутылка не должна откупориваться, вяло согласился:

— Если гость против, так за ворот лить не будем. Ладно, иди.

Вера, круглолицая, полненькая, крепенькая, похожая на колобок, увенчанный толстой косой светлых волос, облегченно вздохнув, быстренько, как и явилась, исчезла. Рымашевский пошел переодеваться, а я стал снова названивать по телефону, но попытки оказались тщетными. Он вернулся в прихожую в старенькой выгоревшей рубашонке, старых брюках, в старых шлепанцах. Налил себе стопку:

— Как умные люди говорят: «Бойся первой чарки». Да ладно, из чужого рта не забираю. Тебя что, не хотят слушать? И меня когда-то не хотели. — Он вертел в сильных пальцах пустую рюмку, аккуратно протирая о толстую льняную скатерть. — Да, не хотели. Я для них просто червяк. Так к своей власти привыкли. Самое страшное, когда человек привыкает к власти. Это уже не человек… Бывало, к кому в том же райисполкоме не подойду, руками отмахивались, а теперь… Да что говорить, были негодяи, негодяями и остались. Одно слово, позолоти ручку, и все! Позолотил, и все проблемы сняты. Так присосались, хуже пиявок.

— Отдирай!

— Одну отдерешь, а две новые на ее место. Моего деда такие со свету сжили. — Он замолчал, думая о чем-то своем. В прихожую заглянула мать:

— Ну что, сынок, все никак? Тогда пойдем, чего людям докучать? Если что, завтра.

Я поднялся, но он жестом дал понять, что разговор не окончен:

— Подожди, так что за проблемы?

— Спасибо за угощение, мои проблемы мне и решать.

— Во как!.. Отстал ты на диком Востоке, Колька с Залома, от жизни, отстал. Смотри, бросишься догонять, да будет поздно. Заходи, если чего, — и он пожал руку, словно ухватил ее клещами.

После обеда я собрался колоть дрова. Мать попросила:

— Перекинь, сынок, пару поленьев, пока дождя нет. Да завтра пару, глядишь, помалу и отовaришь их, а то ведь придется нанимать кого-нибудь.

Колка шла трудно. Если ольха поддавалась, то береза топор зажимала так, что не выдернуть, пришлось приспосабливать клин. Через полчаса начало ныть плечо, и я понял — этой работы мне хватит на все оставшиеся дни.

— А мы идем, смотрим, кто это здесь так мучается? — уже слегка навеселе подошли Антон с Иваном, колхозные механизаторы. Каждый со своим топором, видимо, уже побывали дома.

— У нас сейчас полная безработица: ни работы, ни солярки, ни запчастей, — поясняет Антон. — Председатель говорит, хлопцы, будьте дома, мне хлопот меньше. Идем, видим, человек мучается, решили, без нас пропадет. — Я понял: они надеялись на угощение, вид свидетельствовал, что им с утра что-то перепало, но мало. Их состояние вызвало тревогу: дрова колоть — не стакан подносить. Но моя тревога оказалась ложной. Антон с Иваном начали привычно и сноровисто махать топорами, да еще слегка подтрунивать надо мной: «Дрова на щепку не переводи, Николай Никитич….», «Во, это тебе не басмачей бить, бери поленце попроще, а нам оставляй сучковатые да комляки».

Широкоплечий, здоровенный Антон, поплевав в ладони, чтобы отполированное отцами и дедами топорище случайно не выскользнуло из его могучих рук, брал силой: его топор с такой силой обрушивался на полено, что, казалось, не только полено, но земля расколется, как грецкий орех. И все это завершалось громким «га-ах!».

Маленький верткий Иван брал сноровкой. Он каждое полено осматривал, как бы и куда получше ударить, ставил поудобнее, и топор еще не успевал коснуться полена, как оно словно само распадалось на ровные части, и приговаривал: «Наше вам тюк». Поленца у него не отлетали за полметра, как у Антона, а оставались лежать рядышком. После часа громкого гаканья Антон решил перекурить, а Иван все так же неутомимо и расчетливо тюкал.

Когда гора нарезанных поленьев почти вся перекочевала в поленницу и осталась самая малость, Иван обеспокоенно осведомился: «Никитич, как у тебя с горючим, чтобы в наши бензобаки залить?.. Пока остаток добьем, ты придумай что-нибудь для поднятия настроения безработных механизаторов». Он добродушно смахнул пот со лба. Его с той же улыбкой поддержал Антон.

Пришлось идти и придумывать.

Мать быстренько накрыла на кухне стол, высказав свое предположение, что одной бутылкой здесь не обойдешься, спрятала за шкафчик еще одну. «Для них одной мало будет, я этих хлопцев хорошо знаю», — и начала выпроваживать Анюту:

— Все, выспалась, теперь иди домой!

Растрепанная, мятая Анюта, увидев на столе бутылку, встрепенулась, начала упираться:

— Теточка Марусечка, я еще полежу, ну что вы меня гоните, как собаку, я же не мешаю. На дворе дождь, а вы гоните меня.

— Давно дождя нет, уже дело к вечеру, собирайся, собирайся.

— А что, гости какие будут или как?

— Ну, если так, пойду позову Петра, — пригрозила мать. И только после этого Анюта, с сожалением оглядев накрытый стол, бросила в мою сторону умоляющий взгляд, но, не найдя поддержки, дрожащей рукой долго открывала и закрывала дверь.

Антон воспротивился идти в хату:

— Давай сюда, вот под навесом присядем. Зачем нам хата?

— Да как-то неудобно, — начал уговаривать я, — там мать все пристроила…

— Неудобно, когда ширинка очутилась сзади, — Антон начал из старых досок сооружать под навесом подобие стола.

— Да не пойдет он в хату, — подтвердил Иван, — уперся, как индюк. В хату надо через двор идти, а там Света увидит. Скандал будет, у него ведь свои дрова топора просят, так что, Никитич, неси сюда.

— Нет, хлопцы, не будем смешить людей.

— Их теперь насмешишь, — хихикнул Иван, — их уже так насмешили, что от смеха ажно скулы сводит… Ладно, в хату так в хату. Ты, Антон, давай первым, да напрямую, под яблонями, а мы с Никитичем по двору, по-хозяйски.

Одной бутылки и впрямь оказалось мало. Глядя на пустые стаканы, Антон с Иваном сокрушенно вздыхали, намекали, что, мол, такая работа трудная, а оказалась низкооплачиваемая, и несказанно обрадовались, когда я из-за кухонного шкафчика достал еще одну.

— Я вам, Никитич, вот что скажу, — Иван аккуратненько наливал вначале Антону, а затем себе, — дело вовсе не в выпивке, а в уважении. Мы же могли пройти мимо? Могли! Да не прошли?!

— Естественно!

— Вот здесь корень самого большого уважения, как говорится, весь айсберг, а наверху, — Иван показал на стакан, — наверху только видимая часть. Вот почему коммунистам под зад дали! Заслужили!

Потянувшийся за соленым огурцом Антон насторожился:

— Ты коммунистов не трогай!

— Вот, вот, — Иван насупился, — у него вечно не трогай. А ведь при коммунистах мы были рабами плановой экономики, рабами стандартного мышления, закрепощены в своих возможностях донельзя… Если пальто, так у всех одинаковое, если костюм, тоже. Над нами весь мир смеялся. Везде цензура, слово боялись сказать. Теперь у нас свое независимое государство! Свое! Трудности пройдут, наступят лучшие времена.

— Погоди, погоди, вот тебя раскрепостили, и что ты имеешь, — Антон грозно уставился на Ивана, — что, я тебя спрашиваю? Дырку от бублика! Его раскрепостили! Двое штанов надеваешь, чтобы голой задницей не светить, и это пару лет прошло, а дальше что, когда эти штаны сносишь?

— Допустим, двое надеваю по привычке, — оправдывался Иван, — в холодное время. Но суть не в том, сколько я штанов надеваю…

— А в том, заработаешь ли ты на них? — наседал Антон. — Теперь на такие штаны, как Рымашевский носит, надо полгода пахать, да и то не в нашем колхозе. При коммунистах я в санатории ездил, мои дети образование получили. Страна была… Помнишь, как мы с тобою на день колхозника пели? — И Антон запел: — Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!

Антон взял кусок:

— Ты не пел, ты горланил, аж эхо шло! А теперь, демократы, демократы… Покажи мне хоть одного демократа! Где он, тот, который народу последний рубль отдаст! Нет таких и не будет! Правильно тетя Танька говорит, надо было их всех в Беловежской пуще за одно место на дубах развесить. Гирляндой, от одного дуба к другому. Или я не прав, Никитич? Будь жив Андропов, он бы их… Раскрепостили…Теперь твои дети будут на Рымашевского батрачить!

— Не будут! — взвился Иван.

— Будут! Еще как будут! И внуки тоже!

— Ну, еще за чубы возьмитесь, — встряла в назревавшую перепалку обеспокоенная мать, — будете дома политикой заниматься, а у меня выпили, перекусили и спасибо за помощь!

Мужики поняли, что пора закругляться, не закусывая, допили остатки водки. Мы молча вышли во двор.

— Я одно знаю, Никитич, какой бы справедливый дележ ни произошел, а добра он никому не принесет, нутром чую. Я сам коммунистом был. Иван меня ганьбил на каждом углу, скажи Иван.

— Ганьбил, и сейчас ганьблю, и буду ганьбить, потому как пустобрехи, хапуги, и революцию вы делали зазря. Для кого делали? Для верхушки! Вот она жила припеваючи! Мой двоюродный брат самого секретаря райкома партии возил. Как начнет рассказывать, так мне слюной горло забивало. О тех, кто повыше этого секретаря, и говорить страшно. А ты, Антон, что имел? Мозоли на ладонях, ну, еще грамотками да путевками твою душу ублажали, чтобы не взбунтовалась. Цыганчуку вот орден отвалили, он его продал и правильно сделал. Сколько раз я тебе говорил: рыба гниет с головы!

На улице уже стемнело. По домам брызнули светом квадраты окон.

— Николай, включи свет во дворе, а то всю грязь выберут, — донеслось из кухни материнское предупреждение, — да проводи до калитки.

— Не волнуйся, дорогой Никитич, не волнуйся, механизаторы народ очень устойчивый. — Иван обнял Антона, и тот предложил: — Пошли сначала ко мне, а то Светка может приложить чем попадя.

— Не приложит, — заверил Иван, — давай споем!

— Давай, — и Антон басисто затянул: — Широка страна моя родная…

— Много в ней лесов, полей и рек, — подхватил своим тенорком Иван.

Как будто в насмешку над молчаливой, усталой, продрогшей, изнервничавшейся деревней песня поплыла вместе с ними, пока не застыла, не затопталась на месте, а затем и вовсе затихла у калитки Антонового подворья. Недалеко свое заунывное «гав-у-у» затянул чей-то голодный пес.

* * *

Ночью опять долго не мог уснуть. Слышал, как за перегородкой обеспокоенно ходила по своей комнатушке мать. Назавтра с утра пораньше отправился в почтовое отделение. Находилось оно в центре села в одном помещении с магазином, кафе и отделением сбербанка. Почтальоны, а это были пожилые женщины, почти всю жизнь развозившие на велосипедах по длинным улицам газеты, журналы, бандероли, сейчас, переговариваясь о новых ценах на товары, собирали в свои тощие сумки только что доставленную из райцентра корреспонденцию. Обслуживавшая нашу улицу полная, добродушная Ольга, когда-то в школьные годы прекрасная легкоатлетка, чья фотография до сих пор красовалась на школьном стенде, спросила:

— Каким ветром к нам задуло, Николай? Никак, на родину потянуло?

— Потянуло.

— Что-то в последнее время совсем матери редко пишешь. Ты нам скажи, неужели и в Ташкенте так плохо? Там же так тепло и все растет, только в землю ткни…

— Тепло, даже очень.

— Так и оставался бы, здесь мало радости.

— Ну, ты, Оля, и скажешь, — заперечили подруги, — как жить, если все кругом чужое. Ты, Николай, ее не слушай, перебирайся поближе к матери.

— Одна радость, что поближе, — Ольга хлопнула ладонью по сумке, — раньше плечо отрывала, а теперь никто ничего читать не желает. Все сплетни по телевизору слышат.

— Так уж и сплетни?

— А кто сейчас правду говорит, кругом только сплетни, — здесь женщины дружно встали на сторону Ольги и принялись так рьяно отстаивать свою правоту, что мне оставалось только поднять руки:

— Сдаюсь, сдаюсь.

— В армии, может, не так обманывают, или тоже всякого хватает?

Я улыбнулся и направился в кабинку для междугородных переговоров. На этот раз коллекционер отозвался сразу. Деловито осведомился об орденах, их номерах, кому и за что были выданы.

— Ордена мои.

— И «Ленина»?

— И «Ленина», а что?

— Хорошо. — Он деловито назвал расценки, спросил, когда мы можем встретиться. Узнав, что я не в Минске, помолчал, затем проговорил: — Когда надумаете приехать, сообщите заранее. — Тем самым дал понять, что человек он очень занятой.

Даже продав три ордена, — Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, — я не набирал требуемой суммы. Предстояло идти на поклон к Рымашевскому. Только о нем подумал, как мы встретились у входа в магазин, — мать попросила купить хлеба, — он уже выходил из него, чему-то улыбаясь:

— Ну, подполковник, никак, решил отовариться? Хлебом? Так здесь хлеб вчерашний или позавчерашний, а у меня свежий, сегодняшний. Посмотрел, удивляюсь, как они еще выживают. Ползают вместе с заведующей по магазину, сонные мухи… Вон одна такая…

Высокая продавщица в белом застиранном халате старательно соскребывала со стены магазина какое-то объявление. Рядом стояли двое парней и комично притоптывали: «Олька, и кто же такое сотворил? Как там прописано?» — и один из них стал громко напевать:

— Коммунисты — говнюки,
Демократы — суки!
Обрубить им языки,
Повыдергвать руки!

Продавщица испуганно оглянулась, шикнула:

— Да тише ты, раскричался!

— Так ведь, Олька, по простоте душевной. Ты не бойся, отбоялись!

Рымашевский подмигнул:

— Слыхал? То-то и оно, как ни верти, а вокруг говно.

— Складно.

— Есть здесь один такой сочинитель, давай, говорит, поэму напишу… Ладно, садись, покажу тебе свои прилавки, заодно свежего возьмешь, и домой тебя подброшу. Крутиться надо, ребята, крутиться! — Он ловко запрыгнул в кабину. — Рынок, я тебе скажу, штука очень страшная и… — он выдержал поучительную паузу, — очень привлекательная. У меня две торговые точки в разных концах села. В какую поедем? Давай в ту, которая к твоему Залому поближе.

Вместительный черный джип, далеко не новый, взревев мотором, лихо понес нас по селу. В его магазинчике было не протолкнуться, и пришлось входить через тыловую дверь. Вежливая девчушка-продавщица извинилась, что не может уделить внимания:

— Адам Сергеевич, столько людей, вы уж сами здесь, без меня.

— Трудись, Наташка, трудись. Ты у меня молодцом! — И пояснил: — Дочка Степана Сытина, ты его должен знать, когда-то заведующим фермой

был, он теперь у меня на подвозе. Толковая, все на лету схватывает. У меня товаров объем небольшой, но есть все или почти все, да и ручеек неиссякаемый. Нет сегодня, будет завтра…

В эти минуты Рымашевский чем-то напоминал мне Гульмана: тот же азарт в глазах, азарт игрока, уверенного в том, что не проиграет. Не проиграет никогда! Буханки, батоны на самом деле еще дышали печью, отдавали приятной теплотой, как вынутые расторопным узбеком из-под стеганого покрывала на базарном прилавке Чирчика лепешки.

На полдороге к Залому он вдруг неожиданно спросил:

— Слушай, подполковник, а тебе случайно деньги не нужны?

— С чего ты взял?

Он засмеялся:

— Меня в Польше познакомили с таким видом очень тонкой науки, как психология продавца. В ней много нюансов. Вот у вас, у военных, есть своя, военная психология, как вы ее там называете, психология победы, что ли?

— Что-то из американского.

— Неважно, но есть. Вот и у рыночников она тоже есть, без нее как баран у новых ворот: иди туда, не знаю куда. Вид у тебя, только не обижайся, пришибленный. Вывод: финансы поют романсы. Или я не прав?

— Прав, конечно, прав.

Он тут же выплеснул на меня:

— Тогда в чем дело? Сколько надо? Под проценты или под залог? Последнее лучше. Цену залога я определяю.

Услышав сумму, он понимающе зацокал:

— Не зашкаливает. Под два процента в месяц. Если под залог — на год, через год я залог реализую. Согласен? Что в залог? Орден? Какой? Ленина? — Рымашевский знал, что в Польше такой орден стоит раза в полтора дороже, а если поторговаться, то и все два, поэтому согласился не раздумывая. — Давай, приходи за деньгами. И помни, через год он мой! Не обижайся, но обменяемся расписками для подстраховки.

Он даже не поинтересовался, чего стоило мне расставаться с наградой. Для него орден уже был ходовым товаром, обещавшим неплохой навар.

Дома я дождался, когда мать уйдет к тете Тане, достал из вместительной дорожной сумки парадный мундир, который сложила жена, пояснив: «А вдруг понадобится! Ведь у вас, военных, сегодня одно, а завтра другое!» Рука коснулась ордена Ленина…

* * *

…Солнце быстро поднималось из-за гор и выпавший ночью легкий снежок, покрывший тонким слоем гофрированный металл взлетно-посадочной полосы, таял прямо на глазах. Аэродром подернулся легкой дымкой утреннего тумана. Я доложил руководителю полетов о готовности к вылету и подал команду экипажам на взлет. Боевые машины, отстреливая ослепительные комочки ракет, набирали высоту, по спирали, чтобы не попасть под огонь душманов, вкручивались в небо...

Шли почти на верхнем пределе. Чуть пониже скользили пятнистые МИ-8 с десантом.

В районе высадки горы, как огромный магнит, притянули к себе машины. Внизу чернело ущелье. Свет нового дня еще не проникал в него, и от этого оно выглядело мрачным и бездонным. Мы были все, как сжатая пружина,

вглядывались в каждую проплывавшую расщелину, в каждый скалистый выступ. Я почувствовал, как позади, протиснувшись в узкое пространство кабины, почти мне в затылок жарко дышал борттехник Лавренчук.

Впереди по курсу появился не обозначенный на карте кишлак: на горном склоне жались друг к другу приземистые каменные домики, обнесенные высокими дувалами. Квадраты плоских крыш грелись на зимнем солнце.

Первое звено со мной во главе прошло над селением. Все нормально… Оказалось, душманы попросту нас пропустили. Их крупнокалиберный пулемет ударил по машине Ерохина. Он замыкал вторую группу.

— Полста пятый, по нам работают! — услышал я его голос. — Следуйте своим курсом, мы здесь задержимся!

— Вас понял, иду к месту высадки.

Пара вертолетов во главе с Ерохиным закрутили карусель над засадой. Место было трудное, в ущелье не очень-то сманеврируешь, и я им не завидовал.

Штурман эскадрильи майор Ткачев доложил ориентиры точки высадки. Внизу и по сторонам засверкали вспышки очередей.

— Ого, сколько их здесь! — крикнул Ткачев.

— Работаем! — приказал я, и мы ударили по врагу.

Началась высадка десанта. Несколько вертолетов уже приземлились, и десантники быстро отбегали в стороны, на ходу ведя огонь и занимая удобные позиции, чтобы прикрывать остальных.

Душманы, прячась за валуны, выступы скал, отстреливаясь, отступали. Я перевел машину в пикирование... Новый заход — и снова огонь.

Когда выводил машину, услышал тревожный голос Ткачева:

— Командир, прямо!

Я даже не понял, откуда взялось это отверстие в горе, не мог и предположить, что там была тщательно замаскированная смонтированная на рельсах зенитно-горная установка. Она выкатывалась прямо из пещеры, и почти в упор — пятьсот метров для ее пушек не расстояние — била по вертолетам.

Я довернул машину, чтобы ударить ракетами, но мне не хватило какого-то мгновения. Очередь прочертила кабину шедшего справа вертолета Громова, и ко мне суматошный эфир донес отчаянный крик:

— Полста пятый, полста пятый, кажется, все! Обороты упали! Падаю!

Кто-то снизу передавал:

— Третий, я тебя вижу, хвост выруливай!

— Отлично! Что тогда?

— Ребята, повнимательнее, там идет высадка!

— Я третий, по мне огонь открывают! Отсюда, отсюда! Ага, вот здесь, прямо, где справа! Где высаживают!

— Третий, ты взлетел?

— Не взлетел.

— Понял!

— Третий, взлетай!

— Бородатые здесь бегают!

— Ребята, повнимательнее. Покидайте площадку!

— Заходим, правая сторона.

— Темп другой, не могу справа.

— Борт 15-24, пожар!

— Прыгай! Валера, прыгай! — крик Громова.

— Борт 15-24, пожар! Борт 15-24, пожар!

— Прыгай!

— Полста пятый, полста пятый... — это уже ко мне. — Упал он!

— Семь тридцать...

— Упал, упал он!

— Парашютов тоже нет?

— Нет, нет, не видно там парашютов! Но один прыгнул, прыгнул один!

— Семь тридцать девятый, парашютов не видно нигде?

— Просто прыгнули, прыгнули! Кто-то один прыгнул, но парашют не раскрылся!

— Семь тридцать девятый, подскажи, где он может быть?

— Рядом совсем, должен быть, там, потому что прыгал с высоты метров семьдесят, максимум. Парашют не раскрывался, просто...

Выпрыгнул летчик-оператор Иванюк. Его парашют не раскрылся потому, что не хватило высоты. Вначале думали, что это Громов.

Громов оглянулся и скорее понял, чем услышал голос бортового техника Чеснокова:

— Командир, я ранен, а ты прыгай!

— Нет, Чесноков, родной, нет!

Громов еще надеялся посадить машину.

Я заметил, как его вертолет ушел за дальний склон. Теперь кто быстрее к нему доберется: мы или душманы.

Решение пришло мгновенно:

— Это полста пятый! Прикройте меня! — и я направил винтокрылую машину туда, где скрылся вертолет Громова…

…Память молнией прошла сквозь время, и мне показалось, что орден стал горячим, я дернул рукой.

— Николай, Николай!.. Вот, зову, зову, а ты не отзываешься… Как вошла, так хлебом запахло, думаю, точно, у Рымашевского покупал, — мать обеспокоенно посмотрела на меня. — И чем ты так занят, что молчишь?

— Да вот, — я даже не знал, что ответить, — вот, вспоминаю.

— Уж не в музей ли собрался отдавать, — улыбнулась мать, — школьники как забегут, так обязательно спросят, может, у вас что для нашего музея найдется.

— Да нет, не в музей.

— Что-то с тобой, сынок, не то, давай как на духу выкладывай, где не заладилось, материнское сердце не обманешь, — она пристально взглянула мне в глаза, на ее лице еще четче и глубже обозначилась сеточка морщин. Несколько минут мы сидели молча.

— Видишь ли, в Минске просят тысячу долларов.

— Сколько?— она испуганно ахнула. — За что? Боже, совсем ополоумели, совсем совесть продали, это где же мы такие деньги найдем?

— Деньги-то дают, да вот залог требуют, не доверяют.

Она посмотрела на лежавший передо мной китель:

— Неужто под ордена?

— Под один.

— Как же так, — у нее мелко-мелко задрожали губы, — как же так? Ну, продашь ты своего Ленина, а дальше, дальше-то что? — словно ослышавшись, вопрошала сама себя. Затем поднялась, подошла к платяному шкафу, отодвинула сложенные аккуратной стопкой домотканые покрывала и достала из-за них вытертый до салфеточной тонкости потерявший черную кожаную упругость военный планшет, с которым так любил когда-то ходить на работу отец, а потом на зависть друзьям с ним бегал в школу я.

— Ох, сынок, сынок, сначала орден, а потом совесть…

— Мать, о чем ты говоришь, как могла подумать, просто так прижало…

— Вот и подумала, ты уж прости. Чистая совесть для души — это, это… — она взглянула в красный угол, — это как икона для хаты. С чистою совестью жить покойно и радостно, меньше всякие болячки нападают. Вот, сберегла, — она положила планшет на стол, погладила его дрожащей рукой, открыла и достала отцовские ордена, медали. — Помню, в военкомате один такой хитрый начальник насел, награды надо сдать, а я ему: какие награды, они с Никитою уже в могиле. Бывало, придем после праздника Победы домой, я стол накрою, мужики соберутся, и давай каждый свое вспоминать, где и в каком бою больше всего лиха хватил, а ты вон там, в уголке сидишь, слушаешь. Рыгорка, так о том, как ногу ему оторвало, а отец, как он под Ленинградом в танке горел. У него и шрам на всю спину остался. Скажи, сыночек, а тебе они легче достались?

Мне было нечего сказать.

— Ну, матери промолчать можно, она не обидится, да помни, все село на нас пальцем тыкать будет, и после смерти мне не забудут. Здесь все за одно цепляется. Возьми того же Цыганчука. Когда-то человеком был, а сейчас кто он? Спроси у людей, они тебе скажут. Но Цыганчуку простят, с него взятки гладки. Люди знают, как и за что ему тот орден на грудь вешал, а нам не простят.

Она медленно, словно нехотя, как будто разлучалась с чем-то невыразимо близким, спрятала отцовские награды опять в планшет и положила в шкаф на старое место.

— Вот и все его наследство — и для тебя, и для внуков. Моя совесть также чистой перед вами будет. А Рымашевскому скажи, пусть над людскими душами не воронячит.

— А ты откуда взяла, что он?

— Больше некому. Люди завидуют ему, мол, живет человек, и меня иногда такая мысль тоже пробирала, а как подумаю, сплошное «купи-продай». Это как мыльный пузырь, сегодня вздулся, а завтра лопнул… Ничего, сынок, даст Бог, выкрутимся и без его помощи.

Всю ночь перед иконой Божией Матери в ее комнатке горели свечи. Оттуда слышалась молитва. Я уснул, а она, стоя на коленях, все молилась и молилась… Спала ли она, я не знаю, но утром с просветленным лицом вошла в большую комнату и сказала:

— Сынок, давай-ка мы с тобой обсудим все по порядку. Садись и слушай меня, только не перебивай. Так вот, живу я одна, корову мне теперь держать очень тяжело. Одного сена достать чего только стоит, а за выпас уплатить, а навоз вывезти… Я ведь ее держала только ради вас. Думала, как переберетесь, так все на потребу будет, очень хорошая корова. Купить ее мне еще Степан Сытин посоветовал. Говорит, бери, Маруся, не пожалеешь. Тогда отец болел, и ему молоко надо было. Конечно, жалко с такой коровой расставаться, так ведь надо. Думаю, за нее хорошие деньги дадут.

— Мать, ты же сама без молока жить не можешь…

— Мало ли что я говорила, смогу. Не перебивай. — Она теребила уголок фартука, смотрела на икону. — Не перебивай и слушай. Так вот, а еще двое свиней. Ты их видел, хорошие кабанчики, больше года каждому, все к вашему приезду. Их тоже продадим, а уж если живности не остается, так рассуди сам, зачем мне сараи? А они почти новые, отец перед самой смертью переделал. За них тоже хорошие деньги дадут, думаю, наберется сколько надо.

Она замолчала. Молчал и я, понимая, что значило для нее принять такое решение. Вздохнула:

— Так что звони в Минск, а если не хватит… Рыгорка вдовствует. Я вдовая. Когда его Нина помирала, так наказывала никого другого не брать, а

только меня. Он уже давно предлагает. Вдвоем по нынешним временам куда легче, чем одной маяться. Можно будет всю селибу разом и продать… Вот такое мое решение, так что звони в Минск, — и, комкая фартук, приложила его к глазам.

Я присел рядом и обнял ее за плечи:

— Мам, я тоже принял решение. Ты его тоже выслушай, как я твое. Если я не нужен родине, так и набиваться, а тем более продаваться, не намерен. Мне предлагают место в России, не пропадем. На худой конец, останусь в Узбекистане. Там своя армия нужна, а чем дальше, тем больше в ней нужда будет, сердцем чувствую.

— Так хотела, чтобы поближе, — она вытерла глаза, — времена пошли нехорошие.

В Минск звонить не стал. Оплатил материнские долги, взял железнодорожный билет на обратный путь: «Да, Николай Никитич, вот тебе, бабушка, и Юрьев день…» Однако, на душе было спокойно, почему — и сам не знал.

В полку Парамыгин встретил меня вопросом:

— Ну что, Никитич, покатилася торба?

— Покатилася, покатилася…

* * *

Напротив центрального входа в здание Министерства обороны толпился народ, в большинстве своем женщины. Многие сидели на скамейках, спрятавшись от пронизывающего февральского ветра под солдатскими одеялами. Несколько женщин пытались прорваться в штаб, но их сдерживали худосочный высокий офицер и несколько прапорщиков. Офицер просил всех успокоиться, говорил, что командующему о создавшемся положении уже доложено и меры будут приняты.

— Поймите, надо все согласовать с Москвой.

— Мы уже здесь третьи сутки, а вы все докладываете! — кричали женщины и все энергичнее нажимали на офицера и его помощников.

— Я же вам сказал, идите в гостиницу, а вы устроили ночлежку перед главным входом! Стыд какой!

— Кого стыдить надумал, кого?

— У нас ни копейки, а в гостинице цены сумасшедшие.

— Сам ты хоть был в этой вашей гостинице?

— Да он просто издевается над нами, — и полная пожилая женщина в длинной до пят темной юбке начала оттеснять офицера от двери, но подоспевшие прапорщики помогли установить равновесие сил.

Еще дома жена, когда я вернулся с полетов, огорошила новостью, что на грузовой площадке железнодорожной станции в Андижане произошел большой пожар.

— Представляешь, люди туда столько контейнеров свезли, а они все выгорели, дотла! Ночью какие-то гады, наверно, из националистов, разлили по площадке бензин и подожгли. Теперь только и разговоров, как лучше вещи отправлять. Я уже боюсь, как бы и в Чирчике до такого не додумались. Ты как считаешь? Тихончуки письмо прислали. Оказывается, получили контейнер, а он — пустой. Вот дела творятся! Давай с кем-нибудь скомпонуемся и наймем вагон?

Грузовые вагоны брали на несколько семей. Оплачивали пробег, давали взятку начальнику станции, дежурному по станции, машинисту маневрового

тепловоза, оформителю документов, таможенникам и еще везде подписывались под предупреждением, что сохранность груза обеспечивает грузоотправитель.

— Согласны?

— Конечно.

Соглашались все. Не отказывался никто. Заранее обрекая себя на месяц, а то и больше, разных лишений. В зависимости от длины пути следования и толщины кошелька, разных неудобств, офицеры, прапорщики запасались продовольствием, питьевой водой, во взятых «напрокат» вагонах сооружали печки-буржуйки, обустраивались с верой в то, что теперь они свое имущество доставят к месту продолжения службы в целости на радость семьям и себе. Им было не впервой терпеть лишения и нужду. Афганистан показал, что терпеливее нашего офицера, прапорщика и солдата нет больше нигде. Ни одна другая армия мира не могла бы похвастаться такими терпеливцами, вместе с прадедовскими генами накрепко усвоившими нехитрую науку: выживая — побеждать.

В Андижане жили знакомые. Мы перезванивались, бывали у них в гостях, вместе вспоминали, как хорошо служилось в Кобрине.

— Они еще свои вещи не отправляли, — радовалась жена.

Народ требовал какой-то компенсации взамен утерянного добра. Штабисты ломали голову над тем, где взять деньги и каким порядком эти выплаты проводить. Москва с ответом не торопилась. Когда в Андижан пришло известие о примерных суммах, народ взбунтовался. Погорельцы двинулись в Ташкент.

Из здания штаба выскочил еще один офицер, в руках у него трепетало несколько листков:

— Я же просил написать полностью фамилии, имя-отчество участников инициативной группы, а вы что понаписывали? И как командующий будет с вами разговаривать?

Одна из женщин замахнулась на него зонтиком:

— Да пошел ты, пятый раз переписываем. Предупреждаем, если к обеду командующий не примет, будем брать штурмом, как взяли ваш КПП, — она повернулась к женщинам, — я правильно говорю?

Толпа поддержала громкими возгласами одобрения.

Усатый рослый прапорщик устало обронил:

— А ведь будут, товарищ подполковник, обязательно будут! Они как ринулись на КПП, так мы думали, и шлагбаум снесут… Отчаянные!

Он же проверил мой пропуск, документы:

— Проходите, товарищ подполковник, — и сочувственно добавил: — Намыкались бабоньки, отважатся на что угодно.

Генерал Плешков выглядел усталым и озабоченным. Крепкий, твердый голос стал словно надтреснутым. Он, не отрываясь от кучи бумаг, молчаливым кивком ответил на приветствие, тем же кивком указал на стул, через несколько минут поднял голову:

— Как в Минск слетал? Мне доложили, что Грызлову ты не нужен. — Он скомкал прочтенный листок, хотел выбросить его в корзину, затем расправил, прочел еще раз, разорвал на мелкие клочья и произнес кому-то невидимому: — Вот так-то надежнее! Тогда не удалось поговорить, извини. Да, жалко, хороший полк теряем. Хотя разве только полк? Давай, рассказывай, чем дышишь?

Мое повествование он воспринял без особых эмоций. Посматривал в окно, за которым все больше усиливался женский гам.

— Вчера говорил Сергею Иванычу, надо принять, а он, знаешь, что ответил? Принять приму, да что я им скажу? Кто знает? Ты говоришь, родственник предлагает позвать американцев, — и Плешков рассмеялся, — их звать не потребуется, и глазом не успеем моргнуть, как они здесь окажутся. Вот увидишь, еще и афганской каши сполна эти господа похлебают! Мы хлебнули, и они захотят попробовать, ковбойская жилка взыграет. От «сэсэсэр» ведь один пшик остался, кто им теперь указ. — Он вдруг откинулся на высокую спинку кресла, закрыл глаза, словно к чему-то прислушивался. Под гладко выбритой кожей ходуном ходили желваки, как будто он только что ступил в совсем иной мир, поразивший его, вызвавший в нем протест, и теперь он прилагал огромные усилия, чтобы скрыть эмоции. Таким я видел его впервые, казалось, это уже не человек, а бомба, готовая вот-вот прийти в действие, и это состояние при его постоянной тактичности и вежливости, строгости и доброте было поразительно неправдоподобным. — Перестройка, демократия… Благими намерениями вымощена дорога в ад, и этот ад еще впереди. — Он открыл глаза, ударил ладонями по подлокотникам. — Да такой, что не только нам самим, миру станет страшно! Уже сухожилия струнами натянулись. Вот тебя, классного вертолетчика, родина запросто боднула, мол, иди, не мешай. И будет бодать! И не тебя одного! Я каждый день перелопачиваю свою биографию. Спрашивается, к чему стремился, для чего жил? Да и сейчас этот вопрос навис, как топор над головой… Доперестраивались! Государство, которое уважали во всем мире, любить не все любили, а уважать — уважали… Без единого выстрела! Потомки с ума свихнутся в поисках причин. Сотворили политическое цунами, которое в один миг смыло нас с карты мира. Поверь, последствия будут самыми непредсказуемыми, ни для наших глупцов, ни для тех, с чьей подачи все это они сотворили. Рыдать хочется, рыдать от бессилия! Извини, в сентиментальную демагогию ударился. Давай-ка чайку организуем!

Он вызвал адъютанта, и вскоре на столе появился чай с халвой, которую так обожал Плешков. Моложавый, подвижный, словно ртутный шарик, старший прапорщик, не проронив ни слова, разлил чай по пиалам и исчез за дверью, словно и вовсе не появлялся.

— Вот Петровичу проще, — генерал кивнул в сторону двери, — говорит: «А я за вами, как нитка за иголкой». Хороший человек, надежный! Спрашиваю: «Петрович, пойдем узбекам служить?» А он и глазом не моргнул: «Так точно!» А если тебя спрошу, что скажешь?

Я пожал плечами.

— Знаю, ты не пойдешь. Скажи, пугает неизвестность? Вижу, пугает. А кого она не пугает? Страшно будет, когда сосед на соседа, брат на брата свои ракеты перенацелят…

— Думаете, до этого может дойти?

— Политическое переустройство — вещь непредсказуемая, а дележ — штука еще более страшная. Исламбеков с тобой разговаривал?

— Да.

С Исламбековым мы встречались сразу после моего приезда из Минска. Узнав, что я вернулся не солоно хлебавши, оживился, обрадовался, сказал, что не стоит мне мотаться по белу свету, и выложил перспективы, среди которых просматривалось и то, что в недалеком будущем бывшие советские среднеазиатские республики вполне могут создать свой экономический, политический и военный союз. «Представляешь, Никитич, какая сила появится на политической арене. Со своей нефтью, газом, золотом, хлопком… И современная сильная объединенная армия. У тебя же летный талант!» Но все его предложения я принимал с прохладцей. «Что же, мое дело предложить, — вздохнул Исламбеков, — твое — отказаться».

— Выходит, не уговорил, — генерал Плешков долго водил чайной ложкой по узорчатой фарфоровой кружке. — Мне замминистра предлагают. Мусульманство принимать не станем, а служить будем так, как умеем: честно и преданно. Недавно читал одного историка. Он объясняет, почему у русских царей, да и не только у них, у турок, иранцев, много еще у кого, вся личная охрана была из чеченов. История не зафиксировала ни одного факта предательства с их стороны. Понимаешь, ни одного! Вот так-то! Когда в Москву вылетаешь?

— Пока молчат.

— Считай, до весны дотянешь, — в его голосе проскользнули нотки грусти. — А если мне удастся сохранить полк, останешься?

— А Гаврилов?

— Гаврилов? — переспросил Плешков. — О Гаврилове позабочусь, пусть это тебя не смущает. Да, я слышал, выпивает он, и притом, крепко. Ладно, для истории это, как говорят электрики, «ноль по фазе». Нас заботят другие вопросы, скажу откровенно, мне жаль расставаться с тобой, Лунянин. Надеюсь, Москва тебя не погубит.

Через несколько дней в полк пришло долгожданное сообщение, что меня вызывают в Москву для рассмотрения вопроса о переводе.

* * *

Летели транспортным самолетом. Набралось таких, кто искал счастья в российской армии, еще человек тридцать, от усатого старшего прапорщика из комендантской роты до полковника и командира мотострелкового полка. Народ малоразговорчивый, каждый жил своими проблемами и нес их в себе, как нечто совершенно личное, только ему известное. В другие времена этот народ обязательно нашел бы о чем поговорить, пошутить, и я наверняка за весь перелет наслушался бы самых разных анекдотов, на которые военный люд всегда горазд. Но здесь сама жизнь превратилась в сплошной анекдот. Полковник, немного старше меня, поудобнее устраиваясь рядом на тюках с каким-то имуществом, угрюмо обронил:

— Раз пять перебрасывали: то к узбекам, то обратно, то к узбекам, то обратно… Узбеки уже мне и полковника присвоили… Спрашиваю, в каком звании лететь? Лети, говорят, полковником, а там разберутся. Тошниловка, брат, тошниловка…

До самого приземления он больше не проронил ни слова.

Старший прапорщик постоянно деловито посматривал на два огромных ящика. Когда борттехник спросил, что в них, усмехнулся в густые усы:

— Бакшиш!

— Лучше бы перевел его в размеры кошелька.

— Ничего, и с этим хлопот не будет. Как сказано, так и сделал!

Он похлопал здоровенной ладонью по ящику:

— Там разберутся! Думал по железной дороге, так ведь таможня до нитки оберет. Да еще на заметку возьмут. Вот и думай потом: доедет, не доедет. Здесь все надежно, как в солдатском вещмешке: что положил, то и достал. Плешков помог, а так бы помытарился. — И подмигнул мне: — Все будет хорошо, товарищ подполковник. Родина все-таки. Я пятнадцать лет отслужил по всей Средней Азии, а помереть хочу на родной Орловщине. Сушеные дыни любите? Я люблю. Успокаивает, жуешь себе — и всех делов.

После приземления только успели открыть грузовой люк, как все стали соскакивать на бетон в холодный мартовский вечер и быстро растворились

в его сумерках, словно испарились под огромным давлением наплывавшей темноты. Каждый со своими планами, надеждами…

В Москве я никак не мог определиться с ночлегом, хоть и много телефонов было в записной книжке. Но по одним не отвечали, по другим отвечали, радовались моему звонку, спрашивали, откуда звоню, узнав, что с вокзала, деликатно уточняли, как, что и почему. Узнав, «как, что и почему», голоса друзей тускнели, начинали говорить о каких-то своих планах, житейских проблемах, давая понять, что меня здесь не ждут.

Пришлось в бурлящем зале ожидания искать место поспокойнее. Втиснулся со своим саквояжем между здоровенным мужиком в добротном пальто и дорогой меховой шапке с объемным чемоданом и какой-то подвыпившей женщиной. Она весьма охотно приняла мое соседство, сразу стала расспрашивать, куда дальше следую, взял ли билет, но, узнав, что я уже приехал, стала прояснять ситуацию:

— Перекантоваться вам будет просто, форма поможет. Милиция постоянно гоняет. Разве что откупиться можно. Уехать проблема? Видите, какие очереди к кассам. Друг за друга держимся, как припаянные. Мы здесь на пару, вон подруга стоит, а через час я ее сменю.

Мужик изредка приоткрывал один глаз, как будто прислушивался к ее рассказу, и опять закрывал. Не подошел, а как-то незаметно подкатился, играя резиновой дубинкой, полненький круглощекий милиционер. Вначале его взгляд буднично пробежал по пассажирам, затем остановился на мне:

— Товарищ подполковник, извините, куда следуем? Документик не предъявите? Ага, хорошо. Значит, командировка. Почему на вокзале? Хотя, если гостиницу не бронировали, то… — «колобок» пояснять не стал, вернул удостоверение, — там дальше есть зал для военнослужащих, в нем больше кислорода. Саквояжик советую сдать в камеру хранения…

Я поблагодарил, и как только он пошел дальше, вращая дубинкой, словно пропеллером, решил последовать его совету и отправился туда, куда мне предварительно указала его дубинка. Места здесь хватало, и как заметил милиционер, дышалось легче, хотя большая часть пассажиров явно не имела к армии никакого отношения. Иногда появлялся скучающий воинский патруль, обозначившись на пару минут, сразу же исчезал. Мне удалось в буфете перекусить, и я даже дремал вполглаза, когда очнулся от сильного толчка в грудь:

— Вот он! — «колобок» сильно тыкал в меня дубинкой, рядом с ним стояли еще два куда более внушительного вида милиционера, — я сразу сообразил, что это сообщник, а еще документиком прикрылся.

Я не мог понять, что происходит, когда мне предложили пройти в дежурную часть:

— Гражданин, или как там вас, подполковник, идемте с нами, там разберемся.

Усталый майор, потягивая из большой розовой кружки кофе, аромат которого никак не мог перебороть прокуренность небольшого кабинета, долго рассматривал мои документы. «Колобок» на шелест каждой страницы постоянно пояснял:

— Я ведь сразу докумекал, что этот с ними на пару работает. Вижу, сидят, что-то обсуждают, подошел, поинтересовался, предложил воинский зал, думаю, пойдет, гаденыш, или нет, вижу, пошел…

— Богатко, а те двое где? — майор опять сделал глоток из чашки, тягучая кофейная капля упала прямо на мое удостоверение, и он небрежно его встряхнул.

— Товарищ майор, покуда я за этим… — начал оправдываться «колобок».

— Богатко, я же тебе говорил: с них глаз не спускать! Петренко чем занимался? Петренко, ты, никак, с таксистами шестерил?

Рослый Петренко добродушно улыбнулся:

— Товарищ майор, да я пописать ходил.

— Пописать, говоришь, приспичило, потерпеть не мог? А если передо мною сидит уважаемый человек, а вы его привели, как преступника, что тогда? У него орденов вон сколько, даже Ленина, участник войны в Афганистане, настоящий воин-интернационалист…

Милиционеры переглянулись:

— Товарищ майор, так вы сами говорили, что ныне пол-России орденами обвешалось.

— Но-но, вы полегче с такими выводами, — ухмыльнулся майор, довольный тем, что подчиненные запомнили его наставления, затем равнодушно посмотрел на меня: — Так вы утверждаете, что Лунянин Николай Никитич — это настоящее ваше «фио», фамилия, так сказать?

И здесь до меня дошло, что я подозревался в чем-то серьезном, и никак не мог поверить в то, что происходило в этой прокуренной милицейской комнате.

— Мужики, да вы что, одурели, я приехал в Москву для решения вопроса о моем переводе в российскую армию! Там все написано! — я дернулся было показать, но «колобок» тут же ткнул дубинкой в спину:

— Сидеть!

— Мы тут одного задержали, валюту продавал, так он тоже утверждал, что у него настоящие доллары, а оказалось, подделка, хорошая подделка, потому как брали эти доллары охотно. Так что у меня есть основания предполагать, что вы не то лицо, за которое себя выдаете, мд-а-а, — майор постучал моими документами по столу, словно убеждаясь в их прочности, — при таких наградах, таком звании да на вокзале… Сомнительно, все это очень сомнительно. Вот они меня убеждают в том, что вы один из участников преступной группы, которая нагло обирает пассажиров, и я больше склонен доверять своим сотрудникам.

Майор взял чашку, заглянул в нее, протянул «колобку»:

— Сходи к Галине, да пусть сахара поменьше, сколько раз говорено, не люблю слишком сладкий… Петренко, веди гражданина подполковника к Чугунову и пусть оформит задержание, завтра разберемся, что к чему. Да, и спроси, мне бензин не привозили, а то бак в машине сухой. Если привезли, забери канистры.

Сбитый с толку, окончательно растерянный, я продолжал:

— Мужики, да вы что? Мне завтра в кадрах надо, мне…

Майор улыбнулся:

— Зря нервничаете, я же сказал, до утра, а утро вечера, как гласит полковник Веретенов, всегда мудренее. Вы попали под подозрение, и по закону мы обязаны вас задержать. Если вы и правда военный, утром передадим в комендатуру.

Петренко профессионально достал наручники и попытался застегнуть на моих запястьях. Меня бросило в холодный пот, что угодно мог представить, но только не это:

— Да вы что, шутите?

Петренко нахмурился, процедил сквозь зубы:

— Давай-ка, гражданин подполковник, по-хорошему, без выпендрежа, а то узнаешь, шутим мы или нет.

Майор уже не обращал на нас никакого внимания, что-то аккуратно помечал в лежавшем перед ним блокноте, затем начал дозваниваться какому-то Рафику. В этом кабинете я для него уже перестал существовать.

Петренко ловко застегнул наручники на моих запястьях и на крайний случай решил подстраховаться:

— Товарищ майор, его в общий обезьянник или как?

— «Или как», Петренко, «или как».

— Понял, товарищ майор.

После оформления протокола исходивший перегаром Чугунов о чем-то переговорил с Петренко, и я оказался в разношерстной компании, где каждый был вроде бы со своим лицом и в то же время все эти лица представлялись чем-то одним целым, вертящимся, плюющим, галдящим, хохочущим, кривляющимся…

— Братцы, во какое украшение к нам прибыло!

— Ерунда, я с такими уже сидел, вот бы генерала сюда запихнули, другое дело…

— Запихнут, — послышался уверенный голос из дальнего угла, — это только начало лета. — И громко запел: — Я так хочу, чтобы лето не кончалось! — и громкое довольное гыгыканье.

Утром из-за решетчатой двери долетело:

— Эй, подполковник, на выход!

Вышколенный подтянутый капитан из комендатуры молча проводил меня к зеленому уазику, указал на заднее сиденье, по сторонам сели два таких же молчаливых солдата. В комендатуре долго куда-то вызванивали, уточняли, затем капитан отвел меня в бытовую комнату для личного состава.

— Приведите себя в порядок, товарищ подполковник, сейчас за вами приедут. Вы уж извините, лютует милиция. Офицеры на службу и со службы только в гражданке. Хорошо, что не выпившим был…

Он не договорил, в чем это «хорошо» заключалось, и поспешил на чей-то нетерпеливый окрик:

— Донцов, где тебя черти носят? Бери машину и дуй на Белорусский!

В штабе я лицом к лицу столкнулся с Дубяйко, который быстро отвернулся, сделав вид, что не заметил меня. Пока я шел по коридору, спиной чувствовал его сверлящий взгляд. Затем он быстро направился к кабинету, хозяином которого был генерал-лейтенант Иванников.

Полковник Сиднев, весь затертый, хмурый, без того лоска, которым старался ошарашить всех в Чирчике, устало обронил:

— А, Лунянин, быстро же, что, не терпится? Мы здесь перебрали несколько вариантов, самый наилучший в смысле дальнейшей перспективы это Дальний Восток, а точнее, Хабаровск. Устраивает?

— Так точно!

— Вот и ладно. Так и запишем. Что там, в полку, офицеры не бузят?

— Да вроде как все спокойно, определяются помалу.

— Нам долбаные группы войск столько работы подбросили, что голова кругом. Навыводили столько частей, и все скопом, попробуй распихай. Россия большая, да не резиновая. Сейчас НАТО на нас пальцем показывает и хохочет до упаду.

Раздался телефонный звонок, и судя по той почтительности, с которой снял трубку Сиднев, звонили сверху.

— Да, так точно… да, — каждое «да» он сопровождал взглядом в мою сторону, — но ведь… Понял вас, так точно! Сейчас буду!

Положив трубку, он зло выругался. Закрыл лежавшее перед ним мое личное дело:

— Лунянин, подожди в коридоре!

Спустя некоторое время он торопливо вышел из кабинета, на ходу бросив:

— Жди через пять минут!

Вернулся Сиднев через полчаса:

— Скажи мне, Лунянин, где умудрился насолить генералу Иванникову? Он же кореш нашего Тульского. Чего молчишь? — Сиднев нервно листал мое личное дело. — Где ты ему дорогу перешел? Хотя, что теперь эти признания, оправдания.

Я понял, что-то рушилось в моей будущей биографии. Холодок вполз в душу: небо уходило от меня, удалялось с невероятной быстротой, удалялось так, что начало темнеть в глазах.

— Может, кому-то надо, — я запнулся, не найдя подходящего слова, — ну, вы сами понимаете, скажите сколько.

Перед отъездом в Москву мы с женой договорились, что если встанет вопрос о деньгах, то машину придется продать. Она сама предложила, долго меня успокаивала, доказывала, что сейчас главное для семьи — это моя дальнейшая служба, а там все образуется. Она твердо верила в то, что обязательно все пойдет на лад: и в стране, и в армии…

— Сколько? — Сиднев хмыкнул. — Лунянин, да если бы в деньгах дело. Закрыт тебе Дальний Восток, да и не только Дальний, все ближнее закрыто. Поставлен вопрос о твоем увольнении. Придется тебя куда-нибудь упрятать на некоторое время, чтобы до пенсии дослужил. Сколько до сорока? — он открыл личное дело. — Почти два года. Мда-аа! Многовато! Но что-нибудь придумаем. — Он позвонил: — Валентин Сергеич, нужна твоя помощь, сейчас забегу.

Вернулся он, довольно потирая руки:

— Не имей сто рублей, Лунянин, а имей сто друзей. Предложение такое, передаем тебя в ПВО, а точнее, в корпус ПВО, его штаб в Брянске. Соглашайся, это лучшее, что можно придумать в данной ситуации…

— Там же нет вертолетов!

— Какие вертолеты? — возмутился Сиднев. — Я тебе в который раз поясняю…

— Выходит, товарищ полковник, летать мне уже не суждено?

— Какое там летать, Лунянин, думай, чтобы ползать не пришлось, как это теперь частенько случается с нашим братом. Мне говорили, что ты рвался в Белоруссию. Есть полк дальней авиации, это под Гродно, но его в этом году выводят. Истребители, а они под Витебском, их также настроились выводить. Да и кем тебя туда? Стратеги под Барановичами, но они переходят под белорусское командование, поэтому все что мог сделал. Да ты не отчаивайся, я тебя на заметке держать буду.

С предписанием убыть в Брянск и скверным настроением я сел в такси. Читавший газету таксист отложил ее на заднее сиденье, поправляя кепчонку-жириновку, олицетворение либеральной демократии в России, то ли спросил, то ли утвердил:

— На вокзал?

— Да, а как угадал?

— Сколько я отсюда нашего брата отвозил, у него одна дорога — на вокзал. Я ведь сам только полгода как из армии, уволен по сокращению. Чем в такой армии служить, так лучше таксовать: и людям польза, и семья не внакладе.

По дороге он молча курил, только во время затора на одном из перекрестков, где перекрыли движение для установки огромной рекламной растяжки, обронил:

— Собезьянничались вконец. Были люди как люди… Дорогая моя столица, каким ты стала зверинцем… Может, послушаем что? — Он потянулся к кнопке автомагнитолы.

— Не надо, — предупредил я.

— Что, совсем скверно? Как знаешь, я тоже не любитель, да пассажир разный бывает, иному подавай, чтобы уши закладывало. Где служить довелось?

Услышав про Афганистан, он вздохнул:

— И я там был. Два года кандагарился-парился. Хотя, как теперь подумаю, так это самые светлые годы… Почему, и сам не пойму.

На вокзале он крепко пожал руку:

— Удачи тебе, подполковник.

* * *

Если Москва была похожа на блестящую обертку от съеденного сникерса, то Брянск своей серостью и унынием больше подходил под туалетную бумагу, которой эта самая Москва воспользовалась и затем бросила в мусорное ведро.

Даже в лучах весеннего солнца город выглядел угрюмым и уже на привокзальной площади попытался окатить меня грязной талой водой из огромной лужи, в которой плескались воробьи, голуби, резво взмывавшие в небо от каждой машины и здесь же возвращавшиеся обратно. Особенно их много было у продавщиц семечек, которые оккупировали одну из автобусных стоянок, видимо, потому, что над ней был достаточно вместительный навес. Милиционер подсказал мне, как лучше добраться до штаба корпуса:

— С таксистами не связывайтесь, узнают, что в городе впервые, столько накрутят, что билет до Москвы и тот дешевле будет. Автобусом куда проще.

В штабе корпуса к моему появлению отнеслись с полным пониманием, вежливо дав понять, что такие вопросы решаются не одним днем. Ознакомившись с предписанием, добродушный полный майор пояснил:

— Поживете с недельку в гарнизонной гостинице, за это время мы что-нибудь подберем, подыщем.

— Сиднев сказал, что…

— Сиднев в Москве, мы в Брянске, и он из другой оперы. Скажите спасибо, что не открестились от вас. Вот командующий вернется, будем говорить. Без него… сами понимаете.

В гостинице администратор, пышногрудая, с круглым лицом в обрамлении светлых кудряшек, на котором лучились голубые глаза, женщина, долго, с каким-то тешащим ее душу наслаждением перечитывала написанную майором-кадровиком записку о моем заселении, выдала мне несколько разных бланков: «Заполняйте», и, положив грудь на стойку, стала наблюдать за тем, как я заполнял их.

Выдавая ключ от номера, строго сдвинула подкрашенные брови:

— Чтобы никаких женщин!

Я улыбнулся:

— Так уж никаких.

— Да, никаких, кроме обслуживающего персонала: уборка, приборка. Ну, если пожелаете, чай…

— На двоих?

Она опять сдвинула брови, но глаза улыбались:

— Почему вы все в командировках такие непонятливые, я же сказала, никаких женщин. — И уже вдогонку добавила: — Если что надо подстирнуть, не стесняйтесь, говорите, правда, за отдельную плату.

Весь вечер я пытался созвониться с Чирчиком, но ничего не получалось. Администраторша, томно потянувшись, сказала, что это куда проще сделать завтра с переговорного пункта.

— Елена Леонидовна, кто это вас так соблазняет, — раздался голос из полутемного конца коридора. Это был тот самый майор-кадровик, который порадовал меня перспективой гостиничной жизни. — А, это вы! А я слышу, наша Леонидовна все «ха-ха» да «ха-ха».

— Уж так и «ха-ха», — глаза у Елены Леонидовны стали еще лучистее, — вот сообщаю новому постояльцу, как установить связь.

— Ну и как, сообщили?

— Естественно, — и она посмотрела на майора так, как смотрит сытая кошка на остатки недоеденного сыра.

— Леночка, я ему предложу более выигрышный вариант, а ты сообрази нам перекусить. Засиделся на этой чертовой службе, оголодал.

— Так уж и оголодал, — жеманно подернула плечом Леночка.

Оказалось, что он уже около года жил в гостинице, а до этого служил в ГСВГ[1]. Служил в управлении кадров одной из танковых армий. Когда танкистов вывели, его сунули в Брянск.

— Почему сюда, здесь только и догадался. Корпус «пэвэошный», раньше был кадрированный, а теперь разворачивается по полному составу, создается новая зона действий ПВО по границе с Прибалтикой, Белоруссией, Украиной. Вот в него и пихают всех, кого Москва ни предложит. Хорошо, что еще так обошлось, а то мог бы и вовсе пролететь, как фанера над Парижем. Одно плохо, с квартирой никаких перспектив, разве что кого-нибудь отправят подальше… Семья у тещи, в Смоленске, а я здесь. Слушай, есть одно тепленькое местечко, в Орле. И город ничего, и должность для тебя подходящая, по крайней мере, не капитанская. Я перед полковником заброшу пару слов.

Мы просидели до полуночи. Разговор завершился тем, что майор подсказал, как дозвониться до семьи по военной связи, и обещал содействие.

— К тебе будет одна маленькая просьба, — он вздохнул, — стыдно об этом говорить, но я на такой мели, что не знаю, как дожить до следующей зарплаты, выручай.

Пришлось выручать.

Последующие дни прошли в вынужденном безделье, и я вспомнил, что где-то в Брянске жил школьный товарищ Витя Коленкович, прекрасный футболист. Мы защищали честь родной Крестыновской школы на самых разных соревнованиях. Вите пророчили большое футбольное будущее. Особенно ярый поклонник его таланта, председатель колхоза Никеенко, здоровенный, ухватистый мужик, который на спор снимал с машины двухсотлитровую бочку с пивом и под громкие возгласы одобрения целой толпы регулярных посетителей переносил ее в буфет сельповской столовой, говорил: «Такой хлопец растет, так играет, любо-дорого посмотреть. Я найду, куда его определить». Он на своем уазике по всей области сопровождал автобус с колхозной футбольной командой, в которой одна треть была учениками старших классов, и лично выплачивал премиальные за каждую выигранную встречу, сопровождая выдачу словами: «Спасибо, что поставили «Дружбу народов» на колени», или «Спасибо, что укоротили усы чапаевцам».

Он договорился, за Витей приезжали из Минска представители какого-то спортивного общества, но Витя уехал в Брянск, где жила старшая сестра, и там остался.

---

[1] Группа советских войск в Германии.

Грязный, облупленный подъезд двухэтажного дома с незакрывающимися дверями, где вместо стекол были приколочены квадратики белой крашеной фанеры. На стенах еще кое-где сохранилась темно-синяя краска, как свидетельство былого благополучия, из дальнего угла под лестничной площадкой доносились мяуканье, фырканье, писк и терпко пахло кошачьими фекалиями. Измятые пачки сигарет и неприличные надписи завершали подъездное бытие.

На мой звонок дверь сразу открылась и высунулась мальчишечья мордашка:

— Вы к кому? — глаза уставились на мой целлофановый пакет.

— К Коленковичам.

— Так мамы еще нет.

— Я к папе.

В глазах парнишки мелькнул испуг, он закричал:

— Катя, Катя, иди сюда!

Девчушка лет пятнадцати с подкрашенными глазами, губами, ногтями, легонько отстранила мальчишку от двери, сопроводив его словами: «Ладно, сама разберусь», — и пытливым взглядом прошлась по мне, как проходят утюгом по кофточке, которую собираются надеть на дискотеку. Мне стало не по себе от этого жесткого, оценивающего, далеко не детского взгляда.

— Вы кто? — она спрашивала, а сама, видимо, старалась угадать содержимое пакета.

— Я? Хороший знакомый вашего отца.

Она подернула широкими плечами и наморщила лобик:

— Что-то не припомню таких знакомых, — затем широко распахнула дверь, — ладно проходите. Раздевайтесь, я на кухню, поставлю чай. К сожалению, больше ничем вас угостить не могу.

Отдал ей пакет:

— Вот, возьми, — по дороге я захватил бутылку вина и к вину то, чем был богат маленький магазинчик, еще сохранивший свое прежнее название «Продовольственный». Выбор в нем оказался небольшой.

— Пока я буду готовить, может, музыку послушаете, у меня клевые записи…

— Да собственно говоря…

— Ладно, понимаю, в таких случаях обычно достают семейные альбомы. Колюша, принеси гостю наши альбомы, — приказал она брату.

Мальчуган присел рядом и начал пояснять, кто и где фотографировался, часто спрашивая у сестры, правильно он сказал или нет, и если из кухни долетало: «Правильно!» — продолжал пояснять снова.

— Вот здесь мы в Евпатории, а здесь в Сочи, это отец в Болгарии, он туда с командой выезжал. Вот мы поздравляем Катюшу, она первенство города по спортивной гимнастике выиграла, это наша последняя фотография с отцом, он меня в спортшколу привел, сказал, что там буду тренироваться, он классно в футбол играл…

— Я знаю, а где он теперь?

— Два года назад умер.

Мы оба замолчали, пока я не спросил:

— Болел?

Мальчуган засопел, поднялся и пошел в кухню.

Оттуда донеслось:

— Проходите, у меня все готово, — и Катя указала на стол, действительно сервированный со вкусом, — давно у нас так не было, спасибо.

Я предложил вино не открывать, подождать мать, но она не послушалась:

— Лучше сладкое вино, чем кислые рожи. — И пояснила: — Так отец говорил. Мать придет поздно, у нее на работе постоянно нелады.

— Все равно, давай без вина.

Но она не послушала, разлила в бокалы.

— Вы хотите знать, как умер отец? Очень просто, настолько просто, — у нее мелко задрожали крашеные губенки, — давайте помянем его. Мы с Колюшей постоянно ходим в церковь и ставим свечи.

Боясь заплакать, она сделала несколько глотков из бокала.

— Это было за неделю до Нового года. Отец ходил искать работу, пришел пьяным, он последние годы много пил, мать не пустила его, и он остался ночевать в подъезде. Вы же видите, какой у нас подъезд. Утром позвонили в дверь, и сказали, что отец там, внизу, замерз…

Она всхлипнула, взглянула на брата и, переборов минутное расслабление, сжала губы. Я подумал: «А ведь с характером!»

— Вы как попали в наш город?

И мне пришлось вспоминать о детстве, о далекой школе в Крестыново, о школьной дружбе, о наших шалостях, заодно и военной службе.

— Мы на отцовской родине так ни разу и не были, мама сказала, что там нечего делать, — Катя вздохнула и принесла старенький альбом с черно-белыми фотографиями, такими мне знакомыми. Наш разговор прервал телефонный звонок. Катя что-то долго и упорно объясняла, срывалась на крик, затем бросила трубку:

— Мать звонила, сказала, чтобы ее не ждали. Обещала мне деньги на дискотеку, а теперь как быть, я же договорилась, черт бы их всех побрал, — и она потянулась к бокалу.

— Думаю, не стоит, — я не дал ей допить вино, — тем более, что ты собираешься на дискотеку. А вино пусть стоит до лучших времен.

— Вы думаете, они будут, эти времена?

— Обязательно. Сколько стоит дискотека?

Она недоуменно взглянула на меня:

— Вы хотите сказать…

— Ничего не хочу, я просто спрашиваю, сколько стоит дискотека? Вот, возьми…

Она схватила деньги, вскочила, обрадованно засуетилась, начала названивать по телефону: «Да, в том месте, где обычно».

Потом вдруг сникла:

— А как же Колюша? Я боюсь его одного оставлять. Переночуйте у нас, пожалуйста, я вас очень прошу, очень, очень! Ну, пожалуйста, — взгляд был таким умоляющим, что я не смог отказать.

— Хорошо.

— Ура! — и заплясала по комнате. — Я вам приготовлю постель в зале, на диване, он широкий.

Затем собрала в пластиковую тарелочку остатки нашего ужина, пояснила:

— В подъезде кошка с котятами, мы ее подкармливаем, — быстро оделась и упорхнула.

Посреди ночи я проснулся: кто-то осторожный, холодный пробирался ко мне под одеяло.

— Ты?

Но маленькая крепкая ладонь плотно легла на рот.

— Я вся продрогла, вся, до последнего пальчика, вот, потрогайте, — она лежала рядом нагишом и пахла вином, — только не гоните меня, я вас умоляю, не гоните.

— Катюшка, да ты что? Давай-ка, моя хорошая, перегородочку между нами проведем, небольшую, но перегородочку, — и я постарался освободиться из ее объятий и вылезть из-под одеяла, но девчушка накрепко приросла ко мне.

— Вы думаете, что я пьяна? Нисколечко, я просто продрогла, — шептала она мне прямо в ухо, — хотите, я укушу вас!

— Катюша, прости меня, но это вопреки всем правилам моей жизни, — и я сделал очередную попытку высвободиться. Она рассмеялась.

— Ничего у вас не получится, я сильная.

— Быть сильной телом еще не значит быть сильной разумом.

— Вы хотите сказать, что я дур-ра?

— Так сказать, это обидеть тебя и унизить себя, ты умный человек и должна понять меня…

— Я вас прекрасно понимаю, а вот меня никто понять не хочет, я просто продрогла, и к тому же, если хотите знать, я уже женщина.

— Что ты такое говоришь? Мать хоть знает, о чем ты сейчас только что сказала?

— Мать? Да ей по барабану! А мне уже шестнадцать, и я порвала связки, и я больше никогда не выйду на гимнастический помост, и мне очень, очень хочется согреться, — она вдруг оказалась наверху и впилась губами в мои губы. Поцелуй был таким неожиданным и долгим, что я чуть не задохнулся.

— Катюша, пойми, я никогда себе этого не прощу… Успокойся и давай поговорим, просто поговорим.

Она нетерпеливо ерзала по мне, как молодая наездница, и становилась все горячее и горячее. И чем горячее она становилась, тем сильнее взывал во мне внутренний голос против всего, что происходило, взывал к благоразумию.

— Успокойся, Катюшенька, успокойся, — я гладил ее по голой спине, и мне казалось, что еще мгновение, и сойду с ума. И откуда оно взялось, я стал повторять: «Господи, если ты есть, убереги от блуда… Господи, прошу тебя, убереги». Чувствовал, как замирало под каждым моим прикосновением ее тело, словно чего-то ожидало, и это ожидание вдруг опять и опять взрывало ее, и она всякий раз с новой силой набрасывалась на меня, целовала и обнимала, поддаваясь только голосу страсти, слыша только ее одну, живя ею, предвкушая то, что предвкушают в ее годы еще не осмыслившие всей глубины жизни юные создания, и чем больше я старался ее успокоить, тем с большим желанием в ней буйствовала эта страсть.

— Успокойся, пожалуйста, ну, вот и хорошо, вот и хорошо, успокойся…

Мне стало страшно, показалось, ее тело вот-вот прожжет и простыни, и одеяло, и подушки, и все вокруг. Я обнял ее с такой силой, перевернул и навалился так, что она, невнятно охнув, еще продолжая извиваться, исходя ненасытностью от предстоящего удовлетворения требований своей плоти, обмякла, успокоилась. Некоторое время мы еще так лежали, пока она не прошептала:

— Если я посплю рядышком… Просто посплю.

— Спи, моя хорошая, спи, — я накрыл ее одеялом, поднялся, присел на диване. Как я был счастлив в этот миг, что благоразумие победило во мне, победило, убив животный инстинкт, готовый взять верх, и если бы взял, то содеянное мучило бы меня все последующие годы. Если не до конца жизни. Я вышел на кухню. В мусорном ведре лежала пустая бутылка из-под вина. «Вот тебе и лучшие времена, эх, девочка, девочка!» Я поставил чайник, потом вернулся, бережно перенес милое создание в детскую комнату на ее кровать. Колюша сонно пробормотал:

— А Катюшка уже пришла?

— Да, пришла, спи.

— Я сплю.

Утром я проснулся от того, что кто-то легонько гладил мои волосы.

— Спасибо, — она сидела на краю дивана в ночной пижамке, уже явно ей маловатой, поджав под себя ноги, — я ведь вам соврала, что я женщина.

— Зачем же ты так?

— Просто все мои подруги уже женщины, а у меня ни с кем не получается.

— Вот и хорошо, выйдешь замуж, и все получится, — я улыбнулся, она тоже, и мы вдвоем залились одним нам понятным счастливым смехом. — А теперь представь, что это все бы произошло, какими бы глазами мы смотрели друг на друга. Ведь я на столько лет старше, у меня семья, сын чуток младше тебя…

— Вы, вы красивый и сильный!

— Для счастья этого очень и очень мало.

— Можно, я вас провожу?

— Разве в школу не надо?

— Ой, как вы отстали от жизни, у нас ведь весенние каникулы.

В коротком демисезонном пальто она смотрелась почти взрослой.

На автобусной остановке Катя пристально посмотрела мне в глаза:

— Вы будете заходить к нам? Заходите, пожалуйста, вы даже не представляете, как нам трудно теперь без папы... Так трудно… — Она помолчала, затем выдохнула: — Я очень хочу вас поцеловать.

— Сильно? — пошутил я.

— Очень-очень, — не восприняла шутки она.

— Тогда целуй.

Две пенсионного возраста женщины, также ожидавшие маршрутный автобус, с любопытством наблюдавшие за нами, увидев, как Катюша прильнула ко мне, осуждающе переглянулись: «До чего дошел народ», «Да, то ли еще будет, ой-ой-ой!» И всю дальнейшую дорогу они искоса посматривали на меня, словно везли меня вместе с моей тайной на грешный суд.

В штабе корпуса, как и говорил майор-кадровик, мне предложили должность в Орле. Заместитель командующего, пожилой генерал, равнодушно посмотрел на меня и начал говорить так буднично, словно говорил огромному сейфу, стоявшему за его спиной, что если я себя на новом месте хорошо зарекомендую, то получу неплохие шансы на повышение. Он говорил эту заученную фразу всем, с кем ему приходилось беседовать, даже не вникая в то, воспринята она или нет. В последнее время на него навалилось столько забот, что хотелось криком кричать. Некогда кадрированный корпус, где он надеялся спокойно досидеть до недалекой пенсии, разворачивался по полному штату, доукомплектовывался и становился огромной боевой единицей по охране воздушной границы нового государства. Постоянные поездки, согласования, назначения выбили его из того ритма привычной службы и жизни, к которому он уже привык. Отвыкание шло крайне тяжело, нервно, и он проклинал все и всех, дурея от многочисленных бумаг с указами, приказами, распоряжениями. И стоявший перед ним навытяжку подполковник, увешанный орденскими колодками, с хмурым от недосыпания лицом, наверняка кутивший где-то по молодости лет всю ночь, был ему абсолютно безразличен. «Хм, интересно, придет личное дело, надо посмотреть, откуда такие награды», — подумал генерал и тут же забыл о своем интересе.

— Все уяснили, подполковник?

— Так точно!

— Если уяснили, тогда вперед. — И спросил по селекторной связи: — Голубев, ко мне. Есть еще кто? Нет? Вот и хорошо, тогда меня до обеда не будет. Если поинтересуется командующий, скажешь, на третьем объекте.

Генерал строил в Подмосковье дачу, и теперь надо было побывать в стройтресте, на машиностроительном заводе, кое о чем договориться, кое-что отправить к месту будущей пенсионной жизни, а заодно и побывать на том самом объекте номер три, где разворачивался дивизион нового зенитно-ракетного комплекса, головная боль для генерала, будь он неладен.

После обеда мне удалось при помощи майора-кадровика дозвониться до Чирчика. Жена радостным голосом сообщила, что нам в Беларуси выделили квартиру.

— Что мне делать? — спрашивала она. — Там сказано, что если в течение трех месяцев не заселимся, то жилье изымут.

— Собирайся! — Я понял, что зря грешил на Громова. Это с его подачи моя семья вдруг обзавелась жильем.

— Где-то под Барановичами, — кричала в трубку жена, — пыталась уточнить, что да как, но никто ничего об этом военном городке не слышал.

— Ты довольна? Вот и хорошо, а это главное. Постараюсь в ближайшее время приехать.

И в ответ привычное:

— Будем ждать.

* * *

Орел практически ничем не отличался от Брянска, разве что грохотом старых дребезжащих трамваев рядом с привокзальной площадью, где у них было кольцо, да их мелодичным «диллилинь». Это убаюкивающее «дилинь» вносило в городскую суету свой неповторимый колорит, успокаивало.

Вышедший вместе со мной из поезда мужик с огромным рюкзаком за плечами довольно крякнул:

— Ха, если трамваи ходят, значит, город еще живет… Не сдох Орел, не сдох! Полетаем!

Видимо, он давно не был в этом городе и теперь радовался тому привычному, чем этот город его встретил.

— Эх, сейчас и заколбасим, товарищ военный! «Воркутауголь» гулять будет!

И судя по нему, «Воркутауголь» свое слово сдержит. Еще в Брянске наслышавшись анекдотов о жадности провинциальных таксистов, я расспросил, как доехать до штаба нужной мне войсковой части, и учтивый старший лейтенант с красной повязкой помощника коменданта гарнизона лихо вскинул руку:

— Да вот, трамваем, товарищ подполковник. Остановка напротив КПП. Если что, спросите у вагоновожатой, она подскажет.

— Спасибо.

— Это наша служба. Разрешите идти, товарищ подполковник!

И, опять лихо и четко вскинув руку к козырьку форменной фуражки, сшитой явно на заказ с неестественно высокой тульей, новомодным веянием, привнесенным в армию выпускниками московских военных училищ, отправился отслеживать порядок на подведомственной ему вокзальной территории. Будет это делать с подобающим прилежанием и строго по уставу. Что-то его роднило с тем мужиком из шахты «Воркутауголь». А вот что, так понять и не смог, от кольца подошел нужный мне трамвай, и я запрыгнул в пустой вагон.

Военный городок радиолокационной бригады, как и говорил старший лейтенант с кремлевской фуражкой, находился напротив трамвайной оста-

новки. Видимо, ее когда-то и создали для удобства военных. Щелкавший семечки прапорщик даже не взглянул в мои документы, махнул рукой:

— Вам туда. Вон, где красная табличка над дверями, а там… Краснухин, Краснухин, ты куда свалил, иди подмети около входа! Вечно принесешь какой гадости, что избавиться от нее просто сил нет! — прокричал кому-то прапорщик и вытер ладони о шинельное сукно.

Сам штаб располагался в двухэтажном неказистого вида здании. Красный кирпич во многих местах был выщерблен, пустоты наспех замазаны. Асфальт зиял такими ямами, которые могла преодолеть только военная техника. У здания штаба за сетчатым забором была оборудована стоянка для личного транспорта военнослужащих. Двое офицеров, покуривая, деловито наблюдали за тем, как солдат бортировал колесо на красных «Жигулях». Солдат старался, и получалось у него все ловко и быстро.

— Товарищ прапорщик, мне еще пять минут!

— Какие пять минут, я кому сказал! — прапорщик выглянул из-за угла КПП, но увидев, чем занимался Краснухин, сразу же сменил гнев на милость. — Завершишь, тогда и подметешь. Капитану Игнатову наше комсомольское почтение!

Капитан Игнатов не удержался, чтобы не крикнуть в ответ:

— Борчук, привяжись к КПП, а то упрут!

— Обижаешь, капитан Игнатов! Здесь подполковник к командиру, будь добр, проводи, пока Краснухин твоего мустанга не подкует.

Красноносый полковник, весь дышащий здоровьем, набычившись, смотрел то в предписание, то на меня, словно сверял документ со мной или меня с документом.

— Ты уже пятый в этом месяце, подполковник. Так, на должность начальника политотдела по второму штату. Выходит, «сампилит», слышал такое обозначение, — он почмокал большими сочными губами, — нет, так слушай: сам пилит, сам рубает, сам и водку выпивает. — Он раскатисто рассмеялся, довольный своей шуткой. — Лады, оформляйся, только учти, у меня с жильем проблема номер один. Рад был бы гостиницу предложить, но она на ремонте, так что сам ищи, куда и к кому на постой определяться. На полное довольствие и удовольствие. Скажу тебе по секрету, у меня в части баб во сколько служит, — и он провел ладонью над головой, — только подмигни, и никаких проблем.

Заметив, что я никак на его прибаутки не реагировал, опять пожевал большими сочными губами:

— Думаешь, обезьянничаю, да это просто у меня настроение такое хреновое.

— Товарищ полковник, мне бы дней десять, чтобы семью из Чирчика забрать.

— Да хоть месяц, — облегченно и даже радостно воскликнул полковник, словно сбросив невидимый и так некстати свалившийся на него груз, — давай пиши рапорт по семейным обстоятельствам, вот бумага. Если потребуется задержаться подольше, задерживайся, без тебя не пропадем, только телеграммку для начштаба отбей. Лады?

Я написал, он тут же подмахнул:

— Ну вот, начало службе положено, а приедешь, подыщем тебе работенку, чтобы при твоих погонах хлеб даром не есть. Мне под Курском батальон на боевое дежурство надо ставить. Вот этим и займешься, а пока дуй за семьей, подполковник.

И опять вокзалы… И опять Москва… И снова вокзалы.

К поезду «Москва—Ташкент», казалось, вся Россия выходила. На каждой более-менее значимой станции с привокзальных платформ доносилось:

— Картошечка, горячая картошечка!..

— Кому огурчики, соленые огурчики!..

— Грибочки, грибочки на любой вкус!..

— Молочко, свежее молочко!..

И пирожки, и рыба сушеная, вяленая, копченая…

Мой попутчик на каждой станции открывал купе и громко кричал проводнику:

— Рашид-ака, возьми-ка денежку да купи мне грибочков и картошечки. Кажется, в году семьдесят шестом я покупал здесь груздочки соленые, чудо как хороши. Столько лет прошло, я их вкус до сих пор помню.

Он сел, а точнее, его погрузили в Москве перед самым отправлением поезда. Двое молодых людей аккуратно раздели и положили на полку стокилограммовое тело, бережно укрыв одеялом. Дорогой, но изрядно помятый, с пятнами на брюках костюм так же аккуратно повесили на плечики. Перед этим один из них принес ящик водки и поставил под сиденье. Здесь же суетился и узбек-проводник, помогавший устраивать тело, по всей видимости, непростого пассажира.

— Так, билет есть, все на месте, — один из них, с военной выправкой, внимательно осмотрел меня, словно запоминал для чего-то, на что проводник пояснил:

— Подполковник к нам в Ташкент едет, служит там.

— Хорошо, вы уж здесь присмотрите, — и он кивнул в сторону тела.

— Конечно, дорогой, все сделаю, как всегда…

— Будем надеяться.

Под монотонный перестук колес тело начало издавать такой храп, что к нам в купе испуганно заглядывали соседи и слева, и справа.

— Товарищ подполковник, ну сделайте что-нибудь, подушку ему на голову или что…

Миниатюрная нервная женщина томно закатывала глаза:

— Я не вынесу этого кошмара, не вынесу, говорила, надо лететь самолетом. Нет, определенно, перед Волгой я сойду с ума… ну, сделайте что-нибудь.

Некоторые из пассажиров попытались его растолкать, но храп только усиливался. Позвали проводника, тот сказал, что каждый пассажир может спать так, как ему заблагорассудится.

— И вы храпите, — предложил он миниатюрной женщине, — когда сам храпишь, другого не слышно.

Та пожала плечами:

— Чурка, что с него возьмешь.

Через четыре часа мощного храпа мужчина проснулся, долго соображал, где он, а когда сообразил, пригвоздил меня взглядом мутных, в красных прожилках, слезящихся глаз:

— Ты как здесь оказался?

— Еду!

— Вижу, что не летим, мне врачи летать запретили. Ты как здесь оказался?

— Такой же пассажир, как и вы.

— Так, выходит, пассажир, а ну-ка позови мне проводника! Нет, отставить проводника, начальника поезда, и немедленно! — он грохнул кулаком по вагонному столику так, что тот еле выдержал, чтобы не обвалиться. — Я же сказал, чтобы в купе никого больше не было! Никого!.. Понимаешь? Я

для чего им деньги дал, чтобы никого! А они? Они, как всегда, подвели меня, сволочи распоганые! — Он снова замахнулся кулаком, и я предупредительно поднялся:

— Прошу вас, успокойтесь, а то сломаете что-нибудь.

Он уставился на меня:

— Молодой человек, что надо сломать, уже давно сломано! Или я не прав? Государство сломали, да какое!

Оказывается, я для кого-то еще был и молодым человеком.

— Может, и так, — мне пришлось согласиться, и этим он остался доволен.

— Все сломано, все… Все! — взял стакан с моим еще не остывшим чаем, взахлеб выпил его, лег обратно, но уже не храпел, а только посапывал носом, как посапывают, засыпая, обиженные дети. Я понял, что у меня также появился шанс немного вздремнуть. В купе заглянул проводник и тихонько спросил:

— Спит? Аллах милостив, пусть спит. Хороший человек, очень хороший… Еще чаю не желаете?

— Да, конечно, у вас прекрасный чай.

Он расторопно принес чай:

— Чай китайский, настоящий, это мне зять достает. Всем нравится, пейте на здоровье. Деньги? Какие деньги, никаких денег! Считайте, что вы мой гость, а вашего попутчика я знаю. Он часто нашим поездом ездит, и всегда в моем вагоне, — он приложил палец к губам, — большой московский человек. Из Тюратам в Москву, из Москвы в Тюратам. Столько ездит, а в мой Ташкент так ни разу и не доехал, а ведь большой человек. Скажи, как может большой человек без Ташкента? — И сразу же сам ответил: — Нельзя без Ташкента!

Чай действительно был превосходный, выпив, я мысленно еще раз поблагодарил проводника и крепко, после стольких бессонных ночей, уснул.

— Послушай, командир, я тебя не обидел? — вопрос был требовательный, настойчивый и заставил проснуться. Увидев, что я приоткрыл глаза, попутчик, одетый в новый спортивный костюм с российской символикой, обрадованно произнес: — Ну конечно же нет. Давай присаживайся! — произнес он тоном, не терпящим возражений, а сам уже горой возвышался над столиком, где стояла рифленая бутылка водки, в тарелках с арабской росписью лежали колбаса, виноград, икра, говядина, заливное из рыбы. — Никаких возражений! Как говорят русские люди, надо за знакомство по маленькой, чтобы тормоза на поворотах не скрипели.

Я сразу уяснил — отказываться себе хуже. Он трясущейся рукой попытался налить в тонкостенные стограммовки, но, поняв, что толку не будет, передал бутылку:

— Банкуй, командир, нынче я сильно слаб.

После выпитой рюмки он долго и упорно нюхал кусок лепешки, затем проговорил:

— Это не для моего носа. Говорил Рашиду, чернушку принеси, ржаную чернушку, а он опять свои лепешки. Зовут меня Степаном Васильевичем, можно просто, как у Михалкова, дядя Степа. Ну, сказывай, куда направляешься?

— В Ташкент.

— И по каким таким надобностям, судя по всему, по служебным?

— По ним, к месту службы, — немного приврал я.

— Все в Москву, а ты из Москвы.

— В Москве таких, как я, сейчас пруд пруди.

— Да, брат, все это мне давно знакомо, все это мы определенно проходили, правда, не в таких масштабах. Давай еще по маленькой. — Он уже более

твердой рукой сам налил в стограммовки и сам себя похвалил: — Хорошо налилось, вот и знатно. Давай выпьем за нашу Русь, которую еще до конца не угробили, и смею надеяться, не угробят! — Он махом опрокинул стограммовку в рот, и водка прошла туда без единого глотка, словно ее выплеснули в открытое вагонное окно. Вскоре проводник принес две большие косухи с благоухающей шурпой.

— Сам готовил, — уважительно улыбнулся он, — баранина своя, приправа своя, только картошка русская. Настоящая шурпа!

— Разве у Рашида-аки может быть ненастоящая, — попутчик похлопал проводника по плечу, — да весь мир перевернется, если это будет не так.

— Аллах милостив, съедите, еще принесу! — и проводник с улыбкой на добром, усеянном мелкими морщинками лице, заботливо прикрыл за собой дверь.

— Что ж, и Аллах милостив, и Бог простит. Под такую шурпу грешно еще по одной не пропустить, — Степан Васильевич громко крякнул, машинально понюхал лепешку и стал наблюдать, как я с аппетитом ем шурпу, которая действительно была очень вкусной. Или мне показалось, что она была такой, поскольку больше недели жил на сухпайке. Немного поразмыслив, Степан Васильевич также взялся за ложку.

— В детстве я тюрю любил. Особенно летом, — он задумчиво посмотрел в вагонное окно, где стелилась под перестук колес весенняя Россия, пояснил: — Тюря — это хлебная окрошка на квасу. Говорю, мать, ты мне лука побольше накроши, она и крошила. Всегда, когда к ней заезжал, она для меня тюрю готовила. Вот такие, брат, дела. Вот тебе и тюря. Считай, вся моя жизнь прошла на казахской земле в месте под названием Тюратам, а попросту Байконур. Как хочешь, так и называй. Жена лет семь выдержала, а потом забрала детей и сбежала в Москву. Уже и внуками обзавелся, а все Тюратам. Давай еще по капельке? Не желаешь, тогда не обессудь, по два раза не приглашаю.

Он выпил и снова уставился в окно. Под набрякшими веками появилась предательская мокрота, но быстро исчезла, так и не став слезинками на щеках, словно дождь над выжженной зноем байконурской степью, когда вверху темнеет, громыхает, сверкает, а до земли — ни единой капли.

— Да, тюря вам, тюря нам, тюря здесь и тюря там! — он улыбнулся. — Солдатики сочинили. Как считаешь, командир, хороший разговор пустой посуды не терпит?

Он приподнял сиденье и достал оттуда новую бутылку, налил себе, выпил, приткнулся к спинке купе, закрыл глаза и стал тихонько напевать:

— Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут…

Вскоре напевание перешло в бормотание, и попутчик уснул. Просыпаясь, он всякий раз доставал новую бутылку, громко звал проводника, спрашивал, где мы находимся.

— Следующая Тюратам!

— Скажи-ка! — он долго возился под сиденьем, но ничего не нашел, зло заскрипел зубами и попросил проводника принести что-нибудь стоящее из ресторана. Принесенной бутылки ему хватило до того момента, пока поезд не остановился и в вагон поднялись рослый прапорщик с невысоким солдатом:

— Степан Васильевич, вот вы и дома, все хорошо! — Они бережно надели на него дубленку и так же бережно взяли под руки. Затем прапорщик вернулся за вещами: — Вы уж извините нас, — он не стал объяснять, почему извинялся, вышел из вагона и торопливо понес вещи Степана Васильевича к

поджидавшей у маленького деревянного, окрашенного в зеленый цвет, вокзальчика «Волге». Унылый пейзаж вокруг станции венчали с десяток высоких пирамидальных тополей, утканных тонкой паутиной еще голых веток, где вместе с прошлогодней листвой соседствовали воробьи.

Прячась от пронизывающего ветра, в вагон влезла куча казашек, увешанных здоровенными сумками-баулами. Спустя минуту в купе уже деловито вошли две смуглые улыбчивые молодухи и начали доставать из сумок шерстяные носки, свитера, платки.

— Посмотри, пожалуйста, ручной работы, — наперебой затараторили они, — такие носки на ногу наденешь и век здоровым ходить будешь, посмотри, какой свитер. Прямо на тебя, на твой заказ, теплый, хороший, мяккай-мяккай, — и одна из них приложила свитер к щеке, — возьми, чистая верблюжья шерсть. И совсем недорого, совсем.

Видя, что я не собираюсь ничего покупать, переглянулись, разом смолкли, так же деловито распихали товар обратно по сумкам. Я услышал, как они громко постучали в соседнее купе.

По первости моей службы в Чирчике я на ташкентском базаре купил и свитер, и носки, уж очень привлекательно звучало: из чистой верблюжьей шерсти. Они действительно были мягкими, теплыми, удобными, не сказать, чтобы очень дорогими, но выносились в один момент. Жена нашла в них, по ее мнению, существенный изъян: «Если бы шерсть да с шелковой нитью, тогда еще говорить можно, а так…» Когда привез такие носки маме в подарок, она деловито рассмотрела их, как будто сама приценивалась к товару:

— Ишь, золотые руки у женщин… мастерицы, да только, сынок, непрактичные они. Наверное, себе как-то по-иному вяжут, — и слово в слово повторила то, что говорила жена.

После вязальщиц в купе зашел проводник, присел, помолчал, затем нерешительно сказал:

— Командир, там три хороших человека едут, пусть они здесь посидят до следующей станции… Неудобно, чтобы в тамбуре, в тамбуре холодно…

— Да-да, конечно!

Он сразу обрадовался:

— Командир, а я тебя шурпой угощать буду, и чай заварил, хороший чай, с халвой. Бухарская халва, когда-то ее только эмирам подавали…

Новые попутчики — трое мужчин с продубленными до шероховатости лицами, просидели до следующей остановки, не проронив ни слова. Молча вошли — молча вышли. Вместо них в купе подсели другие. И так до самого Ташкента.

В Ташкенте проводник при прощании по-хозяйски подал мне пакет:

— Возьми, командир, от Рашида, разный шурум-бурум: сушеная дыня, кишмиш, зеленый чай… Будешь пить чай, хороший человек, сразу меня вспомнишь.

* * *

Чирчик встретил меня двумя новостями. Первая: утонул майор Пухляк.

— Здесь все неясно, — мрачно пояснил Гульман, — по милицейской версии, напился почти до беспамятства и спрыгнул с моста, а там мелководье — разбился насмерть. Свидетелей не нашлось. Но Пухляк ни при каких обстоятельства, как я знаю, не мог упиться, да еще до такой степени, чтобы прыгнуть с моста. Чертовщина какая-то! Наши ездили на место гибели, так

после узбеков там делать нечего. — И опять чертыхнулся. — А ведь и офицер неплохой, и семью только-только отправил в Новосибирск, к новому месту службы… Неясно, все запутано.

В его разговоре чувствовалась какая-то настороженность, тоскливость, и даже, чего раньше не замечалось, начал проскальзывать страх. Он нервно потирал руки, словно они, несмотря на апрельское тепло, мерзли, поправлял расстегнутый ворот форменной рубахи, как будто тот сжимал шею до такой степени, что становилось трудно дышать.

— У тебя какие перспективы?

Выслушав мою исповедь, он вытер проступившую на лбу испарину, вздохнул:

— Нерадостные, черт бы все побрал. Но какой-то положительный момент присутствует. Жаль, я в Брянске никого не знаю, а так бы посодействовал. Хотя, по правде сказать, надо уже и мне сваливать, плевать на Москву, вернуться бы в Клин, и то хорошо. А нет, в Новосибирске должность засветилась, соглашусь туда. Дорогие вещи в контейнер не пакуй, грабят по дороге всех подряд. У меня запланирован борт на Клин, загрузишь все, что посчитаешь необходимым, а там, по возможности, перевезешь.

— Толя… — я расчувствовался, не зная, как благодарить друга.

— Да брось, если сами себе не поможем, никто не поможет, — он по-дружески обнял меня. — Вот жизнь пошла: с тобой отходную, если пригласишь, по Пухляку — поминальную…

Вторая новость была хорошей. Оказалось, подполковник Семенов перебрался жить к Наталье Ерохиной. Все происшедшее он отказался комментировать. Нашлись досужие языки, которые захотели потрепать о подполковнике, но, увидев, как тот относится к Наталье, как оберегает ее и дочек, поутихли. Народ и раньше поговаривал, что Семенов стал частенько заходить к Ерохиной, мол, даже оставался у нее ночевать, но они никак не афишировали свои отношения, хотя и особо не скрывали. Мне, собственно говоря, было все равно, кто с кем сошелся. Но порадовался, что на две одинокие души в этом мире стало меньше. Всего на две, а как много это значило для нашего военного городка, где, после всех пересудов, и офицеры, и их жены заняли позицию поддержки и Ерохиной, и Семенова.

— Наташке будет проще своих девочек поднимать, — говорила жена, — а Семенов, видела его в магазине, так прямо расцвел. Даст Бог, все у них сложится.

— А Бог здесь при чем? — хмыкнул я.

Она посмотрела на меня, ничего не ответила.

У подъезда, увидев Наталью, спросил, как дела. Она, взметнув над большими карими глазами черные брови, улыбнулась:

— Наконец-то соизволил поинтересоваться, а то у всех ко мне, грешной, есть интерес, а у бывшего друга никак не находится времени расспросить о моем вдовьем житье-бытье.

— Да собственно говоря, я в курсе.

— Тогда зачем спрашиваешь? Ради приличия, что ли? Если так, значит, и ответ будет для приличия.

— И какой же? — попытался я вывести разговор из тупика.

— Живу с Семеновым, об этом весь городок говорит, как мужик он меня устраивает. Главное, дочерей не обижает, а там время покажет. Меня из городка отселяют, город квартиру выделил. Ну, как выделил, Семенов пробил через генерала Плешкова. Трехкомнатная, должны к началу лета переехать. Плешков берет Семенова к себе.

— Я знаю.

— Надя сказала, что вы на чемоданах сидите.

— Сидим.

— Спасибо за все, Николай, хорошие годы остались позади, добрые и светлые, — она вдруг всхлипнула, быстренько махнула по глазам маленьким кружевным платком. — Я Наде сказала, как обустроитесь, чтобы обязательно дали знать.

Сидеть на чемоданах нам было не привыкать, но чем дольше затягивалось сидение, тем сильнее оно раздражало. Всегда готовая к любым поворотам судьбы, жена и та начала капризничать, упрекать меня в беспомощности. Все упиралось в контейнер. Достать его стало сущей проблемой. На контейнерной станции никто и разговаривать не хотел. Все ссылались на то, что в Россию контейнеров идет много, а оттуда возвращается мало. Даже Гульман и тот оказался бессилен: «Николай, это вне пределов моей досягаемости! Попробуй через Исламбекова».

Исламбеков, огорченный моим отъездом, вначале тоже пошел по пути Гульмана, но затем переборол себя и дал телефон:

— Позвони и скажи — от меня! Положи в конверт, так, для приличия.

Контейнер привез шустрый водитель с глазами прохиндея и наглеца на старом измятом грузовике, как будто этот грузовик не раз бросали в пропасть, затем извлекали его оттуда, ставили на колеса, заводили и отправляли в рейс. Он сразу дал понять, что его услуга не входит в общую таксу.

— Командир, я на контейнерную площадку отвожу, крановщик — мой хороший знакомый, поэтому, чтобы дело не перешло в шурум-бурум… — он развел руками и поправил на голове новенькую красиво расшитую тюбетейку.

— Сколько?

Он растопырил ладони несколько раз.

— Дороговато! — зная восточные замашки, я стал торговаться, но теперь этот номер не прошел.

— Всем есть хочется, командир. Это — для своих, для остальных — еще дороже.

Парамыгин прислал в помощь солдат, и водитель начал распоряжаться загрузкой. Делал он это мастерски, мгновенно прикидывая, где и как лучше какую вещь поставить, приставить, положить, уплотнить. Жена, не знавшая о наших предыдущих переговорах, без устали благодарила его и намекала, что мы в долгу не останемся. Было понятно, что даже банки с вареньем и те дойдут по назначению в целости и сохранности.

Закрыв контейнер, он великодушно отказался от денег, предложенных женой, и сказал, чтобы слышали солдаты:

— Хозяйка, лучше дай помощникам на пирожки!

Жена с сияющими глазами утвердила:

— Обязательно, обязательно! — и, подойдя ко мне, покачала головой. — А соседка говорила — такая обдираловка. Ты уж с ним рассчитайся, не надо обижать человека, вон как все упаковал.

— Конечно рассчитаюсь.

Водитель попросил солдата покрутить заводную ручку, пояснил:

— Аккумулятор старенький, берегу! — Когда машина завелась, поманил меня рукой: — Садись, командир, поедем и сегодня отправим!

На контейнерной площадке он ловко объехал многочисленные машины, подрулил к дальнему вагону, схватил накладные и торопливо скрылся среди контейнеров. Его не было минут двадцать, и я подумал, не нагрел ли меня этот ловкач, когда высоко над машиной проплыла башня крана и словно

из-под земли вырос сам водитель, быстренько влез в кузов, как заправский стропальщик, зацепил контейнер крюками, показал крановщику, что можно поднимать, и спрыгнул на землю, азартно потер ладони:

— Все, командир, таможня дает добро, начальство тоже, сейчас сам убедишься, что твой контейнер в вагоне, и пойдешь вон в то здание, там все оформишь.

Вместе с ним подошли высокий худой таможенник и маленький пузатенький мужичок в невероятно белой рубахе и железнодорожной форменной фуражке, из-под которой катился пот так, словно мужичка сверху поливали. Они деловито осмотрели выставленный на площадку контейнер, о чем-то переговорили с водителем, открывать не стали, хлопнули по рукам, опломбировали, поставили свои подписи и не спеша удалились.

Когда я позвонил Исламбекову, поблагодарил его и рассказал о водителе, он рассмеялся весело, звонко:

— Ладно, не сердись, как говорят русские, не держи зла на сердце, и будешь жить долго и счастливо.

— Это уже с узбекским колоритом!

— Чья школа, ведь в одном небе летали! Жаль, что ты не остался, только не исчезай насовсем! Извини, здесь офицеры пришли, так что…

— Понял, думаю, что еще услышу о генерале Исламбекове.

— Аллах милостив, Николай!

С отправкой контейнера все как-то разом успокоилось, теперь оставалось подготовить к длительной поездке автомобиль, найти сотоварищей. Таких нашлось человек десять. Трое, как и я, военные, остальные гражданские. Один из них направлялся в Украину, двое в уже мне знакомый Брянск, а гражданские кто куда. Договорились, что все собираемся у поста ГАИ на выезде из Ташкента в самаркандском направлении. Жена категорически заявила, что она вместе с детьми поедет со мной.

— Хватит мне скитаться по поездам, да еще с детьми. Если ехать, так всем вместе.

Решили, что едем семьями.

Парамыгин настоятельно рекомендовал ехать через Кавказ.

— Так оно лучше, ты же слышал, сколько машин между Тюратамом и Оренбургом пропало. У меня будет на душе спокойнее, если через Кавказ. Все хохлы через Кавказ улепетывали, звонили, доехали хорошо. Даже Каспий не задержал, не гнал волну.

Его поддержал и Гульман:

— Попробую договориться с ташкентскими омоновцами, чтобы сопровождали. Заправлю их под завязку и еще сверху пообещаю. Они все равно мотаются туда-сюда, так хоть доброе дело сделают.

— Думаешь, согласятся?

— Должны!

Он подъехал вечером:

— Омоновцы сопроводят вас до Чарджоу. Завтра в пять утра встречаетесь на том же посту ГАИ, — затем впихнул в машину между сиденьями четыре канистры с бензином, спереди вместил еще запломбированную банку с маслом для вертолетных двигателей. Масло и в самом деле было отменным, в чем я уже убедился на личном опыте, да еще четыре автомобильных камеры. — Запас беды не чинит. Когда-нибудь вспомнишь добрым словом, был такой Анатолий Гульман.

Рано утром жена поверх канистр бросила небольшой тюфячок, чтобы детям удобнее спалось, прикрепила иконку Божией Матери. Прежде чем

прикрепить, поцеловала ее и заставила поцеловать меня, а также детей. Я воспротивился, поскольку не привык к подобным духовным сентиментальностям, но в ее глазах читалась такая мольба, что перечить не отважился и приложился губами к иконе.

— И осени себя крестным знамением, — сказала она, — и вы, дети, тоже. Вот так!

Несмотря на ранний час, подошли Парамыгин с семьей, Наталья Ерохина с Семеновым, Гаврилов, Сорокин, несколько лейтенантов из моей эскадрильи вместе с женами. Подъехал на красных «Жигулях» майор, которому предстояло добираться в Брянск. Он был с сыном: «Жену с дочерьми отправил поездом».

Парамыгин отвел меня в сторону:

— Я тут тебе кое-что припас, — он дал сверток, в котором находились граната и четыре ракеты, — граната учебная, но напугать можно, а ракеты, как гранатометы, кстати, ими хлопцы где-то под Акчатау отстреливались от насевших казахов. Надеюсь, ты еще пользоваться не разучился?

— А стоит ли?

— Дорога — штука неблагонадежная. Ну, покатилася торба с великого горба, — как обычно пошутил он.

— Слушай, ты все торба да с горба, а дальше как?

— Дальше? Дальше как в том детстве: а в той торбе хлеб, пшеница, с кем ты хочешь, с тем делися.

— А я ломал голову, что же ты придумал…

— Слушай, скажи этому золотозубому майору, — он кивнул в сторону красных «Жигулей», — чтобы он свой золотой запас жвачкой заклеил.

Мы рассмеялись, хотя на душе было прескверно, и обнялись на прощанье. Женщины плакали.

Фергана бурлила еще с того памятного клубничного скандала и никак не могла успокоиться. Да и не только Фергана. Но у всех после бойни в Андижане, изгнания турок-месхетинцев, дорожный страх олицетворяла Фергана. Она выплескивала на все окольные дороги свой гнев. Тогда и нашим десантникам досталось, окропили своей кровушкой андижанские да ферганские улочки с переулочками. Их били, над ними издевались, а у них команда — «Оружие не применять!». Теперь если где-то ограбили, убили, сожгли автомобиль, то это обязательно связывали с Ферганой. Хотя уже и своих доморощенных бомбил на этих дорогах, оказалось, с лихвой. Целые банды орудовали не только ночью, но и днем, внаглую, открыто останавливали машины. Выбрасывали людей и скрывались. И то, что Гульман договорился с омоновцами, стало для нас далеко не лишним.

* * *

Ранним утром мы собрались у ташкентского поста ГАИ. Командир омоновцев старший лейтенант Нурсултанов объяснил порядок движения, раздал в каждую машину по красному флажку:

— Если кому-то понадобится экстренная остановка, ведь вы едете с детьми, и такие остановки неизбежны, пассажир переднего сиденья флажок в окно и делает отмашку. Останавливаемся все вместе, движение также начинаем все вместе. Быть предельно внимательными. Подполковник, вы возглавите колонну, мы ее замыкаем. Перед нами поставлена задача к ночи доставить вас в Чарджоу.

Чарджоу — это уже Туркмения. Там было спокойнее.

Молоденький, с еле заметными черными усиками Нурсултанов озабоченно осмотрел машины, внимательным взглядом окинул покрышки просевшей донельзя загруженной черной «Волги», затем водитель омоновских «Жигулей» попросил открыть капот «Москвича» и вместе с пожилым седым мужчиной, отрекомендовавшимся дядей Гришей, склонился над двигателем, что-то говорил, показывал, и мужчина устало кивал головой в знак согласия.

Нурсултанов попросил:

— Подполковник, скорость в пределах ста километров, не больше, мне «Москвич» не внушает доверия, да и «Волга»… У нас от них уже избавляются.

Уже за Джизаком мы попали в кутерьму, созданную кем-то впереди. Двое милиционеров деловито сортировали остановленные машины по номерам. Пропускали только своих, с чужими отправляли на автостоянку, где толпился возмущенный народ. Один из них, еще издали заметив мои брестские номера, дал знак остановиться.

— Проверяем насчет угона, ваши документы.

— Я — подполковник, еду с семьей на родину!

Мне бросилось в глаза, что форма сидела на нем мешковато. И все в нем было не так: и скользкий взгляд, и татуировка на кистях, и не представился, как это делают служители порядка… Какие-то подозрительные личности с другим прихрамывавшим милиционером уже осматривали всю остановившуюся следом нашу колонну.

— Я тебе сейчас покажу родину, кому сказал, документы! — проревел он, но, увидев, что к нам подъезжают омоновские «Жигули», вдруг засуетился и начал пятиться. Нурсултанов поманил его к своей машине, однако милиционер побежал куда-то в сторону, громко крича по-узбекски. За ним врассыпную кинулись вместе с прихрамывавшим милиционером еще с десяток подельников. Омоновцы мгновенно выскочили из «Жигулей» и бросились следом. На дальнем краю стоянки раздались стрельба, раздались крики, началась паника. Машины рванули в разные стороны… Только наша колонна замерла, стояла как вкопанная.

Здесь, на стоянке, мы дождались вызванную Нурсултановым милицию из Джизака. Он сдал хромого милиционера и его троих подручных, двое из которых были ранены. Пуля одному из омоновцев поцарапала щеку, и ее заклеили лейкопластырем.

Оказалось, банда грабила проезжих, и не просто грабила: под видом милиционеров выбирали машины поновее, объявляли хозяевам, что этот транспорт находится в угоне, сажали за руль своего человека и заставляли хозяина вместе с ним ехать в ближайший кишлак для проверки. По дороге бандит, наставив пистолет, высаживал владельца и скрывался.

— За утро три семьи без машин оставили, хозяина одной из них до сих пор нигде не могут отыскать, — Нурсултанов упрямо сжал губы. — Знакомый следователь из Джизака пообещал, что машины и человека найдут.

По его виду можно было понять, что он и сам не верил в сказанное.

Отобедали в Самарканде, в придорожном кафе за одним большим столом вместе с омоновцами и после полудня отправились дальше. За Бухарой начались неприятности с «Москвичом». В нем постоянно закипала вода, и супруга хозяина раз за разом оттуда махала красным флажком. Колонна останавливалась, все ожидали, пока двигатель остынет, затем ехали дальше. Мы поняли, что к вечеру нам в Чарджоу, а впереди еще и переправа через Амударью, не успеть. Дядя Гриша переживал, пил валерьянку, его жена тихонько плакала. Нурсултанов их успокаивал: «Все будет хорошо. Мы вас не оставим».

«Волга» также доставляла хлопот. Она литрами глотала бензин, и сидевший за ее рулем худенький остроносый очкарик не пропускал ни одной заправки, по полчаса, а то больше, выстаивая в очередях, и каждый раз по карте вычислял, сколько километров до следующей, нервничал, будет там бензин или нет. Жена, пышнотелая шатенка, измученная жарой, накрыв лицо мокрым платком, не выходила из кабины. После заправки он бежал к торговому павильончику, загружал сумку бутылками с водой и что-то участливо говорил ей, поправляя на лице платок. Частые остановки радовали детей, у которых появлялась лишняя возможность поразмяться после сидения в жарких кабинах. Они со смехом и криками устраивали такую беготню, что мы, глядя на них, забывали о неприятностях.

На переправу через Амударью приехали поздно вечером. Небо становилось похожим на перезревший виноград. До крупных, призывно мигающих звезд, казалось, можно было дотронуться рукой. На берегу россыпь желто-тревожных огней автомобилей, которые не успели переправиться ранее, а теперь заняли очередь на завтра. К причалу не то что подъехать, подойти невозможно. Переправа, как свидетельствовала табличка на домике паромщиков, начиналась в шесть утра. Майор из красных «Жигулей» грустно произнес:

— Представляю, что здесь утром начнется. Думаю, проторчим до обеда, если не дольше.

— Будем обустраиваться, — сказал я Нурсултанову. Тот кивнул головой и со своими парнями поехал в недалекий кишлак, пообещав, что к началу переправы будет, пояснил:

— Пусть в медпункте рану обработают, а то с этим шутки плохи.

Его отъезд сопровождался многочисленными вздохами, и без энергичного неунывающего лейтенанта нам становилось не по себе.

— Да не волнуйтесь, я ведь сказал, что доставлю вас в Чарджоу. Часом раньше, часом позже, но доставлю.

Когда омоновские «Жигули» укатили, жена, посмотревшая вслед исчезавшим красным огонькам, вдруг усомнилась:

— А если он…

— Все будет нормально.

Я присмотрел небольшую пологую площадку, и мы, как американские переселенцы, поставили на ней машины в квадрат.

— Надо бы оборудовать отхожее место, — предложил дядя Гриша, — а то первый пойдет без проблем, второй с осторожностью, а третий обязательно вляпается. Нас вон сколько!

Довод показался убедительным.

— У меня наверху багажник, у тебя тоже, поставим машины задом друг к другу, а между ними поверху зацепим буксировочный трос, — предложил он, — на него навесим покрывало, внутрь прикрепим от аккумулятора переноску.

Все у дяди Гриши получилось отменно, он рад был хоть чем-то оказаться полезным. Даже выкопал выгребную ямку и рядом с ней вбил колышек:

— Будет за что держаться, а то вдруг кто кувыркнется.

В средине автомобильного квадрата разостлали подстилки, одеяла. Детям приказали ложиться в середку. Взрослые разместились по краям. Супруга «волжанина» ночевать на земле не решилась, боязливо пожала полными плечами:

— Здесь столько разной гадости. Нет, я уж как-нибудь в кабине.

Дядя Гриша предложил мне выпить по стопке коньяка: «Это когда друг-армянин убегал, как и мы, к себе на родину, мне подарок сделал. Напиток получше самого «Арарата»». Я отказался и без стопки уснул в одно мгновение…

Лейтенант, как и обещал, приехал еще до начала переправы.

— Такое дело… надо сброситься… это помимо тарифа… переправа стоит сущий пустяк, но если мы хотим первыми, придется платить.

Он отнес деньги в домик паромщиков, вернулся довольный и весело приказал:

— Выстраиваться в колонну за мной. Подъезд к парому справа, под шлагбаум, мои парни будут прикрывать, чтобы никто следом не сунулся, иначе начнется такой шурум-бурум, что не устоим.

Мы в точности выполнили все его указания и первыми погрузились на речной паром. Вначале с десяток разъяренных человек бросились нам наперерез, но увидев омоновцев с автоматами, поумерили прыть. Погрузились на удивление спокойно и уверенно, только «Волга» скребнула днищем по железной оковке парома. Омоновский водитель вместо дяди Гриши сел за руль «Москвича» и аккуратно припарковал его в общий ряд.

Речной буксир, взревев двигателем так, что от него потянулся шлейф черного дыма, уверенно потащил паром через мутную, всю оплетенную кружевами виров Амударью к противоположному берегу. От нас отдалялся, словно побитый оспой, усеянный в ожидании очереди автомобилями узбекский берег, на котором, как нам хотелось, остались все горести и печали.

В Чарджоу расстались с лейтенантом Нурсултановым и его бойцами. За эти сутки сроднились. Все по очереди, даже дети, жали ему и его товарищам руки, расставание вылилось в слезы и в бесконечную благодарность.

— Ну, товарищ подполковник, теперь колонну вверяю вам, как старшему по званию, — он лихо взял под козырек. — Счастливо доехать.

— И тебе тоже, брат.

Он улыбнулся:

— Аллах милостив!

Через полгода узнаю от Гульмана, с которым встретимся в Клину, куда я поеду за своими вещами, а Гульман специально примчится из Москвы, что за превышение должностных полномочий и ранение двух гражданских лиц, не оказавших ему и его бойцам никакого сопротивления, лейтенанта Нурсултанова лишат милицейского звания и отдадут под суд.

— Хороший бы из него получился офицер… — На душе стало грустно.

— Почему получился бы, — возразил Гульман, — он таким был.

* * *

В Чарджоу мы задержались из-за дяди Гриши. Он сказал, что надо поменять термостат, потому как до Красноводска «Москвич» не дотянет.

— Угроблю мотор, тогда совсем хана. Вы езжайте, а я покантуюсь, сделаю, а там помаленьку, как придется…

Все решили, что дядю Гришу оставлять не будем. Он обрадовался:

— Пока то да се, поменяю, — заверил он, — а так ведь сплошная мука. Перед поездкой заменил, позарился на новый, вот и всучили такой, будь они неладны. — И побежал на местный базар. Вернулся огорченный и удрученный: — Столько разного барахла, а этой штуки нет.

Майор предложил вообще выбросить термостат и соединить патрубки напрямую.

— Как же без термостата? — удивился дядя Гриша.

— К зиме поставишь, а сейчас можно и без него, гарантирую, никаких проблем не будет, — заверил майор, который, по всей видимости, неплохо разбирался в технике.

Пока занимались «Москвичом», к нам на зеленых «Жигулях» присоединилась молодая пара. Рослый парень вначале к нам присматривался, затем подошел, стал расспрашивать. Наши отвечали неохотно. Он пояснил, что едет из Карши с женой и годовалым ребенком. Добирается в Ставрополье. Итак, на одну машину колонна стала длиннее.

В шумноголосой прохладе Каракумского канала, где птичий гам из ближайших зарослей ивняка стоял такой, что заглушал звук мотора, асфальта не было видно из-за вдавленных в него погибших птиц, в машине спустило заднее колесо. Мне вовремя помахали красным флажком, и я остановился, иначе бы от покрышки остались лохмотья. Майор сказал, что подождут, пока поставлю запасное, но я настоял, чтобы они ехали:

— Управлюсь мигом и догоню.

Колонна уехала, а мне, чтобы достать запаску, пришлось освобождать багажник, затем упаковать все по новой, мигом не получилось. Провозился с полчаса, если не больше, поэтому стал давить на газ, а здесь, как назло, впереди два трактора везли огромные прицепы свежего сена и никак не давали обогнать. Я сигналил, моргал дальним светом, все бесполезно, дорогу не уступали. Сидевший рядом сын рассудительно проговорил:

— Ладно, пап, трактора ведь… Они далеко не едут, где-нибудь да свернут.

— Шею бы им, подлецам, свернуть.

Внезапно шедший попутно трактор притормозил, а тот, что ехал по встречной, ускорился и резко ушел вправо, я помахал ухмылявшемуся трактористу кулаком:

— Совесть надо иметь!

— Папа! — закричал сын и резко рванул руль на себя. Машина вильнула, и в это мгновенье мимо нас на огромной скорости промчалась встречная «Волга». Промчалась так близко, что мы едва не цапнули друг друга боковыми зеркалами. Я весь облился холодным потом. От крика на заднем сиденье проснулись жена и дочь:

— Что случилось?!

До меня дошло: нас вели и подставляли под встречную. Представил, что стало бы, вовремя не крутни сын руль: лоб в лоб… И бескрайняя степь вокруг. Знакомый холодок смерти коснулся лица, но раньше он не был таким страшным, как сейчас. Начал бить озноб, и я почувствовал, как пристально смотрели на меня глаза Божией Матери, рука вдруг сама поднялась для крестного знамения.

— Пап, ты чего? — удивился сын.

— Ничего, сынок, все нормально.

Некоторое время, пребывая в трансе, ехал медленно и с ненавистью посматривал в боковое зеркало: трактора также снизили скорость. В голову закралась шальная мысль: а не пальнуть ли по ним из ракетницы. Представил, как вспыхнут прицепы, словно порох: «…пусть сгорят, дотла сгорят».

Вывела из оцепенения жена:

— Николай, что случилось?

Мы с сыном переглянулись:

— Да ничего. — Я опять встретился со взглядом Божией Матери и облегченно вздохнул: — Ничего, спите.

И прибавил скорость.

Колонну мы догнали необычайно скоро. Я увидел, как впереди по дороге ходили люди, притормозил, узнал попутчиков, внимательно осматривавших асфальт. Майор пояснил:

— Черную полосу видишь? «Волга» все масло на дорогу выплеснула. Пробку от картера потерял. Хорошо, что вовремя стал, иначе пришлось бы тащить до Ашхабада.

Мы присоединились к поиску, хотя я понимал, что выскочившая на скорости пробка могла отлететь так, что ее никто и никогда уже не найдет.

Дядя Гриша, глядя на наши безуспешные поиски, решительно покопался в своем бардачке, затем громко позвал:

— Николай, посмотри, думаю, подойдет. — В руках он держал короткий болт. — Вот прокладку из кожи под него надо, а то резьбу сорвем.

Болт подошел, мне осталось только поделиться маслом и вспомнить Гульмана добрым словом. Растроганный «волжанин» постоянно снимал и протирал очки, смущенно суетился, мне показалось, что он гораздо старше своих лет:

— Как бы я без вас, ну, как бы...

Когда я поведал майору, что недавно произошло, он заскрипел зубами:

— Дорога, будь она неладна. Надо было подождать… В Афганистане на такой дороге под Газни по нам так шандарахнули из гранатометов, что все зубы в ладонь выплюнул и в карман положил.

— Ясно, ни при каких обстоятельствах дробиться не будем, — подтвердил я.

Пока разбирались с «Волгой», кое-кто налег на ташкентские припасы, особенно на те, которые уже начали поддаваться жаре. Принюхивались, присматривались, а потом стали есть. На совет Надежды, что лучше бы их выбросить, жена капитана, ехавшего в Полтаву, заупрямилась. Пышногрудая красавица, о которой дядя Гриша говорил: «Ну, до чего же богатая женщина», сидя у большой плетеной корзины, отчаянно разводила руками: «Ох, это столько денег потрачено, а теперь на обочину, будем ести, холера нас не возьме!» Да если бы она одна такая…

Дальнейшая дорога превратилась в кошмар: народ пулей вылетал из кабин, осматриваясь, где бы присесть. Дядя Гриша, проклинавший себя за скупердяйство, стеснявшийся прилюдно спустить штаны и дальше всех семенивший в степь, махнул рукой:

— Пустая трата времени, куда ни беги, а все равно как на столе.

С ним, стыдливо опуская глаза, согласились и остальные.

— Тогда мужики налево, женщины направо.

Особенно страдали дети. Полтавчанка плакала около семилетних сыновей-близняшек и ругала себя последними словами, говорила моей жене: «Ну почему вы не заставили меня выбросить эту колбасу, почему?» В ход пошли автомобильные аптечки. К вечеру в Ашхабад мы добрались с плачем и стонами…

Жена «волжанина», которая в жару на пищу и смотреть не могла, сочувственно вздыхала, но на губах лежала улыбка, мол, я страдаю, страдайте и вы.

В Ашхабаде мне пришлось договариваться с командованием зенитно-ракетного полка, чтобы нас пропустили на территорию, где еще раньше через знакомых ракетчиков я заказал номера в полковой гостинице.

Дежурный по части уперся:

— Пропущу, но только военных. На вас заявка есть. Остальные пусть вон на той стоянке у контрольно-пропускного пункта располагаются, за забором, только за забором.

Я попросил соединить меня с командиром.

— Командира нет, за него начальник штаба.

— Тогда с ним, — и начал объяснять ситуацию.

Подполковник всполошился:

— А если ты какую заразу привез! — и распорядился вызвать медиков. — Сейчас сам подъеду!

— Да никакой заразы, от продуктов прихватило.

Он со вздохом глядел на изможденные жарой и поносом лица, сочувственно говорил:

— Эх, мытари, мытари, вот до чего жадность доводит, — он укоризненно посмотрел на меня, — вроде бы в Азии служил, должен знать.

— Если бы жадность…

— А что?

— Бедность.

— Может, и она, — вдруг согласился он, — на такой дороге за стакан воды семь шкур слупят. Говоришь, уедете пораньше, ладно, давай все, скопом, а медиков я пришлю, там же дети.

— Спасибо.

Он позвонил дежурному по части, распорядился, чтобы нас пропустили, а заодно распорядился принести поесть из солдатской столовой.

— Это, конечно, не твоя, не летная столовая, без деликатесов, но повара умельцы. За эти несколько лет мы столько разных мытарей кормили, — он грустно улыбнулся, — и никто не сетовал.

Я был бесконечно благодарен этому худенькому, с белесыми выгоревшими до невидимости бровями подполковнику с мешками под глазами, в застиранной форменной рубахе, где от частой стирки по краям ворота уже повылазила бахрома.

Заведующая гостиницей оказалась его женой и выделила нам три номера: «Это все, что есть, поэтому располагайтесь, как сумеете». Солдаты притащили тюфяки и простыни, она включила кондиционеры и распорядилась насчет воды в душе. Женщины первым делом принялись за стирку…

Измученные дети после осмотра медиком-майором и выпитых микстур мигом уснули, а мы еще долго чаевничали, обсуждая перипетии прожитых дней, загадывая о будущем. Присланный начальником штаба маленький прапорщик нашел для «Волги» пробку, поставил ее, подлил масла и довольствовался двумя бутылками водки, которые «волжанин» извлек из вместительного багажника. Словоохотливый врач пополнил наши автомобильные аптечки, расспрашивал, кто куда, говорил, что надо бы и самому определяться: «Да только пусть все утрясется».

* * *

Выезжали рано, до рассвета. Хозяйка гостиницы не взяла с нас ни копейки, рассудив, что у нас впереди долгая дорога.

…Это в городе утро нерешительно блуждает между домами, а в степи день начинается задолго до появления солнца. Оно еще не поднялось из-за гор, а степь уже быстро теряла утреннюю прохладу. Вскоре подъехали к повороту на Бахарден, удивительному, обаятельному своей красотой и гостеприимностью месту. Там, в глубокой пещере, блестела в электрическом свете лечебная вода, оттуда веяло таинственностью и прохладой, малейший всплеск воды под рукой пловца радостно баюкало гулкое эхо, а наверху тебя

ожидала чайхана со всевозможными чаями, напитками и самыми разнообразными блюдами. Из динамиков всегда, в любую погоду над Бахарденом, лились песни.

Из-за поворота выплыл табун светлых счастливых «Волг» во главе с черным мерседесом и резво покатил в сторону Ашхабада. Я вспомнил, что вчера было Первое мая, всемирный праздник труда и благоденствия.

По дороге раз за разом навстречу или попутно, шествовали верблюды, никак не желавшие уступать нам дорогу, и медленным цугом, жуя жвачку, размеренно покачивая длинными шеями, беззвучно шагали по белой полосе, словно специально для них очерченной. Только при приближении огромной фуры медленно, с гордо понятыми головами они сходили на край проезжей части, затем с таким же достоинством возвращались обратно. Ближе к вечеру дорога начала изгибаться под напором высоких каменных россыпей, а затем устремилась вниз, к морю. Дувший оттуда ветер быстро заполнил кабины, и жена «волжанина» облегченно сняла с головы мокрый платок.

Здесь нас настигли с десяток мотоциклистов. Стая злобно ревела моторами. Она то обгоняла нас, то возвращалась обратно. Жена встревоженно посматривала в их сторону, кто-то в колонне громко просигналил, чем вызвал там еще большую злобу. Дело принимало плохой оборот, я сунул руку под сиденье, достал подарок Парамыгина и покачал гранатой на ладони. Стаю словно сдуло приморским ветром, и она исчезла за ближайшей горой…

В Красноводске столпотворение оказалось куда большим, чем на Амударье. Три дня море штормило, паромы задерживались, и машин скопилось изрядно. Хорошо, что перед этим начальник штаба ракетчиков дозвонился до коменданта порта и попросил оказать нам полное содействие.

— Да, там теперь не проблема — проблемища, а мы с ним подруживаем.

Комендант сразу выписал посадочные талоны на ближайший паром, сказал, что по прибытии судна патруль вместе с милицией поможет нам вклиниться в очередь, иначе никакие талоны не помогут.

— По этим талонам и билеты возьмете. А то с рук они в три раза дороже, если не в пять. Да, подполковник, берегите машины, ни на секунду не оставляйте без присмотра, — предупредил он, — особенно ночью, воровство жуткое, снимают все, из салона также тащат все. И то, что лежит на внешнем багажнике. Поэтому скажи своим, чтобы в машине обязательно кто-нибудь сидел.

Дядя Гриша из объемной пластиковой канистры налил две бутылки коньяка:

— Передай коменданту, хороший человек.

Наверное, это все, чем мы могли его отблагодарить, так же, как и благодарили подполковника в Ашхабаде.

Мы собрались, и я объяснил ситуацию так, как мне о ней рассказал комендант. Недалеко от нас истошный женский крик начал звать милицию, мы с майором решили узнать, что случилось.

Кричавшая женщина, увидев нас, бросилась как к спасителям, на что расстроенный супруг досадливо заметил:

— Это же не милиция, а вояки.

Она набросилась на него с кулаками:

— Все вояки, только ты у меня соплями исходишь. — И уже к нам: — Пошли искать туалет, вернулись, а багажник на машине пустой. А там вся одежда, понимаете, вся! Говорила, давай вовнутрь переложим, так нет, дочь посмотрит, а она, пока мы ходили, уснула. Вот, веревки обрезали и унесли!

— …Такое дело, — стал пояснять угрюмый мужчина, — припекло ее, говорю, вон, иди за угол, все туда бегают, нет, подавай туалет. А где он? Вижу,

двое стоят, беседуют, похожи на работников порта, подошел, так, мол, и так. Они подозвали пацана, вот он покажет, этот пацан как повел, так еле обратно дорогу нашли… Да и какой там туалет, все загажено, не подступиться.

— Опять я виновата, у тебя кругом я виновата, — она заплакала, — а там ведь вся одежда.

Слово «одежда» она произнесла как «надежда». Из кабины на нас смотрело испуганное усталое веснушчатое личико полусонной девчушки.

Мы вернулись и договорились: помимо всего прочего налаживаем общую охрану, поскольку в ожидании парома придется ночевать.

Дядя Гриша налил нам с майором по рюмке коньяка за благополучную посадку.

— От расстройства желудка он тоже помогает. — Но вспомнив о своих похождениях, уточнил: — Да только не всем.

Ночь не принесла ни сна, ни отдыха. Портовая жизнь не замирала ни на минуту, будоража все вокруг басистыми гудками, тонкими свистками, воем сирен… «Ваукал» маневровый тепловозик. Постоянно роились автомобили. Расположившись рядом, веселая кампания о чем-то азартно спорила, кричала, считала деньги. Несколько пьяных женщин исходили призывным хохотом, пары закрывались в кабине с выгоревшим до белизны тентом уазика, затем выползали, тут же справляли нужду и опять хохотали.

— Содом и Гоморра, — брезгливо поморщилась жена и приказала детям не смотреть в ту сторону.

В полночь у притемненной длинной стены портового кафе началась какая-то ругань, перешедшая в драку. Жена бросилась ко мне и умоляла не ввязываться:

— У нас еще дорога, там сами разберутся. Может, что в уазике не поделили.

Утром к нам подошел милиционер, достал из сумки лист бумаги, ручку, буднично сказал:

— Там, у кафе, ночью человека зарезали, может, вы что видели или слышали?

На усталом небритом лице прописалось абсолютное безразличие к тому, что мы собирались говорить. Оно было настолько явным, что жена поспешила ответить:

— Ничего такого не видели и не слышали.

— Вот и хорошо, фамилия ваша как, где живете? Нигде? Как нигде? Хотя, — и он махнул рукой, — вот поставьте здесь свои подписи.

Погрузка на паром подтвердила слова коменданта, что если где и существовал ад, то в порту было преддверие к нему. Здесь никто никому не желал уступать дорогу: машины ревели моторами, царапались, мялись, задние тыкались в передних, жались так, что палец не просунуть. Дядя Гриша удрученно проговорил: «Во идут, как приколоченные, что с нами-то будет?» Несколько черноусых горластых мужиков попытались с деловым видом разорвать колонну, двигавшуюся к огромному открытому рту парома, встав на ее пути, но вынуждены были отскочить, чтобы не оказаться под колесами.

— Блатникам путь прокладывают, не получилось, — усмехнулся майор.

Я не знаю, как бы мы погрузились, не сдержи свое слово комендант. Прибывший военный патруль вместе с дюжиной рослых, в бронежилетах милиционеров протянули через колонну ограждение, и прыткий капитан с красной повязкой на рукаве по моей просьбе вскочил за руль «Москвича», оглянувшись, он крикнул, словно поднимал нас в атаку:

— За мной, на причал! Весь остальной народ вместе с сержантом Тихоновым к трапу на борт, он сопроводит! Быстрее, иначе сомнут!

Все происходило так, словно я выводил свой вертолет на боевой курс. И уже не было причала, и не было впереди разинутого рта парома, а только горы, дудуканье пулеметов и чертово отверстие в одной из них…

Когда мы оказались внутри, капитан исчез так быстро, что я не успел его поблагодарить.

— Вот сюда, сюда, — в просторном трюме распоряжался азербайджанец с ястребиным носом, — занимайте правый ряд, машины на ручник и на скорость. Подальше от вагонной колеи, подальше… Бензин в канистрах есть? — Он подошел к «Волге»: — Спрашиваю, бензин в канистрах есть?

«Волжанин» замотал головой.

— Открывай багажник! А это что? Кому написано разъяснение, что в канистрах бензин перевозить запрещено, а ты еще и врешь! Сережа, ты где? — позвал оно своего помощника. — Забирай канистру.

Очкарик засуетился, посмотрел в мою сторону, я ему накануне говорил, чтобы тот заполнил бак под завязку, а остатки отдал кому-нибудь из попутчиков, и он заверил меня, мол, что и сделал.

— Я уплачу, скажите, сколько?

— Оставь деньги себе, в Баку бензин есть, там заправишь машину. Какие деньги, это же паром, баранья башка, — возмутился азербайджанец. — Забирай, Сережа!

У дяди Гриши он внимательно осмотрел пластиковую канистру, принюхался:

— Хороший товар, хороший, — и улыбнулся.

Потрогал мои уже ставшие к Красноводску пустыми канистры, которые ему явно понравились:

— Из самолетного дюраля? Вечные, брат, для больших дорог, скажу тебе, незаменимая вещь. Я уже однажды такие видел. Теперь в России большие проблемы с бензином, большие, а будут еще больше. Слушай, ты с семьей едешь, могу предложить каюту, все удобства.

— Сколько?

Он назвал цену.

— Для меня дорого.

— Слушай, в каюте не на палубе или в пассажирском зале на скамейке… Я не обманываю, я тридцать пять лет по Каспию хожу… У тебя дорога, а ты отдохнешь как человек, сядешь опять за руль и кати себе…

— Все равно, брат, дорого.

— Ладно, сброшу немного.

После недолгих переговоров мы сошлись в цене, и он опять громко позвал:

— Сережа, отведи командира в каюту, — и передал ключ, — там все есть, чай, кофе, печенье, душ... будешь помнить старого Рафика, — и на его лице заиграла довольная улыбка.

Тесная, малюсенькая каюта, видимо, рассчитанная на двух матросов, приняла нас четверых и показалась раем.

На пароме от майора я узнал, что там, в порту, зарезали того обворованного мужика.

— Скорее всего, кого-то заприметил и пошел качать права. Нашел время и место…

Каспий принял судно необычайно спокойно и солнечно. Небольшой ветерок гнал легкую волну, хотя для такой махины, какой был паром с названием «Узбекистан», любая волна казалась сущей мелочью. Дети бегали на палубу кормить чаек. Ночью мне снилось испуганное веснушчатое личико, большие,

молящие о помощи глаза… Я несколько раз просыпался, укрывал детей, прислушивался к сонному бормотанью жены.

В бакинском порту наша колонна начала дробиться. Полтавчанин и еще несколько человек, в том числе и очкарик, решили, что поедут низом: через Грузию и Абхазию на Краснодар, это надежнее. Ставрополец из зеленых «Жигулей» сказал, что такой путь гораздо длиннее:

— …Лучше на Махачкалу, Грозный и вперед, — он явно торопился, еще на пароме у них заболел ребенок, и они с женой до самого прибытия в Баку носили его на руках, не доверяя кому-либо, даже во всем надежному дяде Грише. Теперь уставшая, вся издерганная жена бродила вокруг машины с плачущим дитем на руках, баюкала, уговаривала, пыталась ему что-то напевать.

— Я эту дорогу, Николай Никитич, хорошо знаю, — заверил ставрополец.

Мы поделились красными флажками, подарком Нурсултанова, посчитав их счастливой приметой, и растворились в шумном потоке машин, стараясь поскорее выбраться из огромного красивого, но чужого для нас города.

На выезде из Баку заправили машины, залили полные канистры. Здоровенный добродушный бакинец заговорщицки подмигнул мне:

— Командир, если хочешь хороший бензин, подъезжай к тому шлангу, но будет стоит немного дороже.

На заправке наша укоротившаяся колонна опять удлинилась на несколько попутных автомобилей.

* * *

Ночевать остановились на посту ГАИ у Грозного.

— Ну вот, — улыбнулся ставрополец, — это почти дома.

Здесь сгрудилось несколько десятков большегрузных автомобилей, и несмотря на все уговоры сердитых гаишников отъехать в сторону, происходившие на повышенных тонах, никто никуда не отъезжал: как-то договаривались, успокаивались. Наоборот, чем ближе к ночи, тем больше прибавлялось машин. Мы расположились неудачно и оказались зажатыми между фурами, из кузовов которых доносилось непрерывное блеяние. Жутко воняло овчиной и мочой, пришлось ехать на край стоянки и искать место поспокойнее. Освободившееся пространство сразу заняли две фуры. Гаишник, видя наши метания, подозвал к себе ставропольца и что-то сказал ему. Оказалось, нам разрешили припарковаться на пустовавшей стоянке для задержанного транспорта, угостили кипятком, но утром попросили не задерживаться:

— Начальство увидит, ругаться будет.

Ночью началась жуткая гроза. Молнии засверкали с такой неистовой силой, словно великий небесный электросварщик попытался в последнюю минуту починить прохудившееся небо. Его работа пошла насмарку, поскольку оттуда хлынула вода. Она собиралась в мутный поток, который на огромной скорости несся к низинному месту, где находились фуры с баранами. Большегрузы устояли. К их колесам набило, наволокло камней, сломанных веток, даже какой-то широкий дорожный щит. Что было бы с нашими машинами?.. Сказать трудно.

Утром, только утихла гроза и едва забрезжил рассвет, как ставрополец постучал мне в машину:

— Я поеду, Николай Никитич, ребенку совсем плохо. Вот, возьмите, здесь мой адрес. Спасибо за все, в любое время дня и ночи вы для меня желанный

гость. Я вылез из машины, сунул протянутую им бумажку в карман спортивного костюма, мы обнялись.

— Да, вот флажок, он уже мне не понадобится, — и помахал рукой.

Проводив ставропольца, мы и сами стали готовиться в дорогу. Перекусив на скорую руку и заварив чай в термосах кипятком от гаишников, отправились дальше. Вскоре нас обогнала с тревожным воем сирены и болезненным синим миганием машина с поста ГАИ.

…На обочине, сброшенные сильным ударом с проезжей части, лежали искореженные зеленые «Жигули». «Скорая помощь» уже увозила кого-то. Мы остановились, хотя гаишник показал нам проезжать, не задерживаться. Я попытался узнать, что произошло.

— А вы кто? — спросил гаишник.

— Попутчик, мы с ними от Самарканда вместе ехали, а здесь они заспешили, ребенок заболел.

— Вот и доспешились, — гаишник вздохнул. — Дорога, сами видите, какая, а он еще на обгон пошел… Самосвалу практически ничего… Одним словом, только ребенок и выжил. А куда он так торопился?

Я достал бумажку, прочел:

— Сотников Федор, Ставропольский район…

— Да, Федор, Федор, — опять вздохнул гаишник, — почти сосед. Вы мне его адрес на всякий случай перепишите… Сообщать будем.

Женщины плакали, дядя Гриша также раз за разом вытирал слезу. Я подошел к зеленым «Жигулям» и воткнул в покореженный металл тот самый флажок.

Мы вдруг разом стали обмениваться адресами и только теперь узнавали, кого и как зовут. Надежда, посмотрев на нашу суету, всполошилась:

— Вы что, совсем одурели?

Но на нее никто не обращал внимания.

Чем дальше продвигались вглубь России, тем короче становилась колонна.

Под Воронежем наша тройка превратилась в двойку: мы распрощались с дядей Гришей. Он достал из багажника канистру с коньяком, сказал мне и майору:

— Несите посуду, если по-братски, так пусть до конца, а супругам, нашим верным подругам, поднесу по чарочке, за здравие и счастливое возвращение. У меня в этих краях годом ранее сын обосновался, вот и мне нашлось где приткнуться. Это ведь наши родные края. Мой отец отсюда.

Брянск мы покидали уже в полном одиночестве. Пустые бензозаправки заставили вспомнить Рафика с парома «Узбекистан» и радоваться полным канистрам: бензин в них на самом деле оказался хорошим.

За Новозыбковом российские таможенники и пограничники быстро проштамповали паспорта и пожелали счастливого пути, а вот наши хлопцы, хмыкающие, криво ухмыляющиеся, начали потрошить машину основательно. Мы только молчаливо наблюдали за ними. На небольшой затрапезной стоянке рядом с железобетонными буквами «БССР. Гомельская область» мы вышли из машины, жена взяла с собой икону, опустилась на колени, положила ее перед собой: «Спасибо тебе за все, Матерь Божия», — поцеловала и заплакала.



СВЕТЛАНА ЕВСЕЕВА

Крылья синих птиц

* * *

Пока не последняя точка,
Дружа со своей запятой,
Каждую новую строчку
С буквы пишу Большой.

На Жизнь не гляжу букой,
Ценю все ее падежи.
…Утро.
            С большой буквы
Строкой начинаю Жизнь.

Поиски счастья

Надеюсь: от Пущи дойду до Тайги
И ног своих не поломаю.
Тому я открою свои тайники,
Кого, как себя, понимаю.

А если такого не встречу ни в ком,
С пути не сойду в одночасье,
Пойду к Беломорью, найду Ледокол
Для поисков зимнего Счастья.

И —
        вижу на пристани новый причал!
А мне говорят: «Все — не ново,
Отлив ли, прилив ли, девятый ли вал…
Жизнь — вечная память былого».

Повторного Счастья достойна ли я?..
И шелк надеваю, и перлы…
Предчувствую:
                        счастья повторная явь
Мне встречей привидится первой.

…Где горько душе, там услада для уст
Сбываются хворью прегорькой, —

На выброс такая арбузная суть,
Как и арбузные корки!

Пока есть у воска сиянья талант,
Свеча есть свеча, не огарок.
Пока не сгорит в сердце младость дотла,
Сердце — не перестарок.

Что знает про Жизнь ледниковый валун?
Валун-лежебока — не странник.
…Как жить?!!
Это Поиск всегда на плаву,
Пока Шар Земной — не «Титаник».

И там, и здесь

Когда царит погода злая,
Хворает хрипотой вокал…
Мне кажется:
я здесь чужая,
Меня мой Космос потерял.

А там…
В очах цвел Млечный Путь,
Где был моей Любви шалаш.
Себя хочу в тот Сад вернуть,
Где я взросла не для пропаж.

Открыв калитку в память, я
Узрю товарищей своих.
Мы не живем для забытья,
Где любим новых, чтя былых.

И здесь под игом сорняков
Не все приствольные круги,
Круги садовников-отцов
Не позатопчут сорняки.

Теряя мать, взмолилась дочь:
«Живи во мне, не умирай!»
Имея корни здесь, невмочь
Покинуть свой неурожай.

Седьмых Небес Водоканал,
Омой нам лица и хребты!
Подай Любви!
И мой вокал
Избавится от хрипоты.

Наш Сад,
тебе я не чужая.
Зачем забыл ты про меня?!

И я живу для Урожая,
Я и Антоновки —
родня.

Щепоть

Дарил свои хмельные соки
Мне прошлый виноградный край…
Злой Рок,
за прошлые пороки
Своей кувалдой не карай!

Здесь подкормлю худую почву
Золой вчерашнего костра,
Рассаду заземлю,
щепотью
Сложив три правые перста.

Нет переписки с Небесами?
— Иду я к ним своим письмом,
Пишу письмо тремя перстами,
Владея с детских лет пером.

Как долго можно быть нехилой?
Трудиться можно ли до ста?..
Вновь два перста объединила
Опорой третьего перста.

Нет Новостроя без изъяна?
В него был спешным переезд?..
Я здесь не палец безымянный,
Не одиночка-малый перст.

Не вымерзло в славянской доле
Самосознание родства.
Пять пальцев — от одной ладони,
Не врозь три родственных перста.

Сама,
молясь о жизни складной,
В любви разладу не клянись!
Где обессилена кувалда,
Там в силе творческая кисть.

* * *

Две души — одна судьба.
Души единя,
Не люби во мне себя,
Но люби меня.

Нелюбимая?!
Оплошав,
В гордости шальной

Я к другому отошла,
Ты ушел к другой.

Летний день мой пропадал,
Очерствел мой мед,
Потому что предлагал
Мне любовь не тот.

Для того, кто был вдали,
Я была не той,
Потому что той любви
Не было с тобой.

…Под рукой фотоальбом,
Если пролистать, —
Просыпается Любовь,
Где заснула страсть.

Крылья синих птиц

Время тратиться в пути.
Что в остатке?
                    Дни? Недели?
Были крылья Синих Птиц, —
Просверкнули, пролетели.

В Книге бедствий много глав.
Тут и я вписала строчку:
Счастья в свой девятый вал
Добивалась в одиночку.

Все — к другим! Все — не ко мне!
У меня уже и проседь.
Счастье… Это…
                        Так в тюрьме
Срок чужой нельзя присвоить.

Счастье — урожай горой
В доме, в поле и в теплице!
Счастье — донорская кровь,
То, чем надобно делиться.

…Вижу, вижу, вижу вас!
Вы — ко мне? Или… к соседям?
Не поблекла Синева,
Крылья Птиц не поседели.

И стучат в мое окно…
Да, ко мне. Действительно!
Жить без Счастья можно, но
Плохо, если — длительно.



ВИКТОР ГОРДЕЙ

Прекрасная шляхтянка

Рассказ

Ни тучки на небе, ни ветерка в посадках — установилась на редкость сухая, горячая погода, правда, еще не успела дозреть черника в лесах, не набрали нужной зеленой массы сеяные и луговые травы, вот люди и беспокоятся, что к началу сенокоса эта невыносимая дневная жара прорвется бесконечными дождями или обернется затяжной одурманивающей жарой — для крестьян и то, и другое одинаково большое бедствие. У меня, кстати, и редакционное задание на злобу дня: поехать в деревню Медведичи, недалеко от Щары, чтобы проверить поступившую жалобу, почему в местный магазин торговля вовремя не завезла косы, бруски и другое снаряжение для косовицы. Из окна рейсового автобуса, почти бесшумно ехавшего по асфальтированному шоссе, уже хорошо заметны зловещие поцелуи внезапной засухи: обожженные солнцем пригорки, обмелевшие, высохшие ручьи и канавки, а на горизонте и здесь и там зависают рыжие облака пыли — это безбожно пылят деревенские дороги и проселки, особенно когда по ним прогромыхает гусеничный трактор или промчится какой-нибудь шустрый начальнический «козлик». Пока держится утренняя прохлада, наш мягкий и уютный «ЛАЗ», забрав на автостанции с десяток транзитных пассажиров, бежит по асфальту, свежий и чистенький, как после бани, ведь перед рейсом действительно был помыт сильной струей из брандспойта. Но каким этот чистюля станет после Медведичей, где асфальта до самых Куршиновичей уже нет, а дороги на ухабах подсыпаны сухим песком и гравием? Вернется на ночлег в свой гараж грязный, заляпанный снизу доверху, покрытый толстым слоем серой пыли, и на ее фоне некрасиво будут выделяться темные потеки масла, рыжие пятна, и хорошо, если деревенские шутники на боках и задней стенке не нарисуют веселых носатых человечков и не напишут в придачу несколько обидных, оскорбительных слов. Вчера я рассматривал на автостанции расписание движения, так там как раз один такой раскрашенный бедолага притащился из дневного рейса и сразу примостился у забора, чтобы на глаза людям сильно не бросались его позор и стыд.

Водители автобусов, конечно, ездят без инструкций и наставлений, как им защищаться в зной от таких вот горе-художников, и выход здесь один: поймать негодника да хорошенько накрутить ему уши, чтобы не путал запыленный автобусный бок с классной доской. Наш бравый шофер, судя по его серьезному виду, не потерпит издевательств в свой адрес, разберется с любым шутником и, пока еще ничего сверхнеприятного не случилось, по-хозяйски положив руки на баранку руля, внимательно следит за дорогой, ни разу не обернувшись в салон. Если по правде, какая ему разница, что там делают пассажиры: дремлют ли, переговариваются ли тихонько, или уже и за чубы схватились, что тоже нередко бывает на сельских маршрутах. Впе-

реди меня сидит одетая не по-современному — в цветастой кофте и красном капюшоне — еще довольно моложавая женщина, в разговор не вмешивается, уставилась в окно, как будто там, в синей дали, что-то высматривает, и неожиданно, когда автобус проехал небольшой хвойный лесок, осенила себя крестом и прошептала слова молитвы во славу Иисуса Христа. Вслед за красным капюшоном перекрестились и некоторые другие старушки, причем все дружно повернулись к нашим окнам, и в салоне на какой-то момент воцарилась молитвенная, как в храме, тишина. Я уже, может, год странствую по этому маршруту, из Ляховичей в Синявку, каждый раз проезжаю деревню Русиновичи и хорошо знаю причину Божьего потрясения. Автобус, миновав лесистое урочище Каменка, побежал далее вдоль железной дороги, и когда проехал поворот на Мыслобаж, начал легко одолевать возникший пригорок. Где-то на полдороге к Русиновичам из дымчатой дали, за каких-то верст пять отсюда, вдруг как из-под земли возник высокий шатер костела, и это именно его высматривала женщина в красном капюшоне, а за нею всполошились и остальные верующие. Но теперь люди успокоились, молча рассматривают острый костельный шпиль, который помаячит перед глазами минуты две или три езды, а потом исчезнет, заслоненный пригорками, березовыми лесками, редкими здесь хуторами.

В компании вдруг притихших пассажиров я, конечно, сбоку припеку, но тоже с уважением и любопытством смотрю на заостренный, в солнечных бликах, шпиль вдалеке, потому что не из чужих разговоров и обрывков фраз знаю, что это только видимая часть знаменитого Петропавловского костела в деревне Медведичи, куда нас везет послушный и еще не запылившийся «ЛАЗ». Можно считать чистой случайностью, что в местном магазине нет в продаже кос и брусков, хотя, с другой стороны, нерасторопность торговцев мне на руку: через несколько минут, как только выйду из автобуса, я впервые в своей жизни, признаюсь искренне, увижу воочию настоящий католический костел, да еще такой знаменитый и известный. На моей родине и уже на моей памяти во времена хрущевской антирелигиозной кампании единственный и, говорят, очень красивый костел в Ганцевичах разорили, а других католических храмов здесь, кажется, никогда не было, вот поэтому в моих краеведческих исследованиях образовался большой пробел. Правда, накануне этой сегодняшней поездки, чтобы в случае чего не выглядеть белой вороной, я целый вечер просидел в библиотеке, читая какие-то давние документы, полистал также старые подшивки районной газеты и сейчас, позванный в дорогу письменной жалобой, имею определенное представление о деревне Медведичи и ее достаточно богатой истории. Из недавно прочитанного запомнилось, что Медведичи когда-то были шляхетским городком, а кирпичный Петропавловский костел здесь построен примерно в 1908 году и с того времени ни разу не перестраивался, хотя на здешних верующих с попеременным успехом влияли то католическая, то православная церкви. Известный этнограф Сербов, странствуя в этих местах, как-то летом сделал в дневниках запись, что ничего польского в городке нет, «ни природного, ни привитого», местные шляхтичи довольно зажиточные, но они, как и все белорусы, скромные, застенчивые и рассудительные, а разговаривают на полесском диалекте без всяких полонизмов. Прошло не так много времени, чтобы здесь что-нибудь изменилось. И в далекое былое, и в наши дни в околицах Медведичей заканчивается почти безлесная слуцкая равнина, и именно отсюда начинается настоящее Полесье с его дикими недрами и сплошными болотами. Несомненно, в историю этой самобытной деревни очень яркой страницей вписано имя Павлины Мяделки, которая в начале гражданской войны работала здесь учительницей, а после

прихода в Медведичи польских оккупантов вынуждена была бежать, чтобы не лечь на площади под панские бичи за свою белорусскость.

Припоминая все новые штрихи из истории Медведичей, я как-то обособился от своих попутчиков и даже не заметил, когда перед Русиновичами исчез на горизонте костельный шпиль, а наш стремительный «ЛАЗ», послушный, кажется, одной воле шофера, уже выехал на Екатерининский шлях, проехал в Гончарах железнодорожный переезд и повернул налево на Медведичскую неровную дорогу. В автобусе вдруг закачались сидения вместе с пассажирами, залязгали дверцы, стекла в окнах и все другое, что может звенеть и лязгать, а сзади поднялись рыжие клубы пыли. Вдоль ухабистой дороги побежали еловое мелколесье, ольшаники, прерывающиеся редкими лесными полянами и лужайками в ложбинах, но несмотря на близость природы, духота в автобусе делается просто нестерпимой, что и неудивительно — солнце поднялось высоко, на небе по-прежнему ни одной тучки. День вобрался в самую силу, жаркий, безветренный, как вчера, как и позавчера. Правда, и сено в такую погоду удается ядреное, ароматное, как чай, но косовица еще не началась, может, даже и по той причине, что в Медведичский магазин не завезли косы и бруски, и хотя это не моя вина, я чувствую, как подымается волнение в груди, как вдруг затрепетало сердце. Автобус, легко одолев три или четыре версты проселочной дороги, уже въехал в деревню, могучей грудиной раздвигая по бокам еще почти новые деревянные дома вместе с надворными постройками и ярко-зелеными огородами. Медведичи, расступаясь перед стремительным «ЛАЗом», как будто специально из глубины селения выдвигают на передний план свою главную достопримечательность — Петропавловский костел. Он неуклонно приближается, вырастает в объеме, и вот перед глазами уже предстали верхние две башни с высоким каменным шатром, увенчанным массивным, наверно, цельного литья, латинским крестом. Нижней части храма еще не видно за домами и посадками, но медведичская улица не бесконечна, как раз посреди деревни скрежещут тормоза, скорость резко замедляется, и автобус, по инерции присев на рессорах как вкопанный, стал перед костелом, как раз напротив фасада, имеющего, теперь уже хорошо видно, многоярусную, ступенчатую композицию с оштукатуренными и побеленными известью светлыми стенами.

На автобусной остановке, правда, не совсем напротив Петра и Павла, а немножко левей, на обочине деревенской улицы, стояла какая-то юная особа, и хоть я надеялся, что в шляхетских Медведичах, согласно этнографу Сербову, ходят в старосветских одеждах, носят капоты и повойники или чепчики на голове, симпатичная девчушка одета по-современному, простенько и, кажется, даже со вкусом: ситцевое или штапельное однотонное платье, похожее больше на школьную форму, на ногах беленькие босоножки, в левой руке покачивается на весу модный сейчас и в деревне ридикюль. Автобус фыркнул мотором и притих, слегка подрагивая, шофер снял руки с баранки, пошевелил затекшими пальцами и, наконец, обернувшись в запыленный салон, гостеприимно раскрыл двери: пожалуйста, выходите, кому надо. Я правильно сделал, что не полез вперед: пусть сначала выйдут старшие, к тому же, не хотелось, чтобы люди подумали, будто это меня встречает юное создание с блестящим ридикюльчиком. Но на удивление, в Медведичах салон автобуса покинули только несколько человек — шагнули на вытоптанную траву и быстро разбежались по своим дворам. Красный капюшон и часть пассажиров, низко поклонившись храму Петра и Павла, покатили дальше.

На деревенской духоте нас осталось трое: я, девушка-шляхтянка и высоченное, шапка свалится, здание костела. Когда осела пыль, стало видно, что

Петропавловский костел в Медведичах стоит как раз посреди деревни, к тому же на высоком пригорке, и оттого каменное здание кажется еще более массивным, грозным и недоступным. Задрав голову, чтобы лучше рассмотреть шпиль с латинским крестом, я не обращаю внимания, куда идут мои ноги, а левая, между тем, уже нашла какую-то глубокую ямину, спотыкается, и в то же мгновение неуклюжей раскорякой я лечу едва ли не в объятия красивой барышни. «Ах, корреспондент, какой же ты растяпа!» — только и успеваю укорить себя за неосторожность. Поспеваю еще заметить, как барышня раскидывает в стороны руки вместе со своей блестящей сумочкой — то ли от испуга, то ли и правда вознамерилась ухватить на лету споткнувшегося бедолагу. Спасибо Всевышнему, который, конечно же, все это видел, до большого позора, когда бы я лежал, распростертый на земле, не дошло: отчаянно станцевав стремительный «Крыжачок» или даже искрометную матросскую джигу, я все же устоял на ногах и, как бурак, красный от стыда, остановил свой рискованный пилотаж за два шага перед этим свидетелем моего падения. Чего она здесь, лишние глаза мне совсем не нужны! Шаловливая шляхтянка вышла из оцепенения и, насквозь просверлив меня глазами, издевательски захохотала, да еще и приговаривая:

— Какой же ты, парень, растяпа и тюфяк!

Следовало бы пошутить, рассмеяться в ответ, а смеяться не хотелось: перед незнакомой девушкой так опозориться! Я все еще стою, красный от смущения, растерянный от неловкого приключения, но и она, правнучка зажиточных медведичских шляхтичей, юная красотка в легком платье и белых босоножках, наконец поняла, что ее легкомысленный смех совсем не подходит к ее красивому лицу, и я, обиженный, могу что-нибудь ляпнуть про ее плохое воспитание. Егоза вмиг стала серьезной, замолчала, словно поперхнулась, перекинула на локоть руки блестящий ридикюль, собравшись уходить, и продолжения этой истории не было бы, если бы через улицу на соседнем дворе, ущемив морду между штакетин, вдруг не залаяла старая, шелудивая дворняга. Наверно, во мне она признала чужого, в моих беспорядочных движениях почувствовала угрозу для своей односельчанки и, понимая все по-собачьи, решила ее защитить, поддержать грозным, бешеным лаем.

— Шарик, а ну в будку! Ишь, разлаялся! — крикнула через улицу девчушка, и вот чудо: дворняга послушно подалась в свой дощатый домик возле сарая, а девчушка, наверное, сглаживая неловкость, доверчиво и искренне спросила меня: — Откуда ты, парень? Смотри, чтобы Шарик икры не порвал!

В моем идиотском положении, когда я, кажется, высмеян с головы до ног, ничего другого не остается, как даже дежурный вопрос, с упоминанием кусачей собаки, оборотить в свою же пользу. Нет, пусть озорная шляхтянка просит, молит, хоть падает на колени, все равно никогда не узнает, откуда я приехал и какая забота привела меня в полесскую деревню. Есть же, наконец, какие-то принципы и редакционные тайны, ими не разбрасываются, как горохом, и, случайно зацепившись взглядом за здание костела, я нагло заручился поддержкой святых апостолов Петра и Павла, не понимая, большой это грех или святотатство.

— Я ваш новый ксендз! — без всякого стеснения сказал я. — Есть ли при костеле плебания? Мне где-то жить надо.

— Ксендз?! — округлила глаза барышня, и я вблизи рассмотрел, что глаза у нее цвета спелой лесной черники — чудесная, однако, шляхтянка! Она, конечно, не поверила моему вранью: — Разве бывают такие зеленые ксендзы? У тебя, наверное, и усы еще не растут, и бороду ты не бреешь. — Помолчала, подумала, сделала вывод: — Лакомый на чужие колбасы — плебанию, дом ему подавай!

Напрасно я не сказал ей правду, напрасно наплел воз и маленькую тележку — эти веселые глаза цвета лесной черники, видно, не любят хлюстов и обманщиков. Вот юная шалунья соберется и уйдет, напуганная моим богохульством, впрочем, так она и сделала — повернулась и пошла, даже без презрительной улыбки, чего еще ждать от супостата, но через несколько шагов остановилась, да и то разве только для того, чтобы дать мне настоящий урок жизненной мудрости.

— Эй ты, ксендз! А знаешь ли ты, что ксендзы никогда не женятся?

— Не беда! Возьму в плебанию служанку. Ну, вот ты — разве плохая служанка выйдет?

— Да не хочу я к ксендзу простою наемницей! Я хочу быть законной женой! Ксендз намылит пятки, а так хоть без алиментов не останусь. А детей у тебя, святоша, будет целая печь, — вон какая щербина во рту!

Ну и глазастая эта медведичская красавица! То заразительно хохотала, то кричала на дворнягу, а между тем высмотрела все: и белый пушок у меня на верхней губе, и зазубрину во рту — чуть ли не самое веское доказательство моего сердцеедства и непостоянства, а щербина между передними зубами, пожалуй, напомнила пересмешнице о какой-то придуманной детской присказке, хотя хорошо уже — каплуном не посчитала. Говорливая шляхтянка, по-моему, и не собирается уходить — словно приворожила ее эта безлюдная остановка, и нигде, ни вблизи, ни вдали, на деревенской улице, словно в волшебном сне, не хлопнет калитка, не заскрипит колодезный журавль. Медведичи берегут себя от немилосердного солнца, жители спрятались в тень, кто куда смог: близится полуденная жара, возле забора поникла и завяла трава, даже ощущается, как на открытое место, где мы стоим, от нагретого уже костельного здания волнами накатывает горячий воздух. Не знаю, о чем думает беззаботная озорница, а я уже озабоченно думаю, что нужно поскорей убегать, пока меня здесь не сделали полным болваном. Опять же, не заигрывать я сюда приехал — направлен по приказу, так что дело не терпит отлагательства. Хотя, с другой стороны, это только сказ длинным кажется. Пожалуй, не прошло еще и десяти минут, как я вылез из автобуса и так позорно сделал первые шаги по медведичской земле. Жалоба неизвестных благодетелей деревни и хлесткий фельетон на острую тему подождут — мне уже и самому опостылели мелочные, и главное, незаслуженные девичьи придирки.

— Делать тебе нечего! — злюсь я или только делаю вид, что злюсь. — Без толку шляешься по деревне, не даешь добрым людям мимо пройти.

— А вот и совсем не без толку! Я здесь свою директоршу, Ядвигу Францевну, с автобуса встречаю, — обиженно надула розовые губки барышня. Должна была приехать в первой половине дня, а не приехала. Привезет новые ложки, вилки, бумажные салфетки, может, тяжелая будет сумка — вот я и прибежала помочь.

— Кто же она, твоя Ядвига Францевна? И где она в глухой деревне может быть начальницей? Может, фабрика есть какая?

— Ну, не сказать, чтобы очень директорша, — смущается прекрасная шляхтянка. — Ядвига Францевна заведующая столовой, а заодно и шеф-поваром работает. Она хорошая — на лето, пока мне идти в десятый класс, взяла меня в свои ученицы.

— Значит, у вас и столовая есть? — удивляюсь и одновременно радуюсь я, потому что теперь полдень, уже хорошо чувствуется голод. — И ты у Ядвиги Францевны учишься на повара?

— Да, учусь. Правда, я умею готовить, яичницу поджарить или борщ красный сварить, — хвалится девчушка, хотя, может, она и не преувеличи-

вает свои поварские способности. — А раньше столовой в нашей бригаде не было — как открыли в прошлом году, в сенокос, так и на зиму не закрывали. И свои заходят, и проезжие не обходят. А ты, парень, ни разу не был в нашей столовой?

— Нет, не был. Однако слышу, будто откуда-то жареными котлетами запахло.

— Так это ж из нашей кухни! — уверенно сказала теперь уже миролюбивая шляхтянка. — Вот же она, через дорогу. — Ученица поварихи, щедрая, как хозяйка, у которой удался наваристый борщ, довольно показала на шалеванный домик как раз по соседству с хутором, где уже не задирается на цепи кусачий Шарик. — Котлеты у нас вкусные, много мяса кладем.

— Если много мяса, то зайду обязательно, — обещаю я и невинным вопросом узнаю у девушки полезную для себя информацию: — Где здесь у вас сельмаг, надо папирос купить?

— Надо пройти за костел, немного дальше по улице. А ты куришь? Мамка на папу всегда ругается: «Чтоб на тебе кожа коптела!» — помрачнела ученица поварихи, но, перекидывая блестящий ридикюль с локтя на плечо, все же пригласила: — Так заходи — вкусненьким покормлю. Ядвига Францевна, когда уезжала в район, приказала не отлучаться из кухни, вот я и наготовила всякой всячины, и пареного, и вареного.

Она пошла, не оглядываясь, а я не сказал бы, что болтливая шляхтянка начала мне надоедать. Она просто побежала, а неширокую здешнюю улицу перелетела одним махом, — впрочем это не свидетельствует о том, что, обучая поварскому ремеслу, Ядвига Францевна сильно муштрует свою расторопную ученицу. У нас с нею разные жизненные обязанности и разные способы их выполнения: она должна стоять возле плиты, что-то там перчить, подсаливать, чтобы угодить любому неиспорченному вкусу, мне же, несмотря на дневную жару, надо топать в сельский магазин, что-то там выяснять насчет кос и брусков, ведь не сегодня завтра сенокос дойдет до кондиции, вспучится дозревшимии травами. Рядовой заметкой здесь уже не обойдешься — давай, редактор, полполосы на злободневный фельетон, да с юморком, да с перчинкой, где и правда горькая, где и смех сквозь слезы. Скверно одно: деревню Медведичи я знаю слабо, если точнее, не знаю совсем, а в каждом казенном доме, в школе или колхозном клубе, мне, случайному путнику, грезится сельский магазин с его нерадивыми хозяевами. Как в старые времена, так и теперь, дома в Медведичах растянулись в одну длинную улицу по обе стороны костела, и где-то здесь навек похоронены и рыночная площадь, и дом войта, и здания разных кустарных мастерских — нигде никаких следов старины, если что и осталось в памяти потомков, так разве только название — шляхетский городок.

Жители Медведичей знают себе цену, помня свою родословную, не дадут себя в обиду, кто бы ты ни был — большой начальник или корреспондент районной газеты. Я сам в этом убедился, когда отмерил вверх по улице не более трехсот шагов и, оказавшись в помещении медведичского магазина, неброского внешне, но не бедного внутри, пояснил не старым еще продавцам, наверно, мужу и жене, причину своего визита. Они молча прочли письмо жалобщика, хитровато переглянулись, затем без шума и усилий раскрыли в стене боковые двери и завели меня в дальнюю загроможденную товарами кладовую: смотри, проверяющий, мол, сам! В кладовой все железное, все чугунное, вилы да секачи, да разные кувшины, около стены в отдельной куче лежат связанные проволокой и смазанные тавотом новенькие косы, сбоку на полке высокой горкой выложены абразивные бруски — бери, косарь, да айда

на заливные луга! Правда, сельские продавцы, как мне показалось, не признаются, когда это косарское снаряжение было завезено — вчера вечером или сегодня утром, ну и пусть не признаются, главное, факты не подтвердились. Разгромной критики не будет, снимай, редактор, с полосы не написанный мною едкий фельетон! Из магазина, чувствуя неловкость, я выскочил с испорченным настроением: и проехался впустую, и голод не тетка, потому что в столовую, предназначенную для своих колхозников, зайти не получится, имея в кармане на расходы всего два или три рубля. Но день чудесный, хотя и горячий — с болота дохнуло свежестью, из-за леса выплыли не белые, а серые тучки. Так всегда: начинается сенокос, так и смотри, чтоб дождь не пошел. Слышно, как лает не укрощенный Шарик, но теперь он почему-то жертвой выбрал прекрасную шляхтянку, будто нарочно выбежавшую на крыльцо шалеванного домика и стоящую в ожидании: кто здесь первый решится заказать на полдник ее красный борщ и жареные котлеты, ведь, ей-богу, не Шарика же кормить такою вкуснотой!

— Заходи смелее! Небось, изголодался! — кричит через улицу прилежная ученица Ядвиги Францевны. — Стол мы вмиг организуем!

Надо зайти, когда так настойчиво приглашают, да и моих скомканных рублей, очевидно, хватит и пополдничать, и на дорогу еще останется, и я уже совсем по-свойски направляюсь через улицу. В магазине я, кажется, не сильно замешкался, но гостеприимная шляхтянка успела прихорошиться и переодеться — на ней клетчатый на синем фоне фартук, на голове белый поварской колпак, из-под которого видна прядь черных, под цвет глаз, волос. Она чуть ли не за руку ведет меня в пустое помещение, усаживает возле окна за казенный, с железными ножками, стол, и в ее манерах чувствуется уже немалый опыт официантки, готовой выполнить любой заказ клиента, впрочем, в столовке она сейчас одна — и официантка, и повар, и раздатчица еды.

— Так что будешь заказывать?

— Ну, давай свои котлеты, в которых много мяса. И борщ наваристый, если есть.

— Правда, выбор у нас сегодня небогатый, — смущается своего недавнего хвастовства юная повелительница столовой. — Ядвига Францевна, когда ехала в район, так взяла с собой ключ от кладовки с продуктами. А я думала: наготовлю всякой всячины, и пареного, и вареного.

— Неси уже что есть, только чтоб не холодное.

— Так я же на керогазе подогрела!

Раза два промелькнул клетчатый фартук туда-сюда по небольшому залу, и мой полдник уже на столе: красный борщ с большой свиной костью, две весомые котлеты, стакан компота, и ничто, на удивление, не шипит, не скворчит, не пахнет ни кориандром, ни перчиком, зато кость с остатками мяса или ту же котлету можно бесконечно макать в блюдечко с желтой и жгучей горчицей. Хуже всего то, что клетчатый фартук наконец угомонился и присел отдохнуть не в своей темноватой раздаточной, а примостился за моим столом, как раз напротив меня, и смотрит, смотрит, просто сверлит глазами. Я смущаюсь чужих глаз, ем лишь бы как — то поперхнусь, то от волнения ложку грызну, то возьму вилку с котлетой обмакну не в горчицу, а в соль. Хозяйка, видно, старается мне угодить: подсовывает ломти хлеба, которого принесла целый поднос, без нужды переставляет с места на место невостребованный еще яблочный компот или, схватив с коленей махровое полотенце, шлепает налетевших мух, почуявших за моим столом добычу для себя. Я краснею от стыда: это ж уселся такой барин, что вся столовая ходит перед ним на цыпочках!

— А вчера с Ядвигой Францевной мы поджарили две курицы, — ни с того ни с сего сообщает юная шляхтянка. — Правда, одну, большую, жарила сама директорша, а на второй я училась.

— И где же ваши жареные курицы? — я с любопытством подымаю нос от своей тарелки.

— Где-где! Одну Ядвига Францевна спрятала в леднике, может, какой начальник объявится, а вторую мы сами и оприходовали, — доверчиво сообщает незадачливая кухаркина ученица. — Я ж и крылышки подожгла, и шкурка полопалась, на огне долго держала. А потом я косточки вынесла и перебросила через соседский забор — Шарик в момент слопал.

— Не диво, что он за тебя готов горло любому перегрызть, — вспомнил, как облезшая дворняга свирепо облаяла меня.

— Так мы же ему косточки часто подбрасываем, — признается полновластная хозяйка столовой и, вдруг что-то вспомнив, подхватывается с железной табуретки. — Как же я забыла! У нас же здесь ледник свой. Зимою вырезаем на речке глыбы льда, привозим под поветь, засыпаем опилками, и льда хватает на все лето. Что ни поставишь, ничего не портится. Там, на льду, у нас телячий холодец стоит. Вот побегу да принесу на пробу. — Резвая девушка, я даже возразить не успел, крутнулась туда-сюда, в ледник и из ледника, и на моем столе почтительное место среди пустой посуды занимает алюминиевая мисочка с дрожащим телячьим холодцом. — Ешь и не спорь! — командует девушка и опять садится за столом напротив меня. — Только признайся: откуда ты, ведь знаю, никакой ты не ксендз, и как тебя зовут? А меня так веселой Стаськой называют. Ну, так называют мои подруги. А так я — Стася, Станислава.

— Спасибо, Стася!

Почему-то мне не хочется признаваться, что я из редакции, — вдруг веселая Стаська убежит без оглядки, тем более что на вилке у меня уже подрагивает большой кусок телячьего холодца и нужны ловкость, умение, опыт, чтоб донести его ко рту и чтоб в последний момент, когда уже и слюнки текут, вилка не затряслась, не качнулась ни вправо, ни влево, ведь тогда аппетитный кисель застывшего навара из телятины соскользнет на стол или на пол. Вилка дрожала, петляла, но на первый раз обошлось: хоп — и холодец во рту! Озорная Стаська с волнением следит за поединком. Она точно знает, что самый лучший холодец в мире варят в Медведичах, потому и не пожалела целую мисочку вкусноты: ешь, парень, только признайся: как тебя зовут? Холодец аж тает во рту, когда варился, долго стоял на огне: каждая его косточка изошла соком, упрела как следует, к тому же, от него исходит такой стойкий запах чеснока, кориандра, перца и чего-то еще, что кладут в варево. Поединок с холодцом, одним словом, продолжается: хоп — и во рту, хоп — и во рту! Стася смотрит во все глаза, улыбается. И все-таки сглазила: большой кусок отличного блюда соскользнул с вилки и шлепнулся на стол у меня перед носом. Такая неудача! Веселая хозяйка не выдержала, захохотала, став еще красивей, чем была, вся в солнечных бликах от окна, и мне эта картинка напомнила далекую книжную сцену, когда такая же ветреная полячка издевалась и подымала на смех голодного бурсака. Не понимаю, как это случилось, а произошло это в одно мгновение, я сказал любительнице посмеяться совсем чужое имя:

— А меня зовут Андрей!

— Андрей так Андрей, — без энтузиазма согласилась Стася, и было видно, что она не поверила очевидному вранью.

Из приоткрытой оконной форточки в этот момент в помещение залетела большая с рыжими крылышками муха, погудела, погудела около потолка, и, наверное, с высоты увидев добычу — распластанные брызги холодца, присо-

седилась как раз на наш стол. Ленивая, тучная, омерзительная муха вблизи как настоящее страшилище, и только я собрался ее чем-нибудь огреть, как меня опередила веселая Стаська:

— Андрей, не трогай муху! Я сама ее покалечу!

Интересно — чем же? Ох уж эта Стаська! Муху она решила уничтожить самым что ни есть простым способом — обычным щелчком. Со всеми мерами предосторожности, без суеты и шума, сложила пальцы правой руки в особую фигуру и положила на стол, затаившись, а муха, большая жирная муха ползет и не обращает внимания, что около холодца ее ждет засада. Резкий, мощный удар — и рыжая муха без всяких признаков жизни уже лежит на полу около моего табурета. Что ж, щелчок — надежное оружие поваров, официанток, раздатчиц еды и вот таких шаловливых девчат, как Стаська. С первого раза и — наповал! Возьми такую замуж, так ни одна муха не сядет, никакой комарик крови не попьет. А сама Стася, кажется, уже и забыла про недавнее происшествие — убирает со стола посуду, а я подымаюсь, чтоб не опоздать, ведь скоро будет идти мой автобус обратным рейсом из Куршиновичей — его лучше подождать на улице.

— Андрей, посидел бы, солнце еще так жарит, — просит Стася, и нет у нее уже прежнего веселья.

— Нет, пойду — автобус ждать не будет.

Я благодарю хозяйку за чудесный полдник — наваристый борщ, душистые котлеты, и особенно за хорошо упрелый, дрожащий холодец, а когда Стася на миг отвернулась, оставляю на видном месте скомканный рубль — как раз хватит рассчитаться, и больше ничего не говоря, выхожу из темноватого помещения столовой. Однако неплохо, что Медведичи со всех сторон окружены если не темными лесами, то густыми перелесками — полуденная жара в лесной деревне не такая изнуряющая и надоедливая, к тому же ощущается близость полноводной красавицы Щары — иногда с прибрежья пахнет свежим ветерком, приносящим влажный воздух, и тогда в опаленной дали по-настоящему начинает припекать — самая точная примета, что вечером или ночью соберется дождь. Никто их, конечно, не считал, но, кажется, что и тучек стало больше — выплывают из-за верхушек деревьев то по одной, то гуськом, и каждая снизу отсвечивает предгрозовой синью и даже чернотой. Пусть жара, пусть ливень, в деревне всегда найдутся люди, которым позарез нужно поехать в район, и они уже стоят на остановке, ждут автобуса — группа молчаливых, утомленных зноем жителей деревни. Мне сказали, что автобус из Куршиновичей придет минут через двадцать, и это для меня очень кстати, ведь знаменитый костел Петра и Павла вблизи я так и не посмотрел — почему-то не хватило времени. А пока ехать, за те двадцать минут можно смело обойти вокруг вытянутой в длину первой башни, разделенной по периметру целым рядом полуколонн, ощущая при этом, как сверху на тебя давит, угнетает многоярусная композиция костела, а завершает здание еще одна двухъярусная башня с высоким граненым шатром. Говорят, в воскресные дни здесь можно послушать волшебные звуки органа, однако сегодня костел закрыт, о чем свидетельствует большой замок на дверях. Мне вообще не надо было так долго таращиться на верхотуру здания, стоять в дворике этаким недотепой, ведь только опустил глаза, как наткнулся на горячие, полные укора глаза веселой Стаськи. Я даже не услышал, когда она подошла, хотя улавливал, как где-то дзинькает разбитое окно.

— Ну как? Красивый наш костел? — Веселой Стаське, наверное, нравится, что сразу из столовой я пошел осматривать здание костела, как какую-то важную достопримечательность.

— Очень красивый, — говорю я искренне, без всякого лицемерия. – Между прочим, в этот костел ходила Павлина Мяделка, когда в гражданскую войну в Медведичах учила детей белорусскому языку.

— Не знаю такой.

— Она в пьесе Янки Купалы самую первую роль Павлинки исполняла.

— Все равно не знаю, — понурилась Стася. — Ты пошел, а я села за счеты и посчитала, что ты у меня наел и напил ровно на восемьдесят копеек. И рубль твой нашла. На, забери сдачу, — она подала горячую, потную монету. — Не думай, у нас здесь, в Медведичах, воров не бывает.

— Да не нужны мне твои двадцать копеек! — Я ощущаю, что лицо мое горит от стыда. — А холодец ты посчитала?

— Посчитала, — сказала, как отрезала, Стася, и я начинаю понимать, наконец, что совсем не мизерная сдача привела ее к костелу. Я направляюсь на остановку, Стася идет рядом и уже откровенно, вслух, начинает канючить: — Андрей, откуда ты? Андрей, а ты приедешь еще?

Я, правда, не знаю, что ответить, но, на мое счастье, в конце улицы, ведущей из Куршиновичей, показался рейсовый автобус, подлетел с форсом к костелу, остановился, окутанный пылью, около сельчан с дорожными пакетами. Мой утренний знакомый — юркий «ЛАЗ» с тем же ленивым шофером за рулем, а пассажиры в салоне другие, и красного капюшона, конечно же, нет. Шофер по своему обыкновению помассировал затекшие пальцы, настежь открыл и передние, и задние дверцы, чтобы люди скорей заходили в салон. Только вблизи я, стыдясь, разглядел на задней стенке автобуса, густо покрытого пылью, дивный шедевр какого-то деревенского художника-самоучки: ей-богу же, смешного в своей первородности человечка с огромной мордой, носатого и пучеглазого, с кривыми палочками вместо рук и ног — ну, точно мой портрет. Раскрашивать пальцем автобус самоучке, пожалуй, никто не мешал, и он рядом с человечком ради хохмы вывел одно короткое и очень некрасивое слово. Плечами я стараюсь закрыть позорную надпись, чтобы, не дай бог, не увидела веселая Стаська. Но на «шедевр» она даже и не смотрит, хотя и бежит рядом со мной, теперь уже ничего не говоря, и только когда за мной закрылись входные дверки, в салон автобуса долетело ее безнадежное и грустное, видно, вырвавшееся в отчаянии:

— Андрей, откуда ты?

Мне трудно представить, что подумали обо мне пассажиры, хотя подумали самое плохое — развратник, ловелас, такого и на порог нельзя пускать, а какая-то седая старушка даже отодвинулась с опаской, когда я рядом бухнулся на сидение. Автобус выруливает на проезжую улицу, и из окна мне видно, что веселая Стаська в своем клетчатом фартуке неподвижно стоит на остановке, печально глядя вслед. Мне ее жалко, даже стыдно за вранье, но попробуй вот угадать день и час, когда твое сердце пробьет меткая стрела Амура. Вот гуще побежали выветренные от зноя посадки, вот улица сделала поворот, и автобусной остановки уже не видно. На выезде из деревни я еще раз обернулся, да и то только для того, чтобы осмыслить внезапную перемену в погоде, потому что из-за леса и болот начала выплывать большая грозовая туча, и совсем бестолково подумал: неприятно получилось с укрощением молодых чувств, но зато я привез в Медведичи дождь, которого здесь давно ждали.

Перевод с белорусского Татьяны КУВАРИНОЙ.



НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

Тропою Придвинья к словам

* * *

Кого он звал, тот голос за стеной?
Спят каменные города темницы.
Но кто-то через ночь хотел пробиться
Ко мне с бедой своей или виной.

Так и сижу, и лампу не гашу.
Мне не уснуть, наверно, до рассвета.
Я у того прощения прошу,
Кто не дождался от меня ответа.

И душу обжигает и печет
Какою-то неузнанной виною.
Пускай бы он откликнулся еще —
Тот, ставший близким, голос за стеною.

* * *

Желтых фонарей дрожанье
В тишине ночной.
Только горькое прощанье
За моей спиной,

Только перезвон трамваев
Сквозь тоску и ночь,
Только отсвет, что впускаю
Я в свое окно,

Только стон виолончели,
Только плач трубы,
Только вечные качели:
Быть или не быть?..

* * *

Над холодной землей в вечереющей мгле
Задрожал огонек, рассыпая свой след.

Он то дальше, то ближе, то рядом со мной.
Не заметить его может только слепой.

В одинокой ночи кто мне знак подает?
Кто сигналами сердце ласкает мое?
Значит, надо кому-то, чтоб я не пропал,
Чтоб тропинку свою в темноте отыскал,

Чтобы преодолел непогоду и зло,
Чтоб прорвался сквозь мрак я туда, где светло.

* * *

Перевожу я на бумагу
Ручьев весенних разговор,
Березок слезы, птиц отвагу,
Рябин печальных с ветром спор.

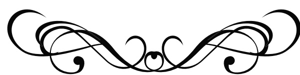
Ищу невидимую тропку
К словам, что вечности сильней…
Я только переводчик робкий
Лесов придвинских и полей.

* * *

На тихий двор взглянул я из окна:
Там сад, там пруд, жарою утомленный,
Там старый пес под одиноким кленом,
Из кирпича старинного стена.

Потрогать ее хочется скорей,
Чтоб протекло под пальцами былое,
И рядом с нею давнею виною
Очиститься пред памятью своей.

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.





ИРИНА ШАТЫРЕНОК

Была у старушки избушка лубяная

Рассказ

Когда деньги даешь детям – смеешься,
когда дети дают тебе деньги – плачешь.

Наша дача стоит рядом с участком Михайловны. За забором с одной стороны начинается мелкий лесок, а внизу, на склоне пригорка, прилепилась низенькая хатка Михайловны с хозяйственными постройками.

Михайловна не вышла росточком. Очень маленькая. И все у нее такое крохотное, миниатюрное. Руки не как у других, а ручки, и ноги — ножки, как у ребенка. Круглолица, черты лица приятные, почти кукольные. Маленький курносый нос-кнопка весь в мелких смешливых морщинках. Глаза все время слезятся и смотрят на мир выцветшими васильками.

— Муж ждал целых два года, пока выросту. Сватов заслал, когда исполнилось восемнадцать. Все ему говорили: зачем тебе такая маленькая… А он отвечал, что в карман меня посадит. Так шутил. Любил меня одну всю жизнь… Мастером был, и дом мог поставить, и печку сложить. Из далеких деревень звали на работу, — приговаривает Михайловна, утирая глаза мятым, несвежим платком.

Мы сидим в тенечке на давно не крашеной лавке, прислонившись к теплой стене старого дома. Домик не обшит доской-вагонкой, а грубо схвачен черным толем, потрескавшимся от времени и дождей.

И домик у старой Михайловны такой же махонький, как и она сама, неказистый и приземистый, всего две тесные комнатки и проходная кухня. Но печка хорошая. Покойный муж сложил своими руками, плиту при печке на панский манер белым кафелем выложил. Ручки латунные, старинные, блестят начищенным металлом.

— Мы эту гору купили за шестьдесят мешков зерна. На себе землю таскали, чтоб площадку под дом выровнять, — качает головой Михайловна. — У Тарасихи другое дело. Им дом готовый и земля после войны достались. Многие поляки в Польшу поехали, да… На готовое пришли. У Тарасихи участок ровный, как стол, сад большой, огород… У меня гора.

Ветер налетел порывистый, унес Михайловнины слова, переврал, слышно — «У меня горе».

Она хоть и старая, но лицо румяное, чистое. До недавнего времени волосы хной красила и бегала по двору за своими курами, как цирковой клоун в красном парике. Теперь Михайловна не красится, побелела как лунь. Все ее ровесники давно поумирали.

— Сивая, совсем сивая, мне на следующую осень… восемьдесят девять стукнет, все женихи там, — она выразительно кивает вверх.

За свою долгую жизнь Михайловна официально работала мало. Подрабатывала уборщицей в деревенском магазине. А так все держалась дома, у плиты, при курах, на огороде. Когда была помоложе, силы были, круглый год держала большое хозяйство. До минимальной пенсии ей не хватило пару лет, вот и получает теперь пенсию по потере кормильца.

Мужа своего она давно похоронила. Работящий был человек, хороший каменщик. Жили дружно. Выпивал Броник, но в меру. Работа была тяжелая, вот и выработался раньше времени. За год до пенсии инсульт его сильно хватил. Правда, долго прикованным к кровати болезнью не лежал, не измучил ее тихим ежедневным уходом. Быстро отошел. Поплакала Михайловна, поголосила. Поминки справила достойно, через год памятник поставила, могилу цветами засадила. В семейной могиле рядом с Броником четыре могилки их родных девочек-кровиночек лежат…

Перед войной у молодых родились сыновья-погодки — Генка и Славка. А после войны дружно пошли одна за другой дочки Галинка, Мария и Ванда. Была еще одна дочка, но той только имя успели дать, сразу умерла.

— Уж такие были справные дочки, но... когда это было… в пятьдесят первом, весной пришла Галинка из школы и слегла. Температура высокая поднялась. Горела огнем, пить просила… А за Галинкой следом свалилась Марийка, потом самая маленькая Ванда, — плачет выгоревшими глазами-васильками, вспоминая, Михайловна.

Она всегда плачет, когда рассказывает, как потеряла за одну страшную неделю трех дочек.

— Галинке было семь, Марийке пять, а Ванде три годочка… Забрал у меня Пан Бог моих девочек-красавиц, а пьяниц оставил, — причитает старуха.

Михайловна мне эту историю рассказывает почти тридцать лет, не добавляя ничего и не убавляя. Слово в слово. Но оборвать ее печальный рассказ не могу. Что сказать? Что устала слушать за столько лет печальный рассказ про ее девочек? Не могу. Пусть говорит.

По весне как-то попросила отвезти ее с Тарасихой на сельское кладбище.

— Тут рядом, три километра от дороги, старые мы с Тарасихой, сами не можем дойти, ноги болят, наши могилки который год не отведаны.

Приехали на старое кладбище прохладным утром, Тарасиха пошла кланяться мужу на могилу, Михайловна повела меня краем леса на солнечный взгорок. По южному склону все усыпано спелой земляникой, и такая она здесь алая, сочная, сама просится в руки.

Михайловна между долгой молитвой, которую она заученно шептала над могилой Броника, принялась маленькими, загорелыми руками сноровисто полоть траву, протирать влажной тряпкой памятник, убирать старые бумажные цветы. Землянику не тронула.

— Красиво, пусть ягодка растет, может, мои девочки порадуются.

Старухи несколько лет не были на могилках, радовались и долго еще потом совали мне бутылки с дешевым вином, хотели отблагодарить за поездку.

Сыновья-пьяницы — это Генка и Славка. Славка умер уже несколько лет назад. Жил он в городе. Михайловна с мужем помогла его семье кооперативную квартиру построить. Хорошими деньгами тогда им подсобили. Невестка после смерти Славки даже звала Михайловну к себе жить.

— Ну куда я от своих кур подамся. Утром в окнах солнца не видать, солнце только к вечеру заглядывает. Нет, не могу, — печалится Михайловна. Ее светлые глаза опять мокрые от слез.

Хорошо в прежние времена жила Михайловна, даже доллары откладывала на черный день. Первое время удивлялась красивым бумажкам, а потом вспомнила, как брат перед войной вернулся с заработков из Америки. Такие же зеленые деньги привез. В казенном банке их потом обменяли на польские злотые. Купили на них трактор и другую нужную в хозяйстве технику.

Деньги у нее в прежние времена всегда водились. «Прежние времена», то есть советские, она любит вспоминать. Это когда ржаной черный хлеб продавался за твердые четырнадцать копеек, и «Докторская» колбаса стоила два рубля за килограмм.

Пускала в дом сезонных квартирантов в одну комнатку. Пустующую времянку во дворе тоже сдавала одиноким. Брала Михайловна с квартирантов за жилье небольшие деньги. Но при экономном ведении хозяйства ей вполне хватало на жизнь, и даже *тое-сёе* откладывать умудрялась. Дачникам продавала вкусные яйца.

Кабанчиков все теплое время держала в клетях-сарайчиках, а по осени Генка забивал их. Свининой с детьми делилась, себе немного на зиму оставляла. Вялила колечки домашней колбасы. Из щековины, печени, сала варила вкусный зельц, сальтисон. Самая закуска для Генки.

Особенно Михайловна любила кур держать. Раньше каждое лето наседку на яйцо высаживала. Теперь вот молодых курочек прикупает на птицефабрике. С годами стало ей тяжело за цыплятами присматривать. Хлопотное это дело — бегать по кустам.

— Была сегодня у врачихи. Слышишь, пани Ирэна, — кричит мне снизу Михайловна. — Посоветовала она мне каждый вечер выпивать ложку водки. Перед сном. Для сосудов. Пани Ирэна, купи бутэльку водки, с пензии отдам.

— Твою водку Генка выпьет.

— Не, я спрячу. В медыцинские банки разолью. Ён боится медыцыны…

...— Пани Ирэна, ты не видела покрывало? Ой, яшчэ такое добрае. Генке вчера постелила. Пришел вечером пьяный. Не было сил у дом заползти. Жалко сына, замерзне, хоть и лето. Так утром кто-то спер. Доброе покрывало…

...— Пани Ирэна, дай мочалку помыться.

— Ну, Михайловна, мочалка, как зубная щетка, расческа… — я не успела закончить.

— А чего ты боишься, я отдам. Помоюсь и отдам.

— Нет, Михайловна, я вам новую подарю. Мойтесь на здоровье…

— Вот у ойца моего до войны польские офицеры были на постое. Все молодые, красивые, шляхетные. Паненкам ручки целовали, а белье у них тонкое, шелковое, и одеколоном поливались. Слушай дальше. После войны пришли советские солдаты. Кальсоны на них драные, портянки вонючие. Дикие люди. Будильник утром в доме зазвенел, так они все как подхватились, сполохались, на улицу повыскакивали. Эко чудо. Будильника солдаты не видали. Не шляхетныя.

Вся жизнь у Михайловны проходит у плиты, с утра до вечера она топчется между низким столиком, покрытым старой вытертой клеенкой, и скрипучей табуреткой. Табуретку по ее мелкому росточку сделал Броник. Давно это было. Любил Броник с деревом работать, чувствовали его руки податливую плоть светлой сосны или мягкой липы. Табурет вышел как игрушка, ладный, гладкий, сидение сработал из дубовой доски. За столько лет Михайловна до блеска отполировала табурет своей круглой маленькой задницей.

Сватались к Михайловне почти все ее квартиранты, но ни с кем не хотела она делить свое независимое положение. В этом была и коммерческая выгода: муж — не квартирант, не хотела терять ежемесячный доход от квартплаты.

— Один удовый, солидный. Бывший ветеринар, фамилия веселая Кудря… С двухкомнатной квартирой в городе приходил ко мне, два года летом, как на даче, жил, было дело, было, — вспоминает Михайловна, от хороших воспоминаний лицо ее светлеет. — Может, я ему так сильно и нравилась, но больно он отощал один в пустой квартире. Бездетные они с женой были, как стал удовым, много кумушек нашлось на его метры… а он ко мне. На мои блины с мачанкой запал. Одну рюмку с ним завсегда вечером выпивала. Звал Кудря в город к себе жить, хороший он человек был, да младше меня на десять лет, я для него застарая, он еще себе бабу добрую найдет, не, не пошла замуж, позориться, ничего мне не надо было от него.

От квартиранта осталось у Михайловны две вишни, что посадил он за домом на ничьей территории. Деревья долго не хотели идти в рост, потом как взялись, в одно лето дружно пустили густые побеги, на следующую весну зацвели белым цветом, как облитые молоком. Теперь Михайловна с урожаем, себе ведро для вишневой наливки оставляет, а остальную ягоду просит, чтобы люди собирали. А все равно на земле красным-красно от опавшей спелой вишни, как будто кровь пролита.

Михайловна с Тарасихой часто поминают Кудрю вишневой наливкой. Слабое у того сердце оказалось, к Михайловне на велосипеде из города ехал, упал в траву, прохожие потом нашли.

Сколько новых людей появилось на улице. Пригородная деревня, перспективная, всего тысяча двести шагов с горки до троллейбуса. Люди с деньгами скупают старые дома ради земли. Сады вырубают, старая хата под снос идет, через полгода стоит дом-красавец под яркой зеленой крышей. Новые соседи живут за высокими заборами, окликают ее на городской лад — Михайловна. Никто из них не знает, что она была когда-то пани Стася. Одна Тарасиха еще помнит ее красивой хозяйкой, у которой в руках любая работа горела, так и зовет уважительно на старый лад — пани Стася.

Надолго в квартирантах задержался один Иван Васильевич. По двору он прогуливается неторопливо, на все смотрит хозяйским глазом. Где дверь подчинит, забор поставит, окошко застеклит.

Ни сыновьям, ни внукам до Михайловны дела нет. Придет Генка от жены злой, матом ругается, кричит на мать.

— Дай денег на пиво, с зарплаты отдам.

Сидит на кухне в углу злой как сыч. Не хочет домой идти, там Зинка пилит его день и ночь, из дому гонит. Пьяница Генка, никчемный лодырь.

Даст Михайловна сыну денег, и Генку как ветром сдует.

— Зря ты, Михайловна, Генке денег дала, — наставляет ее квартирант Иван Васильевич. — Он опять пропьет, а к вечеру приползет сюда. Начнет скандалить.

Точно, к вечеру Генка чуть живой заявляется во двор, говорить не может, только мычит, а как на Михайловну посмотрит, так сразу три слова и вспомнит про *матерь*.

Иван Васильевич мужик хозяйственный. Каждый день ходит в ближайший лесок. Березу, дуб, можжевельник, липу ломает. Потом из них веники вяжет. Зимой под городской баней его товар за милую душу с руками отрывают. Хорошо идут веники. Час-другой постоит и домой с хорошей выручкой возвращается. Веники у него знатные получаются, с крепкой и удобной ручкой. Небол-

шой веничек и не маленький. Как раз для женской руки. Для мужичков веники побольше, потяжелее, а для бабанек он отдельно вяжет пушистые, аккуратные, одним словом, женские. Возьмешь такой веник, а он легкий, упругий, веточка к веточке пригнана, листья зеленые, подвяленные, не облетают. Такого веника хватает на две, а то и три бани. Не то что казенные. У тех лист сухой, ломкий, тряхнешь посильнее, с него лист сыплется, как в осенний листопад.

Иван Васильевич вдовец. Переехал из Литвы в начале 90-х, когда там начались притеснения русских. У него в Литве квартира в многоэтажке осталась. Хочет продать, ищет покупателя. И самому здесь надо бы быстро прижениться, гражданство белорусское получить. Вот он к Михайловне давно приглядывался, даже серьезное предложение попытался сделать, но нетерпеливая Михайловна детям все сразу откровенно и выложила. Захотела по-родственному посоветоваться. Дети и внуки на нее налетели, закаркали. Дескать, что ты, мать, совсем ополоумела, зачем он тебе, больной, старый? За комнату платит, и будь довольна. Повздыхала Михайловна.

— Больно ты, Васильич, много ешь. Вон какой живот отрастил. Не помощник ты мне. Да и дети не разрешат, — такой был ее окончательный ответ.

А Иван Васильевич время даром не терял. У бани познакомился с еще нестарой бабенкой. Бойкая такая, краснощекая. Она у него давно веники покупала, обратила внимание на качественный товар и на продавца. Быстро сладили. Приженился к ней Иван Васильевич. Квартиру свою в Литве вскоре удачно продал. Деньги в твердую валюту здесь перевел и в банк положил на свой счет. Крыша над головой есть и стол. Проценты ему на жизнь с новой женой капают. Хорошо.

Меня как-то по старому знакомству у крыльца бани весело зацепил:

— Передай Михайловне, дура она и есть дура. Могла бы жить со мной припеваючи.

Привет его дурацкий не передала, а веники у него действительно хорошие, ароматные. Запаришь такой веничек — хоть пей из тазика душистую березовую воду, такая густая, коричневая, с приятной горчинкой. Пахнет летом, солнцем и зеленым лесом.

Генке скоро исполнится шестьдесят пять. Сам на пенсии. Жена давно выгнала из дому. К кому пьяница прибьется? Кто примет? К старой матери. Мать не выгонит.

— Мы с батькой Генке дом поставили. А как же… Он ее, Зинку-голоту, привел к нам в дом в чем была. Рыжая, конопатая. Ни пальто, ни туфель. И семнадцати годков не было. Зато горячая… на одно место. Свадьбу мы им справили. Рук не покладали всю весну и лето, а к зиме в свой дом молодые вошли. Кирпичный дом под железной крышей стоит. Тут недалеко, в конце улицы. Зинка ему деток народила — Андрея и Сашку.

Михайловна умолкает, не хочет дальше рассказывать. А что рассказывать? Мне и так все давно известно. Соседи мы. Внуки Михайловны теперь тоже распились, и все заново сошлись под крышей ее маленькой хатки.

— Неправильно это. Не так. Дети должны уходить от стариков. Помогать — да, но не возвращаться под мамкину крышу. Так, так, — жалуется Михайловна, но никто ее не слышит, только ветер гудит высоко в соснах.

В тот год перед развалом Союза старший внук Андрей привез в родительский дом из Эстонии жену Наташку, западную хохлушку. В Эстонии он служил радиомехаником. Наташка в той воинской части работала поварихой. Львовский кулинарный техникум закончила. Союз был большой, направили на работу по распределению.

— Наташка хоть и болтушка, работу свою знает, ох, как хорошо готовит, — Михайловна хвалит жену внука. — Повариха стоящая. Что умеет, то умеет, не отнять. Не разучилась. Была замужем, с первым мужем у Наташки детки не получались, — в сотый раз Михайловна рассказывает семейную сагу.

«А вот с приземистым, рано облысевшим Андреем все в один момент образовалось, родила сначала Ваську, потом Димку», — додумываю за Михайловну.

— Сыновья мои не в Броника пошли, отец-то высокий был, но мужики вышли неказистые, а как пить стали, то и вовсе по деревне ходят как пришибленные. Внуки Андрей и Сашка тоже от земли далеко не оторвались, ни роста, ни стати. Ой, нельзя плохо о родных говорить, — закрывает Михайловна рот ладошкой.

— А девки что? Девки за высокими хлопцами гоняются, а по-моему, лепей, чтоб не пили.

Тесно стало молодым в родительском доме. У Наташки, ко всему, оказался склочный характер, со свекровью ругалась день и ночь. Ни в чем той не уступала. Наташка болтливая страсть какая, рот не закрывает. Только и слышно во дворе ее несмолкаемое *тра-та-та, тра-та-та*. Трещит, как трактор на холостых оборотах. Без умолку.

Молодые стали проситься строиться к бабке.

— Пусти, баба, к себе, буду за тобой в старости ходить, — настойчиво просил внук Андрей, к тридцати годам уже окончательно облысевший.

Круглая голова блестит, как гладкий костяной шар. Маленький, но жилистый и злой.

Внук не отставал от Михайловны.

— Баба, ты будешь за мной жить в старости, как за каменной спиной… пусти, баба.

— Эка, в старости, хватил, я уже двадцать лет как на пензии, крепкая, сама со всем справляюсь, — отмахивалась от него Михайловна, опасалась попасть к невестке в услужение.

Но после долгого упорства, под давлением всей семьи, Генки и невестки, Михайловна сдалась. Пожалела внука, наконец оформила все бумаги у нотариуса, отписав ему по дарственной свой домишко. С ней тут же рассорилась вторая невестка, Славкина жена. И внучка туда же.

— Мы к тебе со всей душой. Я теперь сюда — ни ногой! — кричала на бабку взрослая внучка, она каждую неделю приезжала отведать Михайловну. Привозила ей много продуктов, лекарства, а заодно сплавляла на выходные свою дочку Ленку.

— Ой, и придумала ты, Ленка, сил моих нет, — ругалась Михайловна на правнучку. — Зачем колбасу скормила коту? Пусть мышей ловит.

Со всей своей разросшейся семьей и пожитками Андрей перебрался к Михайловне. В комнатенке за тонкой стенкой-перегородкой стали все жить вместе. В одной комнатухе внук с женой и двумя маленькими детьми, в другой — Михайловна. Проходную дверь между комнатками заставили шкафом, и на свою половину новые хозяева ходили уже через кухню.

В первые дни Наташка стала отвоевывать свою территорию, нахально потеснила бывшую хозяйку из общей тесной кухоньки на веранду.

— Баба, ты одна, много тебе не надо, мне чужого не надо, но и в мои кастрюли не заглядывай, — серьезно пригрозила Наташка, с довольным

видом оглядывая собственные заготовки в банках с соленьями и баночки поменьше, где держала специи, пряности, соль, сахар, майонез, уксус.

Скоро Наташка приволокла на кухню новый большой холодильник, до отказа завалила его продуктами, а старенький бабкин холодильник выставила в тесный чулан.

Двум хозяйкам в одном доме ужиться трудно. Стала молодуха притеснять бабку. Поначалу на каждый ее шаг только покрикивала, потом и вовсе не сдерживалась, орала и кляла старуху, дескать, Михайловна во всем ей мешает, путается под ногами. Но потом и вовсе перестала старуху замечать. Демонстративно. Как и нет рядом живой души.

Как-то прихватила Михайловну простуда, целую неделю лежала одна в своей каморке, металась в жару, облизывая сухие губы. Тихо звала внука Андрея и его сыновей. Все забыли Михайловну. Придет Андрей после работы, к бабке не заглянет, не спросит о здоровье. Днем просит Наташку чаю горячего принеси, стучит слабой рукой по стенке. Не дозваться.

Услышала, как к Наташке пришла подруга. Молодые женщины устроили вечеринку, чокались, выпивали, смеялись, танцевали под веселую музыку. По всему дому плыл дух свежего жареного мяса, маринованных огурцов, квашеной капусты, острые запахи проникали через тонкие стены в каморку Михайловны.

Михайловна, кряхтя, выползла на кухню и услышала, как подруга удивилась:

— О, бабка! Я думала, Наташка, мы пируем одни? Чего, бабка, хочешь? Может, сала с водочкой?

— Мне бы чаю, — попросила ослабшая Михайловна, с трудом держась за дверь.

— Ресторан закрыт, — смеялась ей в лицо нахальная Наташка, жирно намазывая на хлеб шоколадное масло. — Спецобслуживание у нас. Чего встала? Иди, иди с моих глаз.

С богатого стола молодых Михайловне ничего не перепадало. Каждый готовил себе сам. Наташка, недаром что повариха, варила много и вкусно. В доме каждый день разносился плотный запах наваристый мясных щей, свежих котлет и сдобных булок. Старуху за стол никто не звал.

— А много ли мне надо? Кусочек булочки, тарелку борща, конфеткой побаловать, я ведь Баба, Ба-ба, — жаловалась мне Михайловна, утирая мятым платком слезящиеся глаза. — Купи мне капель для глаз. Туманом застит. Плохо стала видеть, и хандроз замучил. Купи что из мазей от хандроза. Я потом тебе деньги отдам, через неделю пензию получу и отдам, — просит через калитку Михайловна.

«Ба-Ба». В это слово Михайловна вкладывает особый, по ее разумению священный смысл. В большой, разросшейся семье, пустившей от одного родового ствола множество ветвей и веточек, так было во все времена. Она, большая, самая старая в семье Баба, должна по старшинству занимать достойное и почетное место. Она застала в здравии и глубокой старости свою прабабку, хорошо помнит, как ее мама, царство им всем небесное, говорила с паней Ядвигой на вы, ни в чем ей не отказывала, покупала строгой пани Ядвиге цветочные духи и вышивала собственноручно носовые батистовые платки. У старухи к тому времени совсем ослабели глаза, и как теперь, у Михайловны из них вытекали жидкие слезы. Руки у пани Ядвиги были ухоженные, белые и от носового платочка чуть пахло жасмином.

Ведь Михайловна не просто бабка, не чужая, она всех их прародительница. Или, как сама она говорит о себе с почтением: «Ба-Ба». Старая, уже

древняя, но держится еще на своих ногах. Страшно подумать, что с ней будет, если, не дай Бог, свалится. Кто за ней станет ухаживать?

С мужем жила, казалось, срослись они в единое целое, главное слово в семье было за Броником, жила его умом, про свой забыв, и нужен ли он неграмотной бабе. За мужем хорошо, а как рада была ему услужить. Перед сном Михайловна усердно читает молитвы на польском, строчки плывут, рассыпаются в пожелтевшей книжице, каждую молитву она знает наизусть, а все равно не заснет, если не возьмет в руки заветную Библию.

Внук Андрей первое время крепко держался за семью, с пьянкой завязал, с охотой за любое дело брался. Гнездо свое обустраивал. Подладил старую печку. Возле плиты всю стенку выложил новой керамической плиткой. На полках в кухне появилось много новых красивых чашек. На окошко Наташка повесила пестрые занавески.

Живо затеял грандиозную пристройку к маленькой хатке. За работу по началу с большим рвением хватался, все в дом тащил, как муравей. Мешки с цементом, кирпич, доски, все по-хозяйски под навесом складывал, бревна сам отесывал, людей на стройку нанимал. Генка помогал, не пил, разве что после работы, но не много, сколько Наташка нальет.

Дом рос на глазах, стройка держала мужиков, отрезвляла. Наташка не могла нарадоваться, ее пустая болтовня как-то сама утихла, вся энергия перешла в пироги и борщи. Она завертелась у печи, где в кастрюлях для работников томился холодец, пыхтела кабачковая икра, жарились дырчатые блины и пеклись пироги с капустой, грибами, печенкой, картошкой. Все шло вечером нарасхват.

На худых боках Наташки платье болталось, как с чужого плеча, а глаза полыхали весельем, только бы дом успеть до осени под крышу поставить.

Казалось, через пару-тройку лет справят молодые новоселье в кирпичной пристройке в два этажа, но вот уже и младший Димка в школу пошел, а дом как застрял на перекрытиях крыши, так и стоп. Михайловна уже устала ждать, когда семья Андрея, наконец, переберется к себе, а в ее каморках наступит тишина и покой.

Детки Андрея уже в школу пошли, послушные, не перечат матери. Наташка пересела на велосипед почтальона, ездит по ближним деревням, почту, пенсии, газеты развозит. У плиты, как прежде, Наташка не толчется, варенье вишневое не варит, окошко на кухне давно затянула паутина, красивые чашки разбились, одна осталась, стоит грязная, Андрей в ней окурки зло тушит. Дня не прошло, чтобы Наташка Андрея не ругала, и есть за что. Не работает муж, нет денег на отделку дома, стоят кирпичные стены темные от сырости, заливает их дождь весной и осенью, дыры не застекленных окон подслеповато смотрят на улицу.

Наташка мужа на голову выше. Унижает она низкорослого муженька и так и эдак, главный у нее козырь — ростом не вышел. Возвышается над ним, глазами сверкает, руки в бока упрет.

— Вонючий клоп, урод! Чтоб ты сдох! — визжит вечером Наташка, ее голос противно режет воздух на куски и разносится далеко по деревне.

— Наташа, что ж ты меня позоришь, Андрей твой муж, отец твоих детей, — тихо корит ее Михайловна. Она сидит с Тарасихой на лавочке, не хочет в свой дом идти. — Неспокойная старость. Тебе, Тарасиха, хорошо, одна живешь.

— Правда твоя, пани Стася, переходи ко мне, у меня места много, — кивает седой головой соседка, голова у нее трясется. Михайловна забыла сложное

название болезни, от которой Тарасиха трясется. Не согласна она переходить к старой подруге, лучше в родных стенах умирать.

Двор Михайловны хорошо просматривается с высокой площадки нашей дачи.

Рано утром в домике Михайловны — тишина. Не спешат ее старые больные ноги в сарайчик. Сколько лет в загончиках неуютно и пусто. В ее маленьком доме все крепко спят. Не торопятся вставать. Пьяницы спят долго.

Но мы встаем рано, с первым лучом солнца. Еще утренний воздух колюч и свеж, а солнце теплой красной волной уже разливается и дрожит в высоких соснах.

В одно такое раннее утро мои глаза скользнули по привычному пейзажу, не задерживаясь, остановились на крыльце квартирантской времянки. Из двери времянки выскочила Наташка, распаренная и простоволосая, как из бани, а за ней, толкаясь в двери, торопливо заправлял в брюки рубаху новый квартирант. Наташка оттолкнула от груди хваткие мужские руки и побежала через двор в дом босая, воровато оглядываясь по сторонам. У двери дома она для надежности прострелила местность встревоженными глазами, подняла голову, и здесь наши взгляды встретились. Мой сонно-невозмутимый взгляд догнал ее уже у хаты. Громко хлопнула дверь, и в темноте прихожей мелькнули ее белые пятки.

«Однако!» — я окончательно проснулась.

Вчера Михайловна мне рассказывала, что Андрей в очередной раз уехал куда-то на заработки, пытаясь где-то раздобыть деньги на жизнь, чтобы, наконец, закончить растянувшийся на годы долгострой.

Неожиданно мне довелось стать случайным свидетелем любовной сцены. Два торопливых любовника: замужняя Наташка и молодой парень быстро расставались ранним утром после ночных утех. Испуганная Наташка под моим взглядом, как ошпаренная, вприпрыжку вбежала к себе в дом, чтобы затем прикинуться перед Михайловной невинной овцой.

«Быть скоро семейной драме», — невольно подумалось мне.

Так оно и вышло. Крики, ругань, шум в недостроенном доме и на открытом дворе теперь не прекращались, перекинулись к соседям, как долго тлеющий, скрытый огонь, став пустой пищей для досужих пересудов. Наташка бесстыдно голосила и визжала на всю улицу, призывая всю деревню в свидетели. Пусть все видят, как напрасно загублена ее молодая жизнь. Домашние скандалы стали прилюдными и скоро потеряли свою новизну.

И в семье старшего сына Генки не все хорошо, Зинка тоже прогнала пьяницу-мужа со двора. Теперь в хате Михайловны живет не по годам старый, весь седой, беззубый Генка. От Андрея ушла Наташка. Забрала детей и подалась — недалеко, через дорогу к соседу. Это на одной улице. Юрка не местный, приехал когда-то с Украины работать на большой завод, так и остался. Бобылем до сорока лет прожил, полдома купил, а тут повариха Наташка к нему подкатилась, глаза масляные-масляные, сама ласковая и липкая оказалась, что тот липовый мед. Главное, что Юрка не пьет. Совсем не пьет, у него от спиртного рвота, а Наташке это и надо, и рост у нового мужа хорош, выше Наташки на целую голову. Земляки, вечером песни поют свои. Живет Наташка одним днем, не расписана с Юркой, варит новому мужу густые борщи, в доме каждый день пекутся с утра блины и пироги. Дети накормлены, муж сыт и доволен Наташкой. Пока почту развезет по деревне, всем болтливая сорока разнесет, как счастлива. Едет мимо недостроенного дома, обязательно притормозит и плюнет в сторону калитки.

Михайловна жалеет всех, старшего сына Генку, никчемных внуков Андрея и Сашку. Андрей окончательно потерял свою дорожку в жизни, сбился с пути, нигде не работает, с батькой пьет. К общей компании прибился еще непутевый младший брат Сашка. Того тоже жена погнала из дома. Женщине нужен муж работящий, чтобы в дом деньги приносил, а не из дома последнюю копейку тащил.

А старая Михайловна знает одно: утром ей надо встать раньше всех. И некому пожаловаться на болезни, да и кто ее пожалеет. Мысли сбиваются, но одно она знает точно: к обеду надо что-то сварить, собрать на стол, обязательно горячий супчик. Ведь трое мужиков у нее на шее.

— Пани Ирэна, купи мне колбасы, подешевше. И валидолу, денег сейчас нет. Но через неделю отдам, с пензии, — жалобно просит за калиткой Михайловна. Она еще больше съежилась, подсохла, приуменьшилась, похожа на доброго гнома, глаза по-детски ясные, чистые. Чуть ходит, но поднимается на горку, покачиваясь на слабых ногах. Долг она отдаст, обязательно отдаст.

Старые резиновые боты за Ленкой донашивает. Правнучка давно из них выросла. Забыла старую Ба-Бу, а маленькой была такой ласковой… Все бросили Михайловну. Недостроенный двухэтажный дом Андрея высится над покосившейся избенкой странным строением. Только ветер гуляет под крышей.

Первой в доме встает Михайловна. Она по-прежнему остается матерью для пьяницы Генки, бабушкой для взрослых внуков. Топает у плиты, кряхтит, покашливает. Ставит на плиту закопченный чайник. Варит кашу. «Зима идет, а некому про уголь или дровы позаботиться. Змерзнем».

— Пани Ирэна, пани Ирэна, ты же помнишь, какая я была добрая хозяйка. В каждом закутке тепло, пар шел от скотины. В загончике — кабаны. В клетях — кроли. В курятнике от кур темно. Помнишь?

Давно нет у пани Стаси кур, калитка в хлеве забита гвоздями. Никто не хрюкает, не квохчет, не кукарекает. Пусто в сарае. Пусто у нее и в душе.

Стоит маленькая старушка у забора, просит денег в долг.

— Смотри на меня, видишь, попрошайничаю, как последняя жабрачка. Андрею деньги дала, ни хлеба, ни Андрея.

Вынесла из дома Михайловне пачку орехового печенья и детский творожный батончик, глазированный шоколадом.

— Что это?

— Угощайся, Михайловна. Только съешь здесь, при мне, а то дома не дадут.

— Вкусно, я такого давно не ела. — Михайловна шамкает беззубым ртом и тихо улыбается мне сквозь слезы. — Буду за тебя молиться, ты ж моя лялечка дороженькая. Хоть ты и православная, а я за тебя по-польски молитву прочитаю Матке Боске.

Вот у меня уже и заступница появилась, Матка Боска. Спасибо, тебе Михайловна.

Поздней осенью крикливая хохлуха с детьми перебралась жить к другому соседу, Кольке. Не знаю, правда, на каких условиях: жилички или хозяйки. По-прежнему работает на почте, так же беззаботна и болтлива. Пока развезет по деревенским адресам все газеты, письма, пенсии, уболтает всех встречных и сама утомится от пустых разговоров. А молодой парень-квартирант, что снимал на лето времянку, уехал на заработки в Польшу. Растаял из жизни Наташки, как и не было его вовсе.

Дети маленького лысого Андрея бегают на два дома, даже на три: к старой Михайловне, деду пьянице Генке и родной бабке Зине.

Бедную Михайловну пацаны не уважают. Давно сообразили своим детским умом, что нечего с нее взять. У старухи для них никогда нет вкусных гостинцев и угощений. Поэтому бойкие мальчишки не обращают на Михайловну никакого внимания. Вот баба Зина, крашеная иссиня-черной краской, с грубым мясистым носом, хоть и голосистая, и на руку крепкая, а всегда их пригреет. В ее доме для них припасена халва, конфеты, печенье, шоколад, чипсы, а если ее еще хорошенько разжалобить, то баба Зина еще и мелочи на мороженое даст. Не жадная.

В конце своей долгой жизни Михайловна стала очевидцем разрушения и упадка когда-то большого семейства. Раскиданное гнездо. Все разорено и приходит в упадок. Ее старенькая хатка, куда она после роддома приносила в теплых пеленках детей, ветшает и требует не так хозяйственных рук, как доброго сердца и участия.

Двухэтажный дом, задуманный Андреем на зависть всем соседям по деревне, давно стал пристанищем горластых ворон.

Все лучшее у старой Михайловны в прошлом. Сидит она на лавке у дома ко всему безучастная и смотрит на пьяного Генку светлыми глазами, полными тихих слез. А тот, поганец, срывает злость на безобидной матери за курву-Зинку, за неудалых детей и за всю свою непутевую жизнь, что давно пошла под откос. Михайловна бесстрастно терпит его крик и ругань. Успокоится Генка, заснет пьяным сном, не будет у него сладких и легких видений, со всех сторон обступит давящая чернота. Тогда Михайловна встанет с кровати, чтобы проследить за старым, счерневшим от дешевой водки и горького курева спящим сыном. Сухими, старческими руками она набросит на Генку старый ватник или одеяло и пойдет в свой угол коротать долгую ночь. У потемневшей от времени иконки будет долго шептать вечерние молитвы и плакать. Слезы ее давно потеряли прежнюю, жгучую соленость и стали безвкусными, как чистая водица.

Ее тихий шепот перекрывается храпом Генки. За тонкой перегородкой крепко спят вповалку пьяные внуки — Сашка и Андрей. Они не работают, не воспитывают своих детей. Живут одним днем, как пустая сор-трава. В последние свои тяжкие годы Михайловна уже не задумывается, за что ей такие внуки и такие дети. Нет у нее уже никаких сил на тяжелые мысли, воспоминания уносят ее в прошлое, где они с Броником сидят в весеннем саду. Вверху в бело-розовой дымке гудят пчелы, у ног лежит зеленый ковер в золотых одуванчиках. Теплый ветерок обдувает их счастливые молодые лица…

Темной ночью она тихо говорит Пану Богу, что сильно зажилась на этом свете, где давно нет в живых ее Броника и маленьких дочерей, пахнущих сладким запахом цветов, карамели и молоком. Ее девочки так и не повзрослели. Так и видит она их маленькими девочками в одинаковых ситцевых платьях, сама кроила, сама шила, — темненькую умненькую Галинку, светлоголовую ласковую Марийку и тихую Ванду. Почему-то лицо самой младшей Ванды она уже припоминает смутно, черты ее детского лица размыты и сливаются в одно пятно.

Может, там, в небесной дали, успокоится бедная материнская душа, и не будут каждый день сочиться слезами ее блеклые, потухшие глаза. «Забери меня, Боже, устала я, нет у меня больше сил. Что за напасть такая? Что за жизнь? Все жены повыгоняли из обжитых домов взрослых внуков и старого сына. И прекрасно обходятся без них. Не хозяева они и не отцы. Из дома от бескормицы сбежала даже собака. Пес совсем отощал. Забыл запах хорошей сахарной косточки. От голода выл по ночам».

Но не слышит ее Создатель. Кругом безмолвие и тишина.

Два крыла у жизни, два начала: воспитать детей и позаботиться о родителях в старости. Михайловна рожала детей с любовью и радостью, на второй неделе крестила их, растила, заботилась, как могла, всю жизнь помогала деньгами. С давнишней, уже выгоревшей свадебной фотографии, что висит у нее над кроватью, смотрят красивые лица юной Стаси и серьезного Броника. Она еще ничего не знает о своей будущей жизни, они так молоды, полны сил, лица светятся нескончаемым счастьем и надеждой. Они верят в себя.

Думали по молодости, что обязательно войдут в большой дом. И много будет в нем деток. Дом Броник так и не построил, так и ютились всей семьей в хатке из двух комнаток. Денег все время не хватало, двужильный Броник подряжался на строительство чужих домов. Долгая жизнь оказалась такой короткой.

Потом не стало Броника, ее защитника, крепкого хозяина. С его словом безоговорочно считались все: дети, их жены, внуки. Он был основанием, крепостью всей ее жизни. Все было так хорошо устроено и пригнано без щелей и зазоров в той, уже почти забытой жизни, где каждому была определена, уготована своя роль. Михайловна твердо знала, что и как подать на стол с работы усталому Бронику, что сказать мужу, сыновьям и где ее место в доме.

Каждую субботу через дорогу топилась дровами у самой речки банька. После бани Броник мог опрокинуть пару стопок домашней водки. Постели были чистыми, белье накрахмалено. Всю жизнь Михайловна занималась хозяйством, домом, огородом, у нее всегда водились деньги, которыми она умело распоряжалась, мудро откладывая дома под бельем в шкафу «в чулок» и в сберкассе на старость. *Черный день* виделся надежным, обеспеченным облигациями трехпроцентного займа.

В шкафу висела нашитая у деревенской портнихи парадная одежда на выход в город. Каждое воскресенье она с мужем плотно завтракала, нарядно одевалась, вся ее обувь тех лет — крохотные туфли на высоком каблуке, шелковые светлые платки, и ехала к утренней службе в фарный костел. И такой заведенный и перенятый у родителей порядок, семейный уклад незыблемо существовал много лет, и ничто не предвещало семейной катастрофы. После череды горьких дней, что унесли ее маленьких дочерей, из дома что-то навсегда ушло. Само сердце Михайловны сковал холод. Выстыло, как печь. Если печь долго не топить, тянет из нее не живым горячим духом, а старой золой, мышиным пометом и затхлостью.

День за днем, год за годом вымаливала старая мать для своих бедных дочушек *лепшай доли*.

— Мои анёлы, Езус Христус, они же не виноваты… мне столько годков дал, а у бедных деток отнял. Сбереги их души...

И правда, почему ее не пощадила жизнь? Но теперь уже и эти мысли ее почти не терзают. Старуха все больше поворачивается внутрь себя, теряя интерес к проходящей рядом жизни. Только и осталось у нее — вечерняя молитва. Вот и молится она в темной комнате перед иконкой-заступницей за пьяницу Генку, за внуков Андрея и Сашку, за чужих невесток и за совсем уже дальних для нее внуковых невесток, за их детей, своих правнуков.

А кому же, как не ей, молиться за своих живых и ушедших детей, кто отмолит грехи сыновей? Сколько ей еще жить — столько и будет она просить защиты у Матки Боски. И если Небесная Заступница не отзывается на горячие молитвы Михайловны, это не значит, что она их не слышит.

Говорят, если на земле плачет мать, Божья Матерь на небесах тоже плачет.



ПАВЕЛ СИМОНОВ

Навстречу миру раскрываясь

Родительская суббота

Я к родителям заеду,
И о том о сем
Мы неспешную беседу
Поведем втроем.

«Как здоровье? Как там дети?
Цены высоки?» —
Обо всем на белом свете
Спросят старики.

А когда все перескажем,
Отчий свет любви
И дорогу мне укажет,
И благословит.

«Ты, сынок, курить бы бросил», —
Строго скажет мать
(А отец тайком попросит
Сигаретку дать).

На прощание гостинцы
Выну из кулька.
Вдруг подранком — глупой птицей —
Задрожит рука,

И немым взорвется эхом
В сердце боли ком —
Я к родителям заехал
На могильный холм.

Перевернутый мир

Вверх тормашками мчатся прохожие, шар догоняя,
Иль ползут терпеливо наверх, в опрокинутый низ.
По дороге из душ перевернутых счастье роняя
И не зная, к чему прислонить бесполезную жизнь.

Месяц — пьяный электрик, об облако морду расквасив,
Перепутал в небесной подстанции солнце и тьму.
Перевернутый пятками мир и смешон, и прекрасен,
Если падаешь вверх, раскрываясь навстречу ему.

Болезнь любви

Болезнь любви рождается
Сердец неслышным вздохом,
Телами наслаждается,
А души ранит током.

Болезнь любви уходит
Обыденно постыло —
И выздоровел вроде,
А сердце уж остыло.

* * *

Сквозь вьюги унылое пение
И мутного неба прибой
Спасибо тебе за терпение,
Спасибо тебе за любовь.

Спасибо за тихую музыку
Сердец, утомленных луной,
И — от благодарного узника —
За нежную власть надо мной.

* * *

В замызганной лавчонке под Эль-Гуной
Мне встретился бродяга и поэт.
Он кровью на песке рисует руны
И курит вместо шиши лунный свет.

В рубахе и штанах, до дыр протертых,
Он день-деньской любой работе рад,
А по ночам читает Книгу мертвых[1]
И составляет счастья прейскурант.

Пустынными хамсинами несомый,
Он знает то, чего не знаю я:
Как удержать на крыльях невесомых
Немыслимое бремя бытия.

[1] Древнеегипетский артефакт.

* * *

В полутемной каморе
Средь промозглой России
Мы мечтали о море
Ослепительно синем.

Из пустого кармана,
Словно фокусник Кио,
Выну бухты, лиманы,
На ладони раскину.

Опущу в голубое
Наш кораблик газетный —
Унесет нас с тобою
К берегам он заветным…

Цвета гор

В горах цвета ночи
Виднее рассвет,
Задумчивей очи
Далеких планет.

В горах цвета горя
Нет места для слез —
Их с тучами к морю
Злой ветер унес.

В горах цвета счастья
Смех звонко дрожит —
То бьется на части,
То эхом кружит.

В горах цвета правды
Нет места для лжи,
Здесь, прав иль не прав ты, —
Решит сама жизнь.



Антинаучный фантаст

Рэй Дуглас Брэдбери
(22 августа 1920 — 5 июня 2012)

Девяностодвухлетний Рэй Брэдбери ушел из жизни, но не из литературы, не из нашей памяти, не из наших сердец. Он прожил счастливую жизнь писателя, к которому признание пришло заслуженно, еще в молодости и на всю жизнь. Автор несметного множества романов, рассказов, стихов, эссе, пьес, опер и сценариев, Брэдбери останется в литературе благодаря трем романам — «Марсианские хроники» (1950), «451 градус по Фаренгейту» (1953), «Вино из одуванчиков» (1957) и трем сотням незаурядных рассказов.

В самом начале его творческого пути критики о нем писали далеко не взахлеб. В рецензии на «Марсианские хроники» критик Л. Спрэг де Камп не без укоризны заключал: «Брэдбери представляет традиции антинаучной фантастики, подобно Олдосу Хаксли, который не видит ничего хорошего в машинном веке и с нетерпением ждет, когда тот сам себя погубит».

В этом, наверное, есть доля истины: Брэдбери скептически относился к новым изобретениям и долго не разрешал издание своих книг в электронном формате. Будучи прославленным мастером-сказочником и поэтом-фантастом, Брэдбери не садился в самолет до 62 лет и не водил машину. Впрочем, ему это и не особенно было нужно, так как его воображение уносило его гораздо дальше, чем мог унести любой самолет.

Сам Брэдбери объяснил разницу в жанрах фантастики, в которых он работал, следующим образом: «Во-первых я не пишу научную фантастику. Я написал всего одну научно-фантастическую книгу, и это «451 градус по Фаренгейту». Научная фантастика есть изображение реального, а фэнтези — изображение нереального. Так, «Марсианские хроники» не есть научная фантастика, а фэнтези. Поэтому эта книга долго продержится — ведь это греческий миф, а мифы обладают жизнестойкостью».

Некоторые авторы утверждают, что он предсказал появление того или иного технического новшества (банкомата, телевизора с плоским экраном и т. п.). Но важнее его влияние на наш духовный мир. Так, из его рассказа «И грянул гром» возникло понятие «эффект бабочки», т. е. воздействие, казалось бы, незначительного события в прошлом, которое катастрофически отразится на будущем. В своих фантастических утопиях он предвидел запрет на сказку, миф, чертовщину, и в частности, на празднование Хэллоуина (кануна Дня Всех Святых), когда дети придумывают страшные маски и костюмы и ходят по домам, требуя угощения взамен на обещание не делать гадостей. Мир детства едва ли не главный источник вдохновения Брэдбери. Его внук, Дэнни Карапетян, сказал о нем: «Он самый большой ребенок, какого я знаю». И Брэдбери дожил до того, что в некоторых общинах в США Хэллоуин все-таки запретили из соображений политкорректности, с которой он всю жизнь боролся. Не по этому ли поводу Брэдбери говорил в своих выступлениях и эссе: «Я не пытаюсь предсказывать будущее. Я пытаюсь

его предотвратить». Так много чего нужно было предотвратить! На события 11 сентября 2001 года он откликнулся убийственной фразой: «Слишком рано вышли из пещеры, слишком далеко им до звезд».

Брэдбери удивляла популярность его произведений в СССР. Между тем, в Советском Союзе некоторые вдумчивые читатели удивлялись, как так могло случиться, что у нас был переведен и напечатан роман «451 градус по Фаренгейту», где пожарники занимаются сожжением книг и преследованием печатного слова. Ведь события, описанные в нем, происходили не только в американской, но в советской реальности. Обладание запрещенной книгой грозило большими неприятностями владельцу, поэтому некоторые пересказывали содержание таких книг своим близким (совсем как в фантастическом будущем у Брэдбери). Бывало, запрещенные книги под большим секретом передавались из поколения в поколение. Отцы предупреждали сыновей о том, что в их библиотеке имеются «огнеопасные» книги, и строго-настрого запрещали кому-нибудь их показывать. С выходом в свет «Мастера и Маргариты» с ключевой фразой «рукописи не горят» роман «451 градус по Фаренгейту» обрел особое звучание. Говорят, одно издание «Фаренгейта» было напечатано на огнеупорных асбестовых листах.

Рэй Брэдбери напутствовал молодых писателей: «Вы должны писать каждый день! Я и сам пишу каждый день!» А в своих произведениях прямо и косвенно давал понять, что фэнтези как литературный жанр — вызов реальности и потому плодотворен для ее развития.

Фантастика — право думать о том, что о последователях великого писателя когда-либо заговорят громче.

Арам ОГАНЯН



РЭЙ БРЭДБЕРИ

Рассказы

Пес в красной бандане

Пациент находился в больнице всего три тягостно тоскливых дня, когда в воскресенье произошло это знаменательное событие, причем почти все врачи отсутствовали, а медсестры занимались неизвестно чем.

Он догадался о приближении чего-то необычайного задолго до его прихода по взрывам хохота и приветственным возгласам пациентов в отдаленных коридорах.

Наконец в дверном проеме возникло удивительное явление.

Там стоял человек, держа на поводке золотистого ретривера невиданной красоты.

Ретривер был неправдоподобно хорош собой и великолепно выхолен. Его взгляд светился незаурядным умом, а на шее у него была аккуратно повязана бандана кровавого цвета.

Пес обходил больницу, и поговаривали, будто в день его появления во всех коридорах, где он побывал, царила великая радость.

Что, впрочем, казалось вполне естественным, и пациент часто задавался вопросом, почему в мире нет других псов, которые навещают людей, поднимают им настроение, а может, исцеляют.

Пес в кроваво-красной бандане на какой-то миг остановился в нерешительности на пороге, взглянул на пациента, затем вошел в палату и замер ненадолго у его койки в ожидании ласки.

Потом, убедившись, что пациенту полегчало, пес повернулся, вышел и засеменил по коридору под ликующие возгласы и восклицания.

Вот уж действительно — знаменательное событие, и пациент сразу почувствовал себя лучше.

В последующие дни пациент ловил себя на том, что чего-то с нетерпением ждет; он не знал, чего именно. Но его вдруг осенило, что он не дождется возвращения пса в красной бандане. Оно представлялось ему важнее приходов и уходов доктора и навязчивого внимания медсестер.

На следующей неделе пес появился всего один раз.

Через неделю, когда болезнь пациента не отступала, пес наведывался дважды, и казалось, от его присутствия в больнице становится светлее и уютнее.

На третью неделю по какой-то необъяснимой причине пес в красной бандане приходил каждый день и прогуливался по коридорам с красным шарфом на шее и взглядом, исполненным сострадания и понимания на прекрасном лике.

На исходе первого месяца, когда пациент почувствовал, что готов выписываться хоть сейчас, произошло еще более замечательное событие: вместо обычного сопровождающего с ретривером пришел человек почти такой же незаурядной внешности, что и пес.

Он носил простой костюм цвета хаки, а на шее — красный галстук. Он был явно слеп, поэтому пес служил ему поводырем.

На этот раз, как и прежде, пес замер в дверях и почти указал на пациента, который приподнялся с постели и подался вперед, словно ожидая, что пес заговорит.

Но заговорил слепой.

— Сэр? — сказал он, пытаясь угадать личность пациента. — Представьте, что кто-то спросил вас, какая из всех тварей морских, земных и небесных ведет себя более всего по-христиански?

Пациент, ожидая подвоха, попытался себе это представить, затем ответил:

— Вы имеете в виду человека?

Слепой слегка покачал головой.

— Нет. Кроме человека. Какая тварь ведет себя более всего по-христиански?

Пациент посмотрел оценивающим взглядом на пса в кроваво-красной бандане, сидевшего у дверей, и опять подметил его тонкий ум, и сказал:

— Ответ — собака.

Слепой молча кивнул.

— Совершенно верно. Все прочие твари живут, не осознавая, что они существуют. Кошки — особенные. Они изящны и горячо любимы, но живут, не осознавая своего существования, как, впрочем, и все твари небесные, что летают и парят, облетая землю, и все твари полевые, что живут, но не осознают своего существования.

Все твари, обитающие в поле, в море и воздухе, смертны, но они не ведают о смерти и не способны горевать.

А собаки не только знают, что такое жизнь, но чуют и осознают смерть.

Пациент кивнул, ибо знал, что это так. Он вспомнил смерть друга, когда его собака горевала еще долгое время после его кончины, слонялась по дому, скорбно скуля, и исчезла во тьме.

— Чем больше я думаю об этом, тем более незаурядными становятся для меня собаки, — сказал пациент.

Слепой возвел глаза к потолку и спросил:

— А если бы собаки очутились у врат рая, их допустили бы туда?

— Немедленно! — воскликнул пациент и усмехнулся своему быстрому отклику. — Ведь они без греха. Люди должны выстроиться за ними в очередь и умолять, чтобы их впустили. Собаки же сразу прибегут и встанут подле Святого Петра — помогать приему грешного существа по имени человек.

Так вот, на вопрос, какое существо на свете обладает самым христианским, великодушным и любящим нравом, я отвечаю — собаки. Это их можно назвать наряду с Абу Бен Адамом прежде всех остальных.

Слепой согласился.

Попробуй стукни своего кота — и ты лишишься друга. Подними руку на своего пса, чего, я надеюсь, ты никогда не сделаешь, но если ты все же ударил его хоть раз в жизни, он уставится на тебя трогательным взглядом и промолвит: «Что не так? За что? Разве ты не знаешь, что я люблю тебя и прощаю?» А затем он подставит тебе сначала одну щеку, потом другую, и будет вечно любить тебя. Вот что такое собаки.

Во время беседы пес в кроваво-красной бандане сидел рядом со слепым, глядя на пациента самым нежным и проницательным взглядом. Слушая, пес не внимал похвалам и не пренебрегал ими, а молча сидел в ореоле своей красоты.

Наконец, когда пес почувствовал, что слепой высказался, то ушел бродить по коридорам больницы, откуда донеслись приветственные крики и смех.

В последующие дни молва разнесла по всей больнице, что к выписке готовится невероятно большое количество людей; пациенты, проводившие в больнице многие недели, а то и месяцы, вдруг собирали свои вещи и уезжали к удивлению и изумлению врачей и под любопытное перешептывание медсестер. Уезжал пациент за пациентом, и количество тяжелобольных сокращалось, а смертность почти сошла на нет. Во всяком случае, так говорили.

На четвертой неделе, лежа в постели однажды ночью, пациент почувствовал пронзительную боль в запястье и принял аспирин, но боль не унималась.

Полусонный, он почувствовал рядом с собой нечто похожее на дыхание и услышал диковинные звуки, напоминавшие летние ночи его детства.

В три часа ночи, когда сквозь оконные стекла струился лунный свет, приятно было прислушиваться к прекрасным звукам из далекой кухни, где стоял холодильник.

В лотке под холодильником собиралась вода из-под брусков льда, и в три ночи раздавалось смачное чавканье. Это терзаемая жаждой собака пролезала под холодильник и лакала холодную чистую талую воду.

Одним из самых трогательных впечатлений его жизни были эти чарующие звуки, к которым он прислушивался, неподвижно лежа в постели.

То ли воспоминая, то ли воображая в полудреме всплески ледяной воды, пациент почувствовал, как что-то шевелится по его запястью.

Словно кто-то пытался слизнуть холодную воду в ту давнишнюю летнюю ночь.

Потом он уснул.

Когда он пробудился утром, боль в запястье прошла.

В последующие дни пес в кроваво-красной бандане бродил по больнице сам по себе, в одиночку. Слепой давно уже не появлялся.

Казалось, псу известно, куда идти, и он частенько наведывался к пациенту, подолгу разглядывая его.

Они беседовали молча; пес как будто понимал все, что хотел сказать пациент, хоть тот не проронил ни слова.

Затем пес уходил гулять по больнице, и в ближайшие дни смех, приветственные восклицания и возгласы иссякли, и казалось, больница пустеет. Врачи не только перестали приходить по воскресеньям или играть в гольф по средам, но и перестали приезжать по вторникам, четвергам и, наконец, по пятницам.

Эхо в коридорах становилось гулким, и ничье дыхание не доносилось из отдаленных палат.

В последний день пациент, почуяв тревогу и поняв, что в любой момент может одеться без указаний врача и отправиться домой, встал и крикнул в коридор с высокими потолками:

— Эй, есть тут кто-нибудь!?

Притихшие больничные палаты ответили ему долгим молчанием. И опять он позвал:

— Эй, кто-нибудь!

И услышал только эхо из залов, и все коридоры в здании замерли в безмолвии.

Очень медленно пациент стал одеваться, готовясь уходить.

Наконец в три часа пополудни в безмолвном коридоре появилась красивая собака в кроваво-красной бандане и остановилась в дверях.

— Заходи, — позвал пациент.

Пес вошел и встал у кровати.

— Садись, — сказал пациент.

Ретривер сел и посмотрел на него большими добрыми лучезарными глазами и с полуулыбкой.

Наконец пациент спросил:
— Как тебя зовут?
Пес окинул его изучающим взглядом своих больших лучезарных глаз.
Его челюсти едва заметно зашевелились, и послышался шепот:
— Иисус, — промолвил ретривер. — Вот как меня зовут. Иисус. А тебя?

«Прощайте» означает «Да пребудет с вами Бог»

Она ходила с метлой, или с совком, или с тряпкой, или с половником. По утрам можно было видеть, как она взрезает корочку пирога и гудит себе что-то под нос, днем выставляет испеченные пироги, а в сумерках собирает их уже охлажденными. Она расставляла по местам фарфоровые чашки, словно звонила в колокольчик. Она степенно, подобно пылесосу, проплывала по комнатам, искала, находила, приводила в порядок. Каждое окно у нее превращалось в зеркало, отражающее солнце. Стоило ей пройтись взад-вперед по любому саду с лопаткой в руке, как цветы распускали свои трепетные огоньки на поднятой ею теплой волне воздуха. Она почивала безмятежно и поворачивалась во сне раза три за ночь, обмякшая, как белая перчатка, в которую на рассвете возвратится проворная рука. Пробудившись, она прикасалась к людям, как к картинам, чтобы поправить их покосившиеся рамки.

А нынче?..

— Бабушка, — сказали все. — Прабабушка.

Казалось, решилась, наконец, большая арифметическая задача на сложение. Бабушка фаршировала индеек, цыплят, голубей, джентльменов и мальчиков. Она мыла потолки, стены, инвалидов и детей. Стелила линолеум, чинила велосипеды, заводила часы, топила печи, смазывала йодом тысячи жгучих ссадин. Ее руки взлетали вверх и вниз что-то пригладить, что-то придержать, подать бейсбольный мяч. Она взмахивала пестрыми крокетными битами, бросала в чернозем семена, прилаживала крышки на клецки и рагу, укутывала разметавшихся во сне малышей. Опускала шторы, гасила кончиками пальцев свечи, поворачивала выключатели и… увядала. Тридцать миллиардов начинаний, исполненных, доведенных до конца дел сложились и подытожились; прибавились последние десятые доли, последний нолик незаметно скакнул на место. Теперь с мелком в руке она тихонько отошла в тень за час до того, как все сотрется с доски.

— Так, так, — сказала прабабушка. — Что же мы имеем…

Без лишнего шума и суеты она обошла дозором дом, добралась, наконец, до лестницы и, не делая экстренных сообщений, поднялась на три пролета вверх в свою спальню, где безмолвно улеглась, как ископаемый отпечаток, под прохладные белоснежные покрывала своей постели и начала умирать.

И вновь голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слух о том, что она затеяла, упал в лестничную шахту, пронесся по комнатам, вылетел из окон и дверей и разнесся по улице, обсаженной вязами, пока не достиг края зеленого оврага.

— Сюда! Сюда!

Домочадцы окружили ее ложе.

— Дайте мне просто полежать, — прошептала она.

Ее недуг нельзя было разглядеть ни в один микроскоп. Неумолимо, мало-помалу накапливалась усталость, тайно взвешивалось ее воробьиное тельце; она все больше погружалась в дрему, в сонливость, в сон.

Ее детям и детям ее детей казалось невероятным, что таким простым и непринужденным действием она способна вызвать этакий переполох.

— Прабабушка! Послушай! Это все равно что расторгнуть договор аренды. Без тебя наш дом развалится. Тебе следовало уведомить нас хотя бы за год!

Прабабушка приоткрыла один глаз. Девяносто лет спокойно взглянули на ее врачевателей, словно разводы пыли из окна под куполом дома, который быстро опустошался.

— Том?..

Мальчика отправили к ее шуршащей постели одного.

— Том, — донесся издалека ее слабеющий голос, — в Южных морях в жизни каждого наступает день, когда он осознает, что пора пожать руки старым друзьям, попрощаться и отплыть восвояси. Так он и поступает. И это естественно, ведь его час пробил. Так и сегодня. Иногда я так бываю похожа на тебя, просиживая от субботних утренников до девяти вечера, пока мы не посылаем за твоим папой, чтобы он отвел тебя домой. Том, когда приходит твой черед и все те же ковбои стреляют в тех же индейцев на тех же холмах, значит, самое время поднять откидное сидение и по проходу между рядами направиться к выходу без оглядок и сожалений. Вот я и ухожу, пока счастлива и всем довольна.

Следующим к ней послали Дугласа.

— Бабушка, кто же будет будущей весной обшивать крышу?

Каждый апрель с тех времен, как завелись календари, казалось, с крыши доносится дробь дятла. Ан нет, оказывается, это прабабушка, неизвестно как перенесенная в поднебесье, распевает песенки, забивает гвозди и меняет кровельную дранку!

— Дуглас, — прошептала она, — никому не позволяй чинить кровлю, если это не доставляет им удовольствия.

— Слушаюсь.

— Вот наступит апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет подлатать крышу?» И как только увидишь озаренное лицо, значит, это лицо тебе и нужно, Дуглас. Потому что там, на верхотуре, с крыши тебе видно, как весь город отправляется за город, а оттуда на край света. Под тобой сверкают речка и утреннее озеро; под тобой птицы на деревьях, а над головой — свежайший ветер. Хватит и одного из этих благ, чтобы однажды весною на рассвете подвигнуть человека на покорение флюгера. В этот час ты ощущаешь такой прилив сил, что способен свернуть горы, надо только дать ему полшанса...

Ее голос сорвался на бормотание.

Дуглас плакал.

Она снова очнулась.

— Почему ты так себя ведешь?

— Потому что, — сказал он, — завтра тебя здесь не будет.

Она развернула зеркальце от себя в сторону мальчика. Он посмотрел на ее лицо и на свое отражение в зеркале, потом опять на нее, и тут она заговорила:

— Завтра утром я встану в семь и помою уши. Сбегаю в церковь с Чарли Вудманом. Устрою пикник в Электрическом парке. Поплаваю, побегаю босиком, грохнусь с дерева, пожую мятную жвачку... Дуглас, Дуглас, как тебе не стыдно! Ты стрижешь ногти?

— Да.

— Ты же не поднимаешь крик, когда твое тело обновляется каждые семь лет, старые клетки отмирают и новые прирастают к твоим пальцам, к твоему сердцу. Ведь ты не возражаешь?

— Нет.

— А теперь пораскинь умом. Всякий, кто хранит обрезки ногтей, — дурак. Ты когда-нибудь видел, чтобы змея переживала из-за своей сброшенной кожи? В сущности, сейчас в этой постели — обрезки ногтей и змеиная кожа. Стоит на меня хорошенько подуть, и я разлечусь в пух и прах. Важна не моя плоть, что распростерта здесь, а мое продолжение, которое сидит на краю кровати и глазеет на меня, готовит внизу ужин, лежит в гараже под машиной или читает в библиотеке. Важно все новое, что произошло от меня. Я сегодня не умираю окончательно. Тот, у кого есть семья, не умрет. Я останусь с вами надолго. И через тыщу лет целый город моих потомков будет грызть кислые яблоки в тени эвкалипта. Вот мой ответ на ваши проклятые вопросы. А теперь зовите остальных, да побыстрее!

Наконец большое семейство выстроилось, как на проводы в зале ожидания на вокзале.

— Ладно, — сказала прабабушка, — значит, так. Я не немощная, поэтому мне приятно видеть вас у моей постели. Итак, на следующей неделе придется, наконец, заняться садоводством, расчисткой чуланов, покупкой детской одежды. Поскольку та часть меня, что для удобства называется «прабабушкой», будет отсутствовать и не сможет помочь делу, то мои отпрыски, именуемые дядя Берт, Лео, Том, Дуглас и компания, должны взять ответственность на себя.

— Будет сделано, прабабушка.

— Не хочу, чтобы тут завтра закатывались хэллоуины. Не хочу, чтобы про меня говорили сладенькие слова. В свое время я все сказала, причем с достоинством. Мне довелось отведать все яства, станцевать все танцы. Остался последний торт, который я не попробовала, последняя мелодия, которую я не успела насвистеть. Но я не боюсь. Мне даже любопытно. Смерть не лишит меня ни единой крошки, которую я бы не распробовала и не посмаковала. Так что не горюйте обо мне. А теперь все уходите и дайте мне обрести мой сон...

Где-то тихо затворилась дверь.

— Так-то лучше.

Оставшись одна, она с вожделением погрузилась в теплую белую горку льна и шерсти, простыней и перин, под лоскутное одеяло, пестрое, как цирковые флаги былых времен. Лежа, она чувствовала себя крошечной, притаившейся, как восемьдесят с лишним лет назад, когда, просыпаясь, она уютно устраивала в постели свои нежные косточки.

«Давным-давно, — думала она, — мне снился сладкий сон, а когда меня разбудили, оказалось, что в тот день я родилась на свет. А теперь? Что же теперь?»

Она перенеслась мыслями в прошлое.

«На чем я остановилась? — думала она. — Девяносто лет... как же вернуться в тот ускользнувший сон?»

Она выпростала свою хрупкую ручку.

«Так... Да, именно так».

Она улыбнулась. Утопая в теплой снежной дюне, она прижалась щекой к подушке. Так-то лучше. Вот теперь он явился ей, вырисовываясь в памяти, спокойно и безмятежно, как морские волны, накатывающие на бесконечный, самого себя омолаживающий берег. Теперь она позволила стародавнему сну прикоснуться к ней, оторвать от снега и увлечь за собой прочь от забытой кровати.

«Внизу, — думала она, — начищают серебро, шуруют в подвале, вытирают в комнатах пыль».

Со всего дома доносились звуки жизни.

— Все в порядке, — прошептала она. — Ко всему можно привыкнуть в этой жизни, к этому тоже.

И море унесло ее.

(Вместо предисловия)

Жюль Верн — мой отец, Г. Г. Уэллс — мой многомудрый дядя.

Эдгар Аллан По — мой кузен, у него перепончатые крылья, как у летучей мыши, он жил у нас на чердаке.

Флэш Гордон и Бак Роджерс — мои друзья и братья. Теперь вы знакомы с моей родней.

После всего этого уже совершенно очевидно, что Мэри Уолстонкрафт Шелли, которая написала «Франкенштейна», — моя мать.

С такой родословной я мог стать только фантастом, автором самых непостижимых, умопомрачительных сказок. А кем же еще?

Я провел долгие годы на деревьях в компании Тарзана и моего кумира — Эдгара Райса Барроуза. Когда я выскочил из листвы, мне было двенадцать, и я попросил подарить мне на Рождество игрушечную пишущую машинку. На этой тарахтелке я напечатал свое первое подражание роману «Джон Картер, властелин Марса» и в придачу еще перепечатал по памяти целые куски из «Чанду-волшебника».

Я высылал фирменные крышки, чтобы получить от фирмы в подарок какой-нибудь пустячок, и, кажется, не было таких игр по радио, в которых бы я не участвовал. Я собирал вырезки с комиксами, они хранятся у меня до сих пор в больших коробках в подвале моего дома в Калифорнии. Я ходил на утренние сеансы. Я глотал книги Г. Райдера Хаггарда и Роберта Льюиса Стивенсона. Еще мальчишкой я взлетал ввысь и уносился в океан Космоса задолго до того, как Космическая Эра едва только замаячила в двухсотдюймовом телескопе на горе Паломар.

Словом, я влюблялся во все, к чему прикасался. Сердце мое не просто стучало, оно колотилось. Я не просто увлекался чем-то, я горел. Я бежал, я летел, я возвещал громогласно обо всех чудесах и диковинах, без которых я попросту не мог жить.

Я, безбородый мальчишка-волшебник, доставал из картонной шляпы всяких дурацких кроликов. Я стал бородатым факиром, теперь из пишущей машинки и из Космической Пустыни, которая простирается так далеко, насколько зрение и разум могут охватить ее, я достаю ракеты.

Мой энтузиазм служит мне долгие годы. Я никогда не устаю от звезд и ракет. Я люблю забавляться всякой чертовщиной, когда берусь писать что-нибудь страшное или мрачноватое.

В моем новом сборнике вы узнаете, что «К» значит «Космос», и о том, что «Т» значит «Тьма», а «С» значит «Страх», а «В» — «Веселье». Из этой книги вы узнаете обо мне все, что пожелаете. Вы узнаете, как громко я умею смеяться, стоит мне только подумать, в каком же таинственном, сумасшедшем, веселом мире я живу. Вы узнаете, как я могу вскочить среди ночи, дрожа от ужаса, если до меня донесется запах гигантских грибов, растущих в подвале, или когда я слышу, как в предрассветный час играет на узорчатой паутине паук.

Вы — читатели, и я — писатель, очень похожи. Юноша, живущий во мне, набрался смелости писать, чтобы доставить вам удовольствие. Мы встречаемся на обычной земле, но в необычное Время, мы одариваем друг друга светом и тьмой, снами, красивыми и кошмарными, простыми радостями и такой непростой грустью.

Маленький волшебник говорит с вами из прошлого. Я отхожу в сторонку и даю ему сказать все, что он хочет. Я слушаю, и мне хорошо.

Надеюсь, вам тоже.

Куда девался левый крайний?

Сперва дело представили так, будто он ушел в самоволку, потом сообщалось об исчезновении, и наконец заговорили о похищении.

О похищении тела Ленина.

Оно исчезло однажды декабрьской ночью из-под кремлевской стены (где покоилось в стеклянном саркофаге с 1924 года).

От похитителей не получили ни письма, ни весточки. И выкупа никто не требовал.

— Вот он был, — докладывал С. Олянский, начальник охраны мавзолея, — потом — р-раз! И нету его!

— Я погиб, — скорбел И. Иванов, эксперт-некрокосметолог, ответственный за текущий ремонт давно отошедшего в мир иной, но вечно нуждающегося в починке вождя красных.

— Чем же вы намерены заниматься теперь, — спросили его, — когда вам не придется уже месяц за месяцем, год за годом корпеть над бородкой, бровями, щеками и веками товарища Ленина?

— Предложения поступили уже через несколько часов, — вздохнул Иванов. — Вот думаю, может, податься, на худой конец, в… Голливуд.

Чью же выдающуюся, но давно ушедшую личность будет он подновлять своей чудодейственной косметикой?

— Вы не поверите… Люиса Б. Майера!

— Бывший глава студии Эм-Джи-Эм нуждается в ваших услугах?

— Еще как!

Но вопрос остается открытым:

Что же стряслось с Лениным? Неужели Советы убрали его с глаз долой, чтобы не позориться?

— Ничего не могут на это сказать.

Может, советские поклонники жесткой руки и твердого курса стащили и запрятали его куда подальше, чтобы потом сказать: «Какой Ленин? Не было никогда на свете никакого Ленина!» И плевать, что там пишут в книжках по истории.

— Н-ну…

А может, это горбачевские радикалы-неоконсерваторы надеются таким образом порвать с прошлым и сбалансировать курс рубля?

— Гм-м…

Ну и как, кто-нибудь уже прославил себя в качестве укрывателя или похитителя?

— Поговаривают, будто Ленина, по-прежнему мертвого, заперли в бронированный вагон и под надежной охраной отправили экспрессом в Париж.

Не может быть!

— Как прибыл, так и отбыл.

Кто же зафрахтовал поезд?

— «Бринкс» — фирма по перевозке особо важных грузов.

От имени?..

— «Сотбис».

Той самой?

— Именно.

«Сотбис» уже назначила стартовую цену для предаукционной выставки?

— Стартовая цена уже назначена! Представляете, цену назначила Республиканская партия для своего каталога «Империя зла» осеннего сезона!

Да, долго же они продержали его на витрине.

— Целых 67 лет под стеклом у кремлевской стены! Куда уж дольше!

Так пожелаем ему удачи в долгом пути на «Сотбис»!

— Почему бы и нет. Главное, чтобы он хорошо сохранился в пути.

И последний вопрос. Есть ли у Ленина будущее в XXI веке?

— В виде статуи, может быть. Где-нибудь в Уголке ораторов в Гайд-парке. Это одним только голубям известно.

Июньской ночью

Он ждал долго. Долго прождал он в ночи, пока темень потеплее прижималась к земле, а звезды медленно двигались по небосклону. Он сидел в кромешной тьме, его руки покоились на подлокотниках кресла. Он услышал, как городские часы пробили девять, десять, одиннадцать и, наконец, двенадцать раз. Сквознячок из распахнутого заднего окна продувал темный дом незримым потоком и облизывал его, сидевшего, как мрачный немой утес, уставившись на входную дверь... не проронив ни слова.

Июньской ночью...

Прохладный полночный стих Эдгара Аллана По мелькнул в его памяти, как тенистый ручеек.

Дева спит! Да будет сон ее и долог, и глубок!

Он прошел по черным бесформенным коридорам дома, вылез из заднего окна, ощущая, как весь город погружается в постель, в сон, в ночь. Он увидел сверкающую змею садового шланга, упруго извивавшуюся в траве. Включил воду. Стоя в одиночестве, поливая клумбу, он представил себя дирижером оркестра, который слушают одни лишь бродячие собаки, семенящие в никуда со странной белозубой ухмылкой. Очень осторожно он погружал обе ступни и весь свой долговязый вес в грязь под окном, оставляя глубокие, хорошенько впечатанные следы. Он снова вошел в дом и прошагал, оставляя грязь, по совершенно невидимому коридору; зрение ему заменяли руки.

Сквозь окно на перилах переднего крыльца виднелись смутные очертания стакана с лимонадом, оставленного там ею. Его слегка передернуло.

Вот он почуял, как она возвращается домой. Он чуял, как далеко в летней ночи она шагает по городу. Смежил веки и протянул руку, чтобы найти ее, и почувствовал ее движение в темноте. Он точно знал, где она сступила с бордюра, перешла улицу и снова взошла на бордюр и зацокала — цок-цок — под сенью июньских вязов и последних гроздей сирени в компании приятеля. Прогуливаясь по пустоте ночи, он перевоплотился в нее. Почувствовал в своих руках сумочку, ощутил, как его шею щекочут длинные волосы, а губы становятся маслянистыми от помады. Сидя, не шелохнувшись, он шагал, шагал и шагал к себе домой в этот поздний час.

— Доброй ночи!

Он слышал и не слышал голоса, а она все приближалась. Вот она всего в одной миле, вот — в тысяче ярдов, а вот, словно изящная белая лампа на невидимом шнуре, она погружается в овраг, наполненный стрекотом сверчков, лягушачьими концертами и журчанием воды. И ему было ведомо строение деревянных ступенек в овраге, как если бы мальчишкой он летел по ним стремглав вниз, ощущая частицы пыли, песка и остатки дневной жары...

Он вытянул руки, растопырив пальцы. Большой палец одной руки коснулся большого пальца другой, затем сомкнулись и остальные пальцы, так что его руки описали дугу, объяв пустоту перед собой. Затем, разинув рот и закрыв глаза, очень медленно, он стал все крепче и крепче сжимать пальцы.

Разжал пальцы и водрузил дрожащие руки на подлокотники кресла. Не размежая век.

Как-то ночью, давным-давно, он вскарабкался по пожарной лестнице на башню при здании суда и взглянул на залитый лунным серебром летний

город. И увидел темные дома, а в них только люди и сон — два начала, соединенные в постели, выдыхающие усталость и страх. Тихий вдох, потом выдох. И так пока не произойдет очищение, пока тяготы, злость и страхи предыдущего дня не будут изгнаны задолго до утра, раз и навсегда.

Он был зачарован этим часом и городом и ощутил себя всемогущим, словно маг с марионетками, играющий на сцене судьбами, дергая за тонкие нити-паутинки. С верхушки башни ему на пять миль вокруг был слышен малейший шорох листьев в лунном свете, последний отсвет, словно мерцание огонька в глазке праздничной тыквы. Город не мог укрыться от его взора, не мог ни вздрогнуть, ни шевельнуться без его ведома.

Так было и этой ночью. Он воображал себя башней с часами, что мерно отбивают и возвещают час бронзовым басом и смотрят свысока на город, где среди ночи по меловым тротуарам идет домой женщина, пересекает твердокаменные, одетые в асфальт проспекты, плывет среди свежестриженых лужаек и бежит сломя голову вниз по ступенькам, через овраг и вверх, вверх по склону холма! Ужас и самоуверенность попеременно, словно внезапные порывы ветра, налетают и охватывают ее, то подгоняя, то заставляя сбавить шаг.

Емго слышались шаги еще до того, как он услышал их наяву. Он различил ее прерывистое дыхание еще до того, как она выдохлась. Его взгляд остановился на стакане с лимонадом, забытом на перилах. Затем снаружи явственно послышалось, как она бежит, тяжко дыша. Он выпрямился в своем кресле. С улицы, с тротуара доносился топот панического бегства, бормотание, шум неловкого спотыкания на ступеньках веранды, лязг ключа в замочной скважине. Голос, умоляющий кричащим шепотом:

— Боже! Боже!

Шепот! Шепот! Женщина с грохотом захлопывает дверь, запирает на засов, разговаривая сама с собой, шепотом в темной комнате.

Он скорее почуял, чем увидел, как ее рука потянулась к выключателю.

Кашлянул.

Она стояла в темноте у двери. Если бы на нее мог упасть лунный свет, она, наверное, покрылась бы рябью, словно пруд в ветреную ночь. Он почувствовал, как на ее лице выступают сапфировые капельки и блестят вспотевшие щеки.

— Лавиния! — шепнул он.

Ее руки были вздернуты в дверном проеме, словно распятые. Он услышал, как размыкаются ее губы и воздух наполняется теплом, выдавленным из легких. Она прекрасный тускло мерцающий белый мотылек. Кончиком острой иглы ужаса он приколол ее к деревянной двери. Он мог при желании обойти этот экземпляр со всех сторон и пожирать, пожирать взглядом.

— Лавиния, — шептал он.

Он слышал, как трепещет ее сердечко. Она не шевелилась.

— Это я, — прошептал он.

— Кто? — пролепетала она еле слышно сквозь слабое биение пульса в горле.

— Не скажу, — шепчет он.

Он стоял в самом центре комнаты. Ах, каким высоченным он себе казался! Рослым, мрачным и неотразимо прекрасным. Его руки были вытянуты так, будто он собирается исполнить на фортепьяно дивную мелодию или вальс. Руки у него были влажные, словно погруженные в мяту и прохладный ментол.

— Если скажу, ты перестанешь бояться, — прошептал он. — Я же хочу, чтобы ты боялась. Ну как, страшно?

Она ничего не ответила. Она вдыхала и выдыхала, вдыхала и выдыхала, словно маленькие меха постоянно раздували ее страх, поддерживая и не давая угаснуть.

— Зачем ты пошла сегодня на вечерный спектакль? — прошептал он. — Зачем ты пошла на спектакль?

Ответа не последовало.

Он сделал шаг вперед и услышал ее дыхание, словно меч, свистящий в ножнах.

— Почему ты возвращалась через овраг одна? — прошептал он. — Ведь ты возвращалась одна? Ты думала, что повстречаешь меня на середине моста? Зачем ты пошла сегодня вечером на спектакль? Почему ты возвращалась через овраг одна?

— Я... — вырвалось у нее.

— Ты, — прошептал он.

— Нет... — прорыдала она шепотом.

— Лавиния, — сказал он и сделал еще один шаг.

— Умоляю, — сказала она.

— Отвори дверь. Выходи. И беги, — прошептал он.

Она не шелохнулась.

— Лавиния, открой дверь.

Из ее горла вырвался жалобный стон.

— Беги, — сказал он.

Сделав шаг, он почувствовал прикосновение к своему колену. Он зацепил в пространстве нечто, споткнулся и упал на столик с корзинкой, и полдюжины клубков шерсти мягко запрыгали в темноте, как котята. На одной из лунных дорожек, пробегавших по полу под окном, словно железный указатель, лежали швейные ножницы. Они обожгли его пальцы ледяным холодом. Вдруг он протянул их ей в стоячем воздухе.

— Вот, — прошептал он.

Он прикоснулся ножницами к ее руке. Она отдернула руку.

— Ну же, — настаивал он. — Возьми, — проговорил он через какое-то время.

Он разжал ее непослушные и окоченевшие пальцы, которые уже были мертвенно холодны на ощупь, и вложил ножницы ей в руку.

— Бери, — сказал он.

Он долго смотрел на лунное небо, и когда взглянул на нее снова, прошло сколько-то времени, прежде чем он смог различить ее очертания во мраке.

— Я ждал, — сказал он. — Но так было всегда. Я ждал и других. Но все они рано или поздно сами приходили ко мне. Как все просто. Пять миловидных женщин за последние пять лет. Я поджидал их в овраге, в поле, у озера, везде, и они приходили, чтобы найти меня, и находили. Как здорово было читать на следующий день газеты. А сегодня вечером на поиски отправилась ты, я знаю, иначе ты не стала бы возвращаться по оврагу одна. Ты напугала себя там и побежала, так? Слышала бы ты, как ты бежала по тропинке! В дверь! Потом заперла ее! Думала, что уж в доме-то тебе ничего не угрожает, да?

Она держала ножницы в омертвелой руке и заплакала. Он смог различить едва заметный проблеск, словно от воды на стенах мрачной пещеры. Услышал ее всхлипы.

— Ну что ты, — прошептал он. — У тебя же ножницы. Не надо плакать.

Она плакала. Она не шевелилась. Стояла, объятая дрожью, запрокинув голову и сползая по двери на пол.

— Не плачь, — шептал он. — Я не люблю этого. Терпеть не могу рыданий.

Он протянул руки и приближался к ней, пока не коснулся ее щеки и ощутил влагу. Ее теплое дыхание ласкало его ладонь, словно летний мотылек. Затем он лишь промолвил:

— Лавиния, — сказал он нежно. — Лавиния.

Как явственно запомнились ему ночи детства, когда мальчишкой он только и делал, что носился как угорелый, прятался, играя в прятки. Первые теплые весенние вечера, ночи на исходе лета. Первые пронзительные осенние ночи, когда двери запирались пораньше и на верандах не оставалось ничего, кроме гонимых ветром листьев. Игра в прятки продолжалась, пока светило солнце или взошедшая луна, подернутая корочкой инея. Они разбегались вприпрыжку по зеленым лужайкам, словно горстка брошенных бархатных персиков или яблок. Водящий считал нараспев, его голова покоилась в объятиях рук:

— Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят...

И удаляющийся звук разлетающихся врассыпную яблок, дети, надежно укрытые, кто на дереве, кто в тени кустарника и под ажурными верандами, и собачки-умницы, соображающие, что нельзя вилять хвостами, а то выдашь чужую тайну. Отсчет закончен:

— Восемьдесят пять, девяносто, девяносто пять. Сто! Пора не пора, я иду со двора!

И Водящий выбегает в пустыню города, разыскивать спрятавшихся, а те запихивают ладошкой в рот смешки, словно драгоценные июньские земляничины. А Водящий вслушивается, не донесется ли хоть малейшее биение сердца с высокого вяза, всматривается, не мелькнет ли в кустах огонек собачьего глаза, выискивает, не журчит ли где чье хихиканье, которое разразится безудержным хохотом, в тот миг, когда он пробежит мимо, не заметив чью-то тень в тени других теней...

Он прошел в ванную притихшего дома, раздумывая обо всем этом, упиваясь стремительным чистым потоком бурных воспоминаний, подобных водопаду мыслей, что низвергается с крутой скалы и летит, летит, пока не падет на дно памяти.

Боже, до чего таинственными и длиннющими казались они себе в своих убежищах. Боже, как заботливо и бережно укрывал их сумрак, обуреваемых восторгом и ликованием. Как они, обливаясь потом, скрюченные, словно истуканы, воображали, будто смогут хорониться здесь хоть целую вечность! А глупый Водящий пусть себе несется навстречу неминуемой досаде и остается с носом.

Иногда Водящий останавливался прямо под твоим деревом и высматривал тебя, согнувшегося в три погибели, в видимых теплых крыльях, в твоих большущих, прозрачных, как оконное стекло, крыльях летучей мыши, и восклицал:

— Вот ты где, я тебя вижу!

А ты знай себе помалкиваешь.

— Ты же на дереве!

А ты в рот воды набрал.

— Слезай!

А ты молчок. Одна лишь торжествующая чеширская ухмылочка. И Водящего начинают терзать сомнения.

— Это ж ты, скажешь, нет?

Ты отпрянул назад.

— А-а, я же знаю, что это ты!

В ответ ни звука. Только дерево тихонько подрагивает в ночи листик за листиком. И Водящий, испугавшийся тьмы, заключенной во тьму, уходит восвояси искать себе добычу полегче, чтобы можно было опознать наверняка.

— Ладно, с тебя хватит!

Он вымыл руки в ванной и подумал: «Зачем я мою руки?» А потом песчинки времени засосало обратно в воронку песочных часов и наступил другой год...

Он вспоминал, как иногда, во время игры в прятки, его вообще не могли найти. Он не давал себя обнаружить. Не проронив ни слова, он столько просиживал на яблоне, что и сам превращался в белое наливное яблочко. Он столько сидел, притаившись, на каштане, что обретал твердость и коричневую лакировку осеннего каштана. Ах, до чего же всесильным ощущаешь себя, когда тебя не могут найти, превращаешься в эдакую громаду — твои руки начинают ветвиться во все стороны, притянутые звездами и полной луной, твоя таинственность обволакивает весь город, укутывает в твою нежность и долготерпение. В сумраке можно вытворять что в голову взбредет. Придет тебе что-нибудь на ум — сделаешь. Ты всемогущ. Сидишь над тротуаром и смотришь, как внизу снуют люди. Им невдомек, что ты глазеешь на них сверху. Можешь высунуть руку и пощекотать им носы пятилапым пауком своей ладони и нагнать страху в их мыслящие головы.

Он помыл руки и обтер полотенцем.

Но игре всегда приходил конец. Как только Водящий находил всех спрятавшихся и те, в свою очередь, тоже принимались искать и разбегались по всей округе, выкрикивая твое имя, насколько более могущественным и значительным это делало тебя.

— Эй, эй! Где же ты? Выходи, игра окончена!

Но ты не шевелился и не выходил. Даже если они все собирались под твоим деревом и видели тебя на самой верхушке, а может, им только мерещилось, и кричали:

— Ну, слезай же! Хватит дурака валять! Эй! Мы тебя видим. Мы же знаем, что ты здесь!

Но и тогда ты не отзывался, пока не происходило последнее решающее событие. Вот далеко-далеко пропел пронзительный серебряный свисток и раздался голос твоей мамы, призывающий тебя, и вновь свисток.

— Девять часов! — протяжно зазывал ее голос. — Девять часов! Домой!

Но ты дожидался, пока все дети разойдутся по домам. Затем очень бережно разгибал свое тело, раскрывал свою тайну, расставался со своим теплом. Держась подальше от света фонарей на углах, ты бежал домой, один в сумраке и тьме, едва дыша, заглушая стук сердца, так что если кто и услышит это биение, то подумает: «Это же ветер погоняет сухой лист в ночи». А вот и мама, стоит в распахнутых дверях...

Он вытер руки полотенцем. Постоял с минуту, раздумывая, как ему жилось последние два года в городе. Старая игра продолжалась. Он играл в нее один. Тех детей уже нет, они достигли обеспеченного среднего возраста, но теперь, как прежде, он — последний, единственный и неповторимый игрок-невидимка. А весь город сбился с ног, ничего не видит, бежит домой и запирает двери на замок.

Но сегодня ночью, уже не в первый раз, из далекого прошлого до него долетел тот же прежний зов, непрерывный серебряный свист. Явно — не пение ночной птицы, ведь ему хорошо знаком каждый звук. А свисток все призывает и призывает, и голос твердит: «Домой», а потом — «Девять часов», хотя на дворе глубокая ночь. Он прислушался. Серебряный посвист. Но ведь мама давно умерла, после того, как своим нравом и языком безвременно свела в могилу отца: сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это...

Заезженная треснувшая пластинка, что запнулась на одном месте; каждый раз одно и то же, опять и опять, снова и снова; этот ее однообразный тон, голос; по новой, по новой, без умолку, без умолку, без умолку...

Поет чистый серебряный свисток, игра в прятки окончена. Конец шатаниям по городу, укрыванию за деревьями и кустами, улыбочкам, сверкающим

сквозь самую густую листву. Нечто происходило само собой. Ноги несли его, руки действовали, он знал, что ему нужно делать в следующий миг.

Руки не принадлежали ему.

Он отодрал пуговицу с пиджака и позволил ей кануть в глубокий темный колодец комнаты. Казалось, она никогда не ударится о дно. Она плавно соскальзывала вниз. Он ждал.

Казалось, пуговица никогда не прекратит вертеться.

Наконец она замерла.

Он достал свою трубку и швырнул ее в пучину комнаты. Не дожидаясь ее столкновения с пустотой, он бесшумно вышел обратно через кухню и из распахнутого окна с белой занавеской поглядел на отпечатки оставленных им следов. Теперь водил он. Он искал, а не прятался. Он стал безмолвным следопытом, который находит, перебирает и отбрасывает улики; эти отпечатки были чужды ему, словно дошли до него из доисторической эры. Миллион лет назад их оставил кто-то другой, занятый какими-то другими делами. Он к ним нисколько не причастен. При свете луны он залюбовался их отчетливостью, глубиной и формой. Он протянул руку и почти коснулся их, словно это было величайшее археологическое открытие! Затем ушел в комнаты, оторвал лоскут материи со своих брюк и сдунул с ладони, словно мотылька.

Руки отныне ему не принадлежали, тело тоже.

Он отворил входную дверь и вышел, на минуту присел на перила веранды. Взял стакан с лимонадом и выпил остатки, согретые вечерним ожиданием; сдавил в пальцах стакан, очень сильно. Потом поставил на прежнее место.

Серебряный свист!

«Да, да, — сказал он про себя. — Иду, иду».

Серебряный свист!

«Да, — подумал он, — девять часов. Домой, домой. Девять часов. Уроки, молоко, крекеры и белоснежная прохладная постель. Домой, домой. Девять часов, серебряный свист».

Он стремительно слетел с веранды и побежал мягкой легкой поступью, почти не дыша, приглушив сердечные ритмы, словно босиком, словно сотканный из листьев, зеленой июньской травы и сумрака ночи, прочь от притихшего дома, через улицу и вниз, в овраг...

Он толкнул и широко распахнул дверь и очутился в вагоне-ресторане «Сова», снятом с рельсов и поставленном на вечную стоянку в центре города. Ни души. Дверь захлопнулась, посетитель прошел вдоль вереницы пустых вращающихся стульев; на дальнем конце стойки поднял глаза буфетчик и вынул изо рта зубочистку.

— Том Диллон, ах ты, такой-сякой! Что ты здесь делаешь в неурочный час, Том?

Том Диллон заказал, не заглядывая в меню. Пока готовилось его блюдо, он опустил монетку в телефон-автомат на стене, набрал номер и негромко поговорил какое-то время. Повесил трубку, вернулся на свое место и сел, прислушиваясь к чему-то. Через шестьдесят секунд и он, и буфетчик услышали вой полицейских сирен, мчащихся со скоростью пятьдесят миль в час.

— Черт! — воскликнул буфетчик. — Хватайте их, ребята!

Он достал высокий стакан молока и тарелку с полдюжиной свежих крекеров.

Том Диллон долго сидел, украдкой поглядывая вниз на свои разодранные брюки и запачканные грязью ботинки. Освещение в вагоне-ресторане было ослепительно ярким; ему казалось, будто он на сцене. Том держал в руке высокий стакан, потягивал прохладное молоко и, смежив веки, пережевывал приятную плоть крекера, ощущая, как она обволакивает его рот и язык.

— Как по-твоему, — спросил он тихо, — можно это назвать обильной едой?

— Я бы сказал, что это и впрямь очень обильная еда, — ответил, улыбаясь, буфетчик.

Том Диллон принялся сосредоточенно жевать очередной крекер, ощущая во рту весь его объем. «Это всего лишь вопрос времени», — думал он в ожидании.

— Еще молока?

— Да, — сказал Том.

И он с неослабным интересом, с неподдельным, напряженным вниманием, на какое был только способен, наблюдал, как наклоняется, поблескивая, белый пакет, как из него беззвучно течет прохладное белоснежное молоко, словно ночной бег весны, заполняет весь стакан, доверху, до самых краев, и переливается...

Любовная история

Все утро в прозрачном воздухе витало благоухание то ли сжатой пшеницы, то ли свежей травы, а может, цветов. Сио никак не мог разобрать. Он спустился с холма из своей потаенной пещеры, оглянулся, поднял красивую голову и напряг зрение. А ветер все нагонял волну за волной душистые запахи. Словно посреди осени наступила весна. Он пошарил под скалами в поисках росших пучками темных цветов. Пытался обнаружить хоть какой-то намек на траву, что каждую весну молниеносно, всего на неделю, наводняла Марс. Но кроваво-красная почва была усеяна лишь костями да галькой.

Сио вернулся в пещеру хмурый. Взглянул на небо и увидел, как вдалеке, близ городов-новостроек, садятся в зареве огня ракеты землян. Иногда по ночам он подкрадывался на лодке вниз по каналам, прятал ее в укромном месте и затем вплавь, бесшумно работая руками и ногами, добирался до окраин новых городов и оттуда наблюдал за землянами, которые что-то вдалбливали, заколачивали, красили и перекликались в ночи, сооружая на этой планете нечто невиданное. Он вслушивался в их странную речь, пытаясь понять, глядел, как ракеты с грохотом взмывают к звездам в шлейфах чудесного пламени. А затем, живой и невредимый, Сио в одиночестве возвращался в свою пещеру. Порой он совершал многомильные переходы по горам, разыскивая кого-нибудь из своих скрывающихся соплеменников — горстку мужчин, еще меньше женщин, — чтобы поговорить, но теперь у него в привычку вошло уединение. И он жил один, размышляя о судьбе, окончательно уничтожившей его народ. Он ни в чем не винил землян. Всему виною было свалившееся на них несчастье. Его отца с матерью, как и родителей многих других сыновей, спалил во сне недуг.

Он снова потянул носом воздух. Этот диковинный аромат. Сладостный, насыщенный мшистый дух вперемешку с цветочными запахами.

— Что это?

Он прищурил свои золотистые глаза на все четыре стороны.

Рослый Сио был все еще отрок, хотя к восемнадцати годам плавание в каналах развило мышцы его длинных рук и ног, жаждавших бегать, припадая к раскаленному дну пересохшего моря, укрываться, вскакивать и стремглав бежать дальше или совершать изнурительные вылазки с серебряными клетками за цветами-убийцами и огненными ящерицами им в пищу. Казалось, его жизнь заполнена плаванием, походами, дерзновенными затеями юношей, на которые растрачивались их энергия и вдохновение, пока они не обзаводились семьями, и тогда то, что некогда забирали горы

реки, доставалось женщинам. В отличие от многих, он и в пору возмужания сохранил любовь к дальним переходам. Пока тот или иной мужчина плавал в изящной лодочке вниз по пересыхающим каналам в сопровождении женщины, красовавшейся у него на груди подобно камее, Сио вел беспокойное походное существование. Все больше в одиночестве, часто беседуя сам с собой. Он вызывал тревогу у своих родителей и приводил в отчаяние женщин, что глаз не сводили с его красивой подрастающей тени, с того самого часа, как ему минуло четырнадцать, и кивали друг другу, поглядывая на календарь, на котором один год сменяет другой...

Но после Вторжения и Эпидемии место его подвижности занял покой. Его мир поглотила смерть. Новоиспеченные свежевыкрашенные города оказались рассадниками заразы. Груз множества смертей навалился тяжким бременем на его сны. Он часто просыпался в слезах, протягивал руки в ночь, но родителей рядом не было. Пора, давно пора было обрести того единственного, особенного друга, одно прикосновение, одну любовь.

Ветер кружил и разносил поразительный аромат повсюду. Сио сделал глубокий вдох и ощутил тепло своей плоти.

Но вот до него донесся звук. Ему показалось, будто играет маленький оркестр. Музыка проникала в его пещеру по узкому каменистому ущелью.

В полумиле отсюда в небо взвились клубы дыма. Внизу, на берегу древнего канала, стоял заброшенный домик, построенный годом раньше землянами для археологов. Несколько раз Сио подкрадывался к нему и заглядывал в пустые комнаты, не заходя внутрь из боязни подхватить черный недуг.

Музыка доносилась оттуда.

«Целый оркестр в крохотном домишке?» — недоумевал он и при свете полудня бесшумно побежал в долину.

Дом казался пустым, хотя музыка лилась из распахнутых окон. Сио крался от камня к камню; прошло полчаса, прежде чем он смог подползти к грохочущему дому метров на тридцать. Он лег на живот, стараясь держаться поближе к каналу. Случись что-нибудь, он нырнет в стремнину и она унесет его обратно к холмам.

Звуки музыки нарастали, обрушивались на скалы, гудели в раскаленном воздухе, вызывая дрожь у него в костях. С содрогающейся крыши дома летела пыль. С досок бесшумным снегопадом осыпалась краска.

Сио подпрыгнул и припал к земле. Внутри никакого оркестра. Одни цветастые занавески. Двери — настежь.

Музыка прекратилась и заиграла вновь. Одна и та же мелодия повторилась десять раз подряд. А запах, что манил его вниз из каменного убежища, стал здесь осязаем, как чистая вода, что струилась по его взмокшему лицу.

Наконец он одним прыжком достиг окна и заглянул внутрь.

На низком столике поблескивала какая-то коричневая машинка, на которой серебристая игла прижимала вращающийся черный диск. Оркестр громыхал вовсю! Сио, вытаращив глаза, уставился на загадочное устройство.

Музыка прекратилась. В промежутке шипящей тишины послышались шаги. Он с разбегу бросился в канал.

Сио погрузился в толщу прохладной воды и на дне задержал дыхание. Что это было? Западня? Неужели они заманили его, чтобы убить?

Протикала минута, из его ноздрей вырвались пузырьки. Он шевельнулся и стал медленно всплывать навстречу влажному стеклянному миру.

Он плыл, глядя вверх сквозь прохладный зеленый поток, и тут увидел ее.

Лицо у него над головой напоминало белокаменное изваяние.

На какое-то мгновение Сио замер, оцепенел, но он видел ее. Он затаил дыхание. Позволил медленному течению увлекать его все дальше. А она была прекрасна, эта пришелица с Земли, она прилетела на ракете, которая обуглила почву и выжгла воздух; кожа у нее белая, словно камень.

Течение увлекало его все дальше, пока он не очутился среди холмов. Промокший насквозь, он выбрался на сушу.

«Какая она красивая», — завороженно думал он, сидя на краю канала. В груди перехватило дыхание. Кровь обжигала щеки. Он взглянул на свои руки. Нет ли на них черной болезни? Не заразился ли он от одного только взгляда на нее?

«Я должен был всплыть, — думал он, — и вцепиться ей в горло, когда она нагнулась. Она убила нас, убила». Он видел ее белое горло, ее белые плечи. «Что за странный оттенок, — думал он. — Но нет, не она сгубила нас, а болезнь. Как может чернота уживаться с такой белизной?»

«Заметила ли она меня?» Он встал, обсыхая на солнце. Приложил к груди красивую смуглую руку. Почувствовал, как колотится сердце.

— О, — воскликнул он. — Я видел *ее*!

Он пошел к себе в пещеру, ни быстро, ни медленно. Музыка по-прежнему летела вдогонку, словно какой-то сам себе праздник.

Не говоря ни слова, он принялся уверенно и аккуратно складывать свои пожитки. Побросал на холстину куски светящегося мела, еду, несколько книг и связал в тугой узел. Он заметил, что руки у него трясутся. Обеспокоенно посмотрел на свои ладони. Вскочил на ноги, сунув под мышку маленькую котомку, вышел прочь из пещеры и стал подниматься по ущелью, подальше от музыки и назойливых благовоний.

Он шел не оглядываясь.

Солнце уже закатывалось. Сио чувствовал, как его тень стремится назад, туда, где следовало находиться ему. Нехорошо покидать пещеру, в которой часто приходилось жить в детстве. Здесь он находил для себя десятки разных занятий и времяпрепровождений, воспитал в себе вкус ко многим и многим вещам. Он выдолбил в скале печь и каждый день выпекал всевозможные пироги и ковриги. На крохотном горном поле он выращивал зерно себе на пропитание. Умел делать чистые игристые вина. Создавал музыкальные инструменты, серебряные флейты, металлические рожки и маленькие арфы. Слагал песни. Мастерил стулья, ткал полотно для своей одежды. Светящимися красками он расписывал пещеру причудливыми картинами, мерцавшими во мраке долгих ночей багрянцем и кобальтом. И часто перечитывал книгу стихов, сочиненных в пятнадцать лет, которую с гордостью, но без тщеславия его родители читали вслух в узком кругу избранных. Ему хорошо жилось в этой пещере в мире своих маленьких увлечений.

Пока солнце заходило, он поднялся на перевал. Музыка смолкла. Аромат улетучился. Он вздохнул и присел немного отдохнуть перед тем, как начать спуск. Смежил веки.

Сквозь зеленую воду проступило белое лицо.

Он прикоснулся пальцами к своим закрытым глазам, чтобы нащупать.

Сквозь бурный поток жестикулировали белые руки.

Он вскочил, схватил котомку и уже собрался было поспешать дальше, как ветер переменился.

Донеслись слабые-слабые отзвуки безумной стальной музыки, что лязгала за много миль отсюда.

Сквозь горы долетело последнее тончайшее благоуханное дуновение.

На нее сходили луны, Сио повернулся и нашел дорогу обратно.

От пещеры повеяло холодом и отчуждением. Он развел костер, поел хлеба с ягодами, собранными в замшелых скалах. Как быстро после его ухода пещера промерзла и очерствела. Собственное дыхание как-то странно отскакивало от стен.

Он загасил огонь и лег спать. Но теперь на стену пещеры лег тусклый отсвет. Он знал, что свет доходит до него из окон домика на канале, что в

полумиле. Он закрыл глаза, но свечение не исчезало. То свет, то музыка, то аромат цветов. Сио поймал себя на том, что то и дело всматривается, вслушивается, принюхивается; не к одному, так к другому из этой непостижимой тройки.

В полночь он стоял подле пещеры.

Золотые огни озаряли дом подобно сверкающей игрушке. В одном окне ему померещилась танцующая фигура.

— Я должен спуститься туда и убить ее, — сказал он. — *Вот* зачем я вернулся в пещеру. Убить и закопать.

В полудреме ему почудилось, как некий далекий голос нашептывает: «Какой же ты болтун». Он не стал открывать глаз.

Она жила одна. На второй день он увидел, как она гуляет по холмам. На третий она часами купалась в канале. На четвертый и пятый Сио подбирался к дому все ближе и ближе, и вот на закате шестого дня в сгущающихся сумерках он стоял у окна и смотрел на женщину, что обитала в доме.

Она сидела перед столиком, уставленным двумя десятками крохотных золотистых цилиндриков с красным составом. Легкими похлопываниями она втирала белый прохладный на вид крем, накладывая маску. Вытерла ее салфеткой и бросила в корзину. Попробовала один из цилиндриков, прижав к сомкнутым налитым губам, стирая краску, добавила еще, стерла и *эту*, попробовала третий оттенок, пятый, девятый. Прикоснулась к щекам румянами, а затем серебристым пинцетом принялась выщипывать брови. С помощью каких-то непонятных приспособлений она завивала волосы, подравнивала ногти и сладко напевала при этом неведомую песню на своем языке, должно быть, изумительную. Она мурлыкала ее, отбивая такт высокими каблуками на дощатом полу. Она пела, расхаживая по комнате, облаченная лишь в свое белоснежное тело, лежа на постели в своей беломраморной плоти с откинутой головой, желтыми струящимися волосами, спадающими на пол, поднося к алым губам тлеющую трубочку, затягиваясь, зажмурив глаза, выпуская из ноздрей и ленивого рта длинные струйки дыма, которые перевоплощались в больших призраков. Сио забила дрожь. Призраки. Таинственные призраки слетают с ее губ так легко и непринужденно. Она лепит их, не глядя.

Ступни ее ног громыхнули по половицам, когда она встала. Она по-прежнему пела, кружилась в танце. Пела куда-то в потолок, сцепив пальцы. Всплеснула руками, словно взмахнула крыльями, и пустилась в пляс. Одна. Ее каблуки скрипели на полу, выписывая круги.

Чужая песня. Вот бы ее понять. Ему захотелось обладать даром, которым нередко бывали наделены его сородичи — мгновенно прочитывать, познавать, истолковывать чужие языки и мысли. Он сделал над собой усилие. Тщетно. Она продолжала распевать прекрасную неведомую песню, из которой он ничего не понял:

— Я веду себя прилично. Для тебя я берегу свою любовь...

Глядя на ее земное тело, земную красоту, такую совершенно нездешнюю, из-за многих миллионов миль, он почувствовал, что ему становится не по себе. Ладони стали влажными, руки неприятно задергались.

Зазвенел звонок.

Вот она берет в руки странный черный инструмент, похожий на тот, которым пользовались марсиане.

— Алло, Дженис? Молодец, что позвонила!

Она улыбнулась. Она говорила с далеким городом. Ее голос было приятно слушать. Но что это за слова?

— Бог ты мой, Дженис, в какую же дыру ты меня заслала. Знаю, дорогая, в отпуск. Но тут на шестьдесят миль вокруг ни души. Только и делаю, что играю в карты и плескаюсь в канале, будь он неладен!

Черный аппарат звякнул в ответ.

— Дженис, это невыносимо. Я знаю. Знаю. Церкви. Какого черта они сюда приперлись. Все было так здорово. Меня одно интересует, когда мы снова откроемся?

«Очаровательно, — думал Сио. — Потрясающе. Невероятно». Он стоял в ночи за распахнутым окном, уставившись на ее великолепное лицо и фигуру. О чем же они беседовали? Об искусстве, литературе, музыке? Конечно, о музыке, она же все время что-то напевает. Странная мелодия. Но разве поймешь музыку из чуждого мира? Или его обычаи, язык, литературу? Здесь можно полагаться только на собственную интуицию. Нужно отбросить старые представления, признать, что ее красота не похожа на марсианскую, подтянутую, бархатную, смуглую красоту вымирающей расы. У его матери были золотистые глаза и стройные бедра. А у нее, одиноко поющей в пустыне, роскошные груди, крутые бедра, а ноги, ах, ноги, словно белое пламя. И этот непривычный обычай разгуливать без одежды, в одних цокающих шлепанцах. Но ведь все женщины с Земли так ходят, разве нет? Он кивнул. Понимать надо. Женщины из этого далекого мира ходят на громыхающих каблуках, нагие, златовласые, статные, пышные. Он сам видел. А ее колдовские губы и ноздри. Призраки и демоны, слетающие с дымящихся губ. Сомнений нет, эти магические существа сотканы из огня и фантазий. Своим блестящим умом она ваяет в воздухе тела. Кто же, если не ясный ум и светлый гений может пить то пепельно-серое, то вишнево-красное пламя и выпускать из ноздрей чудеса изысканной красоты и зодчества. Гений! Как это ей удается? Сколько лет нужно этому обучаться? Как распоряжаться своим временем? У него голова шла кругом в ее присутствии. Он хотел крикнуть: «Научи!» Но боялся. Он чувствовал себя ребенком. Он видел формы, очертания, дым, струящийся в бесконечность. Она здесь, в пустыне, чтобы наедине с собой воплощать свои фантазии в полной безопасности, вдали от чужих глаз. А творцов, писателей и художников попусту беспокоить нельзя. Должно отступить и держать свои мысли при себе.

«Какой народ! — думал он. — Неужели все женщины из этого огненно-зеленоватого мира подобны ей? Кто они, огненные привидения? Музыка? Неужели они так и расхаживают по своим грохочущим домам в ослепительной наготе?

— Я должен наблюдать, — проговорил он вполголоса. — Я должен познавать.

Он почуствовал, как у него опустились руки. Ему захотелось прикосновения. Захотелось, чтобы она пела для него, выписывала в воздухе искусные вензеля, учила, рассказывала ему о своем далеком мире, про то, какие там книги, прекрасная музыка...

— Бог ты мой, Дженис, но как скоро? А как же остальные девочки? Что творится в других городах?

Телефон зажужжал, как насекомое.

— Закрыты? По всей планете? Что? Все до единого! Если ты срочно не найдешь мне место, я..!

Здесь все было в диковинку. Словно видеть женщину в первый раз. Как она закидывает назад голову, перебирает наманикюренными пальцами — все внове, все необычно. Она закинула ногу на ногу, подалась вперед, облокотившись на беломраморную голую коленку, вызывая и выдыхая духов, и продолжала болтать, поглядывая в окно, в тени которого стоял он. Он! Она смотрела прямо сквозь него. Ах! Если бы она знала... как бы она поступила?

— Кто? Я? Боюсь жить здесь одна?

Она расхохоталась. Сио смеялся вместе с ней в залитой лунным светом мгле. О, это очарование ее нездешнего смеха, запрокинутой головы, таинственные клубы, вырывающиеся из ноздрей.

Затаив дыхание, он отпрянул от окна.

— Да! Конечно!

Какие же прекрасные, редкостные, живые, мелодичные, поэтичные слова изрекает она теперь?

— Брось, Дженис, ну кто испугается марсианина? Сколько их всего осталось-то? С десяток или два? Построй их в колонну и пришли сюда, договорились? Договорились!

Послышался ее смех, пока он на ощупь пробирался за угол дома. Под ноги ему попались брошенные бутылки. Закрыв глаза, он видел ее запечатлившуюся мерцающую кожу, фантомы, слетающие с ее губ, словно заколдованные облака, дождь и ветер. О, как переложить это на свой язык! Боги! Как познать все это! Вслушиваться! Что означает это слово, а то, а другое!? Не она ли окликнула его? Нет. Не его ли имя прозвучало?

В пещере он поел, хоть и не испытывал голода.

Сио целый час просидел у входа в пещеру, а тем временем луны взошли и понеслись по холодному небосводу, пока он не заметил, как с его губ слетает пар и клубится, подобно призракам и огнедышащему безмолвию, которые струились у ее лица. А она все говорила и говорила, а он то ли слышал, то ли не слышал ее голос, проникающий в горы сквозь скалы, и обонял ее дыхание, в котором курилась надежда, обещание теплых слов, согретых на ее губах.

Наконец он решил: «Я спущусь туда и заговорю с ней тихим голосом, и буду говорить с ней каждую ночь, пока она не поймет мою речь, а я — ее, и тогда она уйдет со мной в горы, где мы будем счастливы. Я поведаю ей о моем народе и о своем одиночестве, про то, как я долгими ночами смотрел на нее и слушал...»

Но... ведь она же — Смерть.

Он поежился. Он думал, эти слова не выходили у него из головы.

Как же он мог позабыть?

Стоит ему только взять ее за руку, прикоснуться к щеке, и он увянет в каких-то несколько часов, от силы за неделю. Он изменится в цвете, обратится в пепел, в ломкие черные хлопья, гонимые ветром.

Одно прикосновение и... погибель.

Но затем ему в голову пришла другая мысль. Она живет одна, вдали от своих. Должно быть, она очень дорожит своими мыслями, если живет в таком уединении. Чем же мы отличаемся? А раз она живет вдали от городов, может, зараза не коснулась ее..? Конечно, может!

Как здорово провести с ней день, неделю, месяц, купаться с ней в канале, гулять по холмам, слушать ее дивное пение. А он будет прикасаться к поющим книгам, чтобы они звенели для нее, как арфы! За это можно отдать что угодно! Человек умирает, когда он одинок, разве не так? Взгляни же на горящие внизу золотые огни. Разве не стоит рискнуть ради одного месяца истинного взаимопонимания, ради того, чтобы жить и находиться рядом с этой красавицей — ваятельницей призраков и духов, срывающихся с ее губ? А если нагрянет смерть... как прекрасна и неповторима она будет!

Он встал. Сделал шаг. Зажег свечу в нише внутри пещеры, и в ее свете затрепетали портреты его родителей. Снаружи темные цветы дожидались рассвета, чтобы встряхнуться, распуститься; она будет здесь, увидит их и уйдет с ним в горы. Луны закатились. Ему пришлось настроить зрение, чтобы разобрать дорогу.

Он прислушался. Внизу, в ночи играла музыка. Там, во тьме, ее голос творил чудеса во времени, пылала в сумраке ее белая плоть и вокруг ее головы плясали призраки.

Он прибавил шагу.

В тот вечер, ровно в девять сорок пять, она услышала тихий стук в дверь.

«Ну, а кроме динозавра, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»

— Задавайте мне вопросы.

Бенджамин Сполдинг двенадцати лет от роду держал речь. Мальчишки, рассыпавшись по лужайке вокруг него, и глазом не моргнули, ухом не повели, даже хвостом не вильнули. Собаки, вперемежку с детьми, тоже не шелохнулись, только одна из них зевнула.

— Ну же, кто-нибудь, — настаивал Бенджамин, — спросите меня.

Может, созерцание неба настроило его на такой лад. Необъятные фигуры, диковинные звери в вышине плыли бог-знает-куда из бог-знает-какой эпохи. Может, ворчание грома за горизонтом, буря, которая намеревалась нагрянуть, были тому причиной. А может, это заставило его вспомнить тени в музее Филда, где Стародавние времена шевелились, как эти самые тени, виденные им на утреннем сеансе в прошлую субботу, когда повторно крутили «Затерянный мир», монстры падали с утесов и мальчишки прекращали беготню между рядов и вопили от страха и восторга. Может быть…

— Ладно, — сказал один из мальчишек, не открывая глаз, погрязший в скуке настолько, что даже зевать не хотелось. — Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

— Динозавром, — ответил Бенджамин Сполдинг.

И словно дожидаясь этих слов, на горизонте грянул гром.

У мальчишек распахнулись глаза.

— Кем-*кем*?!!

— Да, ну а *кроме* динозавра?..

— Не стоит размениваться ни на что другое.

Он взглянул на колоссальные туши туч, которые надвигались, чтобы пожрать друг друга. Над землей вышагивали гигантские ножищи молний.

— Динозавр… — прошептал Бенджамин.

— Сматываемся!

Какая-то собачка пустилась наутек, а за ней мальчишки.

— Динозавры? — фыркали они. — Хм! Динозавры!

Бенджамин вскочил, потрясая кулаком.

— Чем вы захотите, тем *вы* и станете, а я останусь самим *собой*.

Но их уже и след простыл. Только одна собачка осталась. И то у нее был нервический жалкий вид.

— Ну и черт с ними. Пошли, Рекс, поедим.

И тут пожаловал дождь. Рекс удрал. Бенджамин остался, горделиво озираясь по сторонам, с высоко поднятой головой, не обращая внимания на ливень. Затем величавый маленький человек, в одиночестве, насквозь промокший и чудно́й, прошествовал по лужайке.

Гром отворил для него дверь. Гром захлопнул ее вслед за ним.

Про дедушку можно было по праву сказать, что он сам себя вылепил. Загвоздка в том, любил повторить дед, разделывая цыпленка и отрезая ломоть яблочного пирога перед отправкой в рот, что он так и не решил, чему себя посвятить.

Так вот и вел он беспорядочную жизнь — инженера-железнодорожника, с которой вскоре было покончено ради должности городского библиотекаря, с которой вскоре было покончено ради того, чтобы избираться мэром, с чем он вскоре покончил, даже не вступив в должность. В настоящее время он на полной ставке заведовал печатней и давильней для вина из одуванчиков назло Сухому закону в подвальчике бабушкиного доходного дома. Когда он не был в печатне и давильне, он рыскал по огромной библиотеке, которая вышла из берегов и затопила гостиную, коридоры, шкафы и все спальни, верхние и нижние. Его

многочисленные хобби включали коллекционирование бабочек, пойманных и хранившихся на решетках автомобильных радиаторов, террор по отношению к цветам в саду, которые не слушались его рук, и наблюдение за внуком.

В данный момент сие наблюдение было похоже на покупку билета для вулкана.

Вулкан бездействовал, усевшись за полуденным столом. Дедушка, чуя скрытое извержение, вытер салфеткой рот и сказал:

— Что сегодня нового в большом внешнем мире? Низвергался ли ты в последнее время с какой-нибудь флоры? Какая фауна, я хочу сказать, бешеные пчелы, загнали тебя домой?

Бенджамин сомневался. Постояльцы прибывали как каннибалы, а уходили как христиане. Он ждал прихода новых каннибалов, чтобы приступить к пережевыванию пищи. И, наконец, сказал:

— Нашел себе дело всей жизни.

Дедушка присвистнул.

— Как называется?

Бенджамин назвал.

— Ну и ну.

Дедушка, чтобы выиграть время, отрезал себе еще ломтик пирога.

— Хорошо, что ты сделал свой выбор уже в таком раннем возрасте. Но где этому можно научиться?

— Деда, у тебя же есть книги в библиотеке.

— Несметное количество.

Дедушка ковырялся в корочке пирога.

— Но я что-то не припомню у себя книг юрского или мелового периода, когда убийство было обычным делом и никто особенно не возражал…

— Деда, у тебя в подвале мириады журналов. И с половину этого на чердаке.

Бенджамин переворачивал блинчики, словно книжные страницы, разглядывая чудеса света.

— Мне нужны девятьсот девяносто картинок про допотопные времена и живность, которая там обитала!

Оказавшись в западне своей собственной привычки ничего не выбрасывать, дедушка только и смог промолвить:

— Бенджамин…

Он потупил взор. Родители мальчика пропали в бурю на озере, когда ему было десять. Ни их, ни их лодку так и не нашли. С тех самых пор всевозможная родня ходила на берег озера в поисках вопящего у кромки воды Бенджамина, который кричал: «Куда все подевались и почему они не вернулись домой?» Но в последнее время он все реже появлялся у озера и все чаще бывал здесь, в доходном доме. А теперь (дедушка нахмурился) и в библиотеке.

— Не просто каким-то там динозавром, — перебил его Бенджамин. — Я собираюсь стать самым лучшим.

— Бронтозавром? — предположил дедушка. — Они симпатяги.

— Нет!

— Аллозавром. Давай аллозавром. Они изящные, словно на пуантах. Ах, как они семенят на цыпочках…

— Нет!

— Как насчет птеродактиля? — дед вошел в раж и подался вперед. — Высоко летает, смахивает на парящие машины, нарисованные Леонардо, ну ты знаешь, да Винчи.

— Птеродактили, — призадумался Бенджамин, кивая, — почти первый номер.

— А кто первый?

— Рекс, — прошептал мальчик.

Дедушка огляделся по сторонам:

— Ты зовешь собаку?

— Рекс, — Бенджамин зажмурился и назвал полное имя. — Тиранозавр-рекс!

— Вот это да! — сказал дедушка. — Знакомое имечко. Царь над ними над всеми.

Бенджамин заблудился во времени, мгле и непролазных болотах затхлой воды.

— Царь над ними над всеми, — прошептал он.

Вдруг он широко раскрыл глаза.

— Есть идеи, деда?

Старик отпрянул от этого чистого пронзительного взгляда.

— Нет. Гм… дай потом знать, что ты нашел. В своих изысканиях…

— Да!

Приняв это как знак одобрения, Бенджамин вскочил со стула, метнулся к двери, встал как вкопанный и обернулся.

— А кроме библиотеки куда еще можно податься?

— Податься?

— Пожарники тренируются в пожарной части. Машинисты учатся водить локомотивы в депо. Врачи…

— А куда податься мальчику, — сказал дедушка, — чтобы с отличием сдать экзамен на ящера первого класса?

— Вот именно!

— Пожалуй, в музей Филда, где выставлены груды костей из чердачного этажа Господа Бога. Динозавр-колледж. Ни дать ни взять! Вот куда мы пойдем!

— Деда, вот здорово! Спасибо тебе. Будем носиться как угорелые и улюлюкать!

И — бац! Хлопнула дверь на улицу. Мальчугана как ветром сдуло.

— Будем, будем, это уж как пить дать, Бенджамин.

Дедушка налил сиропу, всматриваясь в золотистые блики и раздумывая, как охладить пыл пламенного мальчишки.

Нагрянул огромный неистовый зверь. Их забрал большущий безудержный монстр. То есть поезд. До Чикаго. И Бенджамин с дедом оказались в брюхе чудовища, так сказать. Что-то крича друг другу и улыбаясь.

— Чикаго! — выкрикивал проводник.

— А почему он не сказал про музей Филда!? — нахмурился Бенджамин.

— *Я* тебе скажу, — откликнулся дед.

И спустя несколько минут:

— Вот он!

Они вступили под сень фресок, на которых одни твари угрожали разинутой пастью другим тварям так, что захватывало дух. Рука об руку, они дивились тому, сколько плоти кануло в небытие, изумленно таращили глаза на вызволенные из недр земли и заново собранные скелеты. Любопытство одного шагало бок о бок с любопытством другого. Восторги юного вызывали из памяти восторженность у пожилого.

— Посмотри, дедушка. Ты видел здесь хоть кого-нибудь из Гринтауна?

— Только ты да я, Бенджамин.

— Единственные из наших, кого я помню, — мальчик перешел на шепот, — это мама и папа…

Во избежание сантиментов дедушка быстро перехватил инициативу:

— Уж им-то здесь наверняка нравилось, сынок. А вот посмотри-ка сюда!

Они зашагали дальше, изумленные, потрясенные, ошеломленные жемчужиной в коллекции кошмаров, написанных Чарльзом Л. Найтом.

— Он — поэт с кистью, — сказал дедушка, балансируя на краю Большого каньона Времени. — Шекспир фресковой живописи. А ну-ка, Бенджамин, где тот большой пес Рекс, о котором ты так мечтаешь?

— *Этот* небоскреб и есть *он*?!

Над ними вздымалась колоссальная фигура. Они вприглядку подбирали неслышные мелодии на длинном ожерелье-ксилофоне из костей.

— Лестницу бы сюда.

— Чтобы вскарабкаться по ней, словно безумный дантист, и попросить пошире открыть ротик?

— Деда, он что, *ухмыляется*?

— Как моя теща на нашей свадьбе. Хочешь, посажу тебя на плечи, Бен?

— А можно?

У дедушки на плечах Бенджамин, затаив дыхание, прикоснулся к… древней Улыбке.

Потом, словно что-то было неладно, притронулся к своим губам, деснам и зубам.

— Засунь голову в пасть, сынок, — предложил дед, — посмотрим, *откусит* или нет.

Шли недели, бежало лето, росли стопки книг, в комнате Бенджамина расстилались наброски — чертежи костей, стоматологические карты юрского и мелового периода.

— Сюда бы еще «Отче Наш», — задумчиво сказал дедушка. — А *это* что такое?

— Убийственные картины мистера Найта, который видит сквозь время и зарисовывает увиденное!

И тут в окно верхнего этажа ударился камушек.

— Эй! — кричали снизу голоса. — Бен!

Бен подошел к окну, поднял его и прокричал сквозь сетку:

— Чего надо?

Это оказался один из мальчишек с лужайки.

— Где ты пропадаешь неделями, Бен? Пойдем купаться.

— Больно нужно, — ответил Бен.

— Потом пойдем к Джиму делать мороженое.

— Больно нужно! — Бен захлопнул окно и, обернувшись, увидел изумленного деда.

— Я думал, банановое мороженое сводит тебя с ума, — сказал старик. — Сколько недель ты сидишь взаперти. Бог тебе в помощь.

Дедушка пошарил в карманах, отложил какие-то бумаги и отыскал объявление.

— Я знаю, что с тобой делать. Читай!

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ. ПЕРВАЯ БАПТИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
В 10:00. У НАС В ГОСТЯХ ПРОПОВЕДНИК ЭЛСВОРТ КЛЮ.
ПРОПОВЕДЬ «ГОДЫ ДО АДАМА, ВРЕМЕНА ДО ЕВЫ»

— Ух ты! — воскликнул Бенджамин. — Это то, что я думаю? Мы можем пойти?

— Вот твоя шляпа. Куда торопиться! — сказал дед.

Так как день был не воскресный, ожидание тянулось долго. Но рано утром в воскресенье Бен потащил деда в Первую баптистскую церковь.

А там, конечно же, Укротитель страшилищ преподобный Клю сдобрил свою проповедь бегемотами, охотился на китов, вылавливал левиафанов, изучал бездны и под конец пригнал громыхающее стадо если не динозавров, то их ближайшую родню, изрыгающую серу! И все они ждут не дождутся в своих огнедышащих ямах, когда к ним на раскаленную жаровню посыплются христианские мальчики.

Во всяком случае, так показалось Бенджамину, который смирно просидел первый в своей жизни церковный час. Глаза у него не слипались, рот не зевал.

Преподобный Клю, заметив лучезарную улыбку и горящие глаза мальчика, иногда поглядывал на него по мере того, как отслеживал генеалогию зверья с Люцифером — черным пастухом во главе своры.

После полудня выпущенные из Бестиария прихожане еще дымились после головокружительного катания по Аду. Они неуверенно переступали с ноги на ногу и щурились на солнце после того, как узнали о допотопных мясорубках больше, чем хотелось. Все, кроме Бенджамина, который открыл для себя преподобного, оглушенного собственным красноречием, и орудовал рукой как рукояткой насоса в надежде, что из уст божьего человека хлынет новая порция звериных чудес.

— Преподобный отец, чудища! Вот здорово!

— Все же не нужно ставить свечки чудовищам, как людям, — молвил преподобный, старясь не сбить проповедь с пути истинного.

Бенджамин не сдавался.

— Мне понравились ваши слова про исполнение желаний. Это правда?

Преподобный чуть не вздрогнул от мальчишечьего взгляда, пылающего, как сигнальная ракета.

— Что именно?

— Ну, если кому-то ужасно хочется, чтобы что-то произошло, то оно происходит? — пояснил Бенджамин.

— Если, — встрял дед, чтобы спасти преподобного от своего отпрыска, — если ты жертвуешь бедным, правильно молишься, аккуратно делаешь уроки, убираешь свою комнату…

На этом воображение деда иссякло.

— И так хватает, — сказал Бенджамин, переводя взгляд с деда-утеса на пригорок преподобного Клю. — А что надо делать в первую очередь?

— Господь пробуждает нас каждый день, чтобы мы делали свою работу, сынок. Я выполняю свою работу — священническую. Ты — свою — мальчишескую — быть готовым желать и становиться!

— Желать и становиться! — возликовал Бенджамин, зардевшись. — Желать и становиться!

— После исполнения повседневных обязанностей, сынок, после обязанностей.

Но Бенджамин, воодушевленный, сорвался с места, замер, вернулся, ничего не слыша.

— Преподобный отец, ведь этих чудовищ создал Бог?

— Да, сынок, Он их создал.

— А вы спрашивали себя, зачем?

Дед положил руку на плечо Бенджамину, но Бен не почувствовал.

— Зачем Богу понадобилось сначала создавать динозавров, а потом от них избавляться?

— Неисповедимы пути Господни…

— По мне так слишком уж неисповедимы, — сказал Бен, невзирая на лица. — Кому бы помешало, если бы у нас в Грин-тауне, штат Иллинойс, завелся свой собственный динозавр, который вернулся обратно и никогда

не вымирал? Кости — это, конечно, круто. Но всамделишный! Вот была бы *красота*!

— Я и сам неравнодушен к монстрам, — признался преподобный.

— Как вы думаете, Господь создаст их заново?

Преподобный понимал, что разговор катится в болото, в котором ему не хотелось погрязать.

— Я знаю одно: если умрешь и попадешь в ад, то чудовища или их подобия будут там дожидаться тебя.

Бенджамин просиял.

— Мне уже почти захотелось помереть!

— Сынок… — укоризненно сказал преподобный.

Но мальчика и след простыл.

Бенджамин летел домой, чтобы насытить желудок и зрение. Он разложил на полу с полдюжины раскрытых книг и посмеивался вполголоса от удовольствия.

Вот они — звери всех библейских поколений. И из Бездны. Как она ласкает слух! Мальчик твердил это слово с воскресного обеда в два часа до субботнего тихого часа в четыре. Бездна. Бездна. Глубокий вдох. И выдох. Бездна.

И бронтозавр родил птеранодона, и птеранодон родил тираннозавра, и тираннозавр родил полночного парящего змея — птеродактиля! И… так далее, и тому подобное, et cetera!

По мере того, как он перелистывал увесистый семейный фолиант, с его страниц вставали левиафаны и древние создания, а когда он переселялся в Ад и снимал там комнату, вдруг появлялся Данте и указывал перстом своим то на один кошмар, то на другой, и то на змея, то — на кольцом свернувшегося гада, — и все они — ближайшие дядья и тетки из Канувшего времени, из чуждой крови, из враждебной плоти. От зрелища такого у кого угодно забегают мурашки по спине. О вы, что канули с лица земли, вернитесь! Любимцы, что некогда лежали у ног Господних, но изгнаны им были за изгаженный ковер. О, домашние питомцы из клубящегося мрака и кипящей тьмы, чей глас способен распахнуть ворота настежь и выпустить наружу страх и ужас! Возопите! Издайте стон из… Бездны!

Его губы шевелились во сне, и солнце передвигало тени по его постели в предвечерние часы. Вздрагивание. Бормотание. Шепот…

Бездна.

На следующий день старому доброму Рексу Бенджамин дал новую кличку — Пес. Отныне он просто Пес.

Дня через три дрожащий и скулящий Пес вылез, ковыляя, из дома и пропал.

— Где Пес? — полюбопытствовал дедушка, который уже обыскал и подвал, и чердак (а что там делать собаке? Разве там можно что-нибудь откопать?), и двор перед домом. Он позвал его: — Пес!

...— Пес? — спрашивал он у ветра, который дул на лужайке вместо лучшего друга человека. И, наконец:

— Пес? Ты что там делаешь?

Оказывается, Пес находился на противоположной стороне улицы, валялся посреди клеверного поля и разнотравья, на пустыре, который никто не застроил и не обжил.

Через полчаса окликов дедушка раскурил трубку и встал над головой Пса, глядя на него сверху вниз. Пес посмотрел на деда снизу вверх с ужасной тоской в глазах.

— Ты что тут делаешь, малыш?

Пес, будучи тварью бессловесной, не мог ответить, но застучал хвостом, прижал уши и заскулил. Мир жесток. Сомневаться не приходилось. Как, впрочем, и в том, что домой он не пойдет.

Возвращаясь на свою сторону улицы и оставив Пса в травяном убежище, дедушка узрел на крыльце нечто вроде носовой фигуры ламантина со старинного парусника. Разумеется, это бабушка, подставившая лицо полуденному ветру. Бабушка держала кухонную лопатку, которой махала Псу.

— Надеюсь, ты не ходил его кормить?!

— Что ты! Нет! — сказал дедушка, оглядываясь на дрожащую собаку, которая еще глубже запряталась в траву. — А что случилось?

— Он наведывался в ледник.

— Разве собака способна на такое?

— Господь не поведал мне об этом, но там по всему полу разбросана еда. Гамбургер, который я припасла на сегодня, испарился. И повсюду кости и мясо.

— Пес бы такое не выкинул. Давай разберемся.

Напоследок бабушка посредством кухонной лопатки пригрозила Псу, который ретировался еще ярдов на десять вглубь зарослей. Затем она единолично прошествовала парадным шагом в дом и принялась водить лопаточкой по полу, который и впрямь представлял собой жуткую мешанину из съестных припасов.

— Ты хочешь сказать, что это существо умеет пользоваться рычагом, отпирающим дверь в ледник? Это ни в какие ворота!

— А ты думаешь, кто-то из постояльцев страдает лунатизмом?

Дедушка присел на корточки и стал собирать остатки пищи.

— Изжевана, ничего не скажешь. А других собак поблизости не наблюдается. Гм. Да. Гм.

— Лучше потолкуй с ним. Скажи Псу, еще раз такое повторится, и на воскресный обеденный стол подадут фаршированную рисом собаку. А теперь прочь с дороги. У меня в руках тряпка!

Тряпка опустилась, и дедушка, отступая, попытался ругнуться, но не сильно, и вышел на крыльцо.

— Пес! — позвал он. — Есть разговор!

Но Пес сидел тише воды, ниже…

Список катастроф, грозящих перерасти в катаклизм, разрастался. Казалось, по крышам галопом скачут все Четыре Всадника Апокалипсиса, сбивая с веток яблоки и обрекая на гниение. Дедушка заподозрил, что его пригласили на некий зловещий жирный вторник — *mardi gras*, который мог окончиться ночным недержанием мочи, хлопающими дверями, шлепнувшимися пирожными и опечатками.

А факты были таковы: Пес вернулся с той стороны улицы, но не успел он зайти, как снова убежал — шерсть дыбом, глазищи от страха — как яйца вкрутую. А с ним был таков и мистер Винески, верный постоялец и городской брадобрей на все времена. Мистер Винески дал понять, что сыт по горло Бенджамином, который скрежещет зубами за столом.

Почему бы, намекнул он далее дедушке, не привести городского зубодера, чтобы тот удалил у мальчишки коренные зубы-молотилки или же сдал бы сорванца в аренду на мукомольню, и пусть зарабатывает на свое содержание!

«Меня не отбрить!» — подытожил мистер Винески. Он рано уходил и засиживался в парикмахерской допоздна. Временами он возвращался для полуденного сна, но тут же поворачивался и уходил, завидев неподвижно сидящего Пса на лужайке.

Хуже того — постояльцы раскачивались в креслах со скоростью сорок раз в минуту, словно неслись, не разбирая дороги, вместо того чтобы мерно покачиваться раз в двадцать секунд, как в старые добрые времена — всего месяц назад.

Это качание и кот, спускающийся с крыши, служили мистеру Винески барометром. Стоило ему это наблюдать, как он бежал со всех ног за незаменимым бабушкиным полдничным печеньем.

Кстати, про кота. Примерно в то же время, когда Пес отправился вплетать клевер в свою дрожащую шкуру, кот вскарабкался на крышу, где он носился и орал по ночам, и выцарапывал на рубероиде иероглифы, которые дедушка пытался расшифровывать каждое утро.

Мистер Винески даже добровольно вызвался приставить лестницу и снять кота, дабы спокойно спать по ночам. Когда это было исполнено, кот, напуганный некоей невидимой силой, стремглав вернулся на крышу, расцарапав при этом кровлю, готовый вздрогнуть от любого палого листа или порыва ветра, а тем временем Бенджамин наблюдал за происходящим из окна своей комнаты…

В конце концов дедушка согласился положить сметаны и тунца в дождевой лоток, куда изголодавшийся дрожащий кот спускался раз в день на кормежку и в панике улепетывал.

Если парикмахер прятался в своем ателье, Пес — на лужайке, а кот на крыше, то дедушка начал допускать опечатки в своем типографском дворце. Некоторые опечатки превращались в словечки, которые он частенько слышал от котельщиков и работяг-железнодорожников, но сам никогда ими не увлекался.

В тот день, когда дедушка вместо «горячие сосиски» напечатал «горячие сиськи», он сорвал с себя свой зеленый целлулоидный козырек, измял запачканный типографской краской фартук и пришел домой раньше обычного, запить это дело вином до обеда, а также после оного.

— Кризис, ни дать ни взять.

— Что? — спросила бабушка, сидя поздно вечером на крыльце.

Дедушка не сразу сообразил, что проговорился. И спас положение тем, что залил в себя еще вина.

— Ничего, ничего, — сказал он.

Но на самом-то деле очень даже чего. Прислушавшись, он, кажется, начал понимать причины апокалипсиса над головой: Бенджамин пережевывал тишину своими коренными зубами, перемалывая летние деньки со скрежетом тормозящего локомотива. И все это зубами, которые становились все острее…

Эта ночь решающая. Иначе нельзя. В противном случае днем позже кот бросится с крыши, Пес загниет в траве, парикмахера увезут в психушку, лепечущего на разных языках.

То засыпая, то пробуждаясь от тяжелого сна, дедушка проснулся и сел в постели.

Он что-то *услышал*. На этот раз он *точно* что-то услышал.

До него дошел звук из старого фильма, но он не помнил, где или что, и запамятовал, когда.

Но звук потревожил его замшелые уши, душу и мышцы на ногах, словно у него начала пробиваться новая диковинная растительность на коже.

На дальнем краю кровати он увидел пальцы ног, которые, словно мышки, всматривались в жутковатую ночь, и втянул их под одеяло.

Он слышал истеричные пляски кота на крыше мансарды. Пес на пустыре выл на луну, но никакой луны не было в помине!

Дедушка прислушался, затаив дыхание. Но звук не повторился и не отозвался эхом, не отскочил рикошетом от башни над зданием суда.

Он повернулся на бок и уже был готов погрузиться в черную смолистую жижу сна на миллиард лет. И тут его осенило. Странно! Постой-ка! Почему смола? Почему миллиард лет? Почему сон?

От этих мыслей дедушка резко встал, выскочил из постели, спустился в подвал, по пути накидывая халат. В подвале он оделся и пропустил один глоток вина, и ему подумалось, а почему не три глотка?

В библиотеке, покончив с возлияниями, он, наконец, расслышал слабый звук и не без труда поднялся в комнату Бенджамина.

Бенджамин лежал с испариной на лбу, смахивая ни больше ни меньше на любовника после свидания с роскошной женщиной, как на греческой вазе в нескольких картинах. Дедушка усмехнулся про себя. Что ты, старик, он же еще мальчик…

Он повернулся и чуть было не споткнулся о сваленные на пол книги. А еще они лежали на полках раскрытыми для обозрения.

— Э, Бенджамин, я и не знал, что их у тебя так много! — изумился он.

Ибо во множестве, на барельефах, на гобеленах и в музейных экспозициях лежали полсотни книг, раскрытых и распластанных, на страницах которых динозавры скалили зубы, рыскали, когтили доисторическую мглу, парили в небе, словно воздушные змеи, на перепончатых крыльях, тугих, словно барабаны, или вытягивали телескопические удавьи шеи из болот, источающих миазмы. Или, разинув пасти, смотрели на исходящее ливнем небо, погрязая и пропадая в гробницах черных смол. И терялись в миллиардах лет, которые пробудили старика.

— Не видывал ничего подобного, — прошептал он.

Действительно, не видывал.

Лики. Тулова. Паучьи лапищи, мясистые ножищи, изящные балетные ступни — что угодно для души! Когти-клещи-скальпели обезумевшего хирурга, кромсающего плоть собратьев своих на тончайшие паштеты и фарш для сэндвичей. Вот трицератопс перепахивает рогами пески джунглей. Его заваливает и отправляет в небытие тиранозавр-рекс. Вот, словно надменный «Титаник», бронтозавр величаво плывет навстречу невидимым столкновениям с плотью, временем, погодой и ледяными горами, надвигающимися в южном направлении на сушу в ледниковый период. В вышине — воздушные змеи без привязи, бомбовозы-птеродактили из ночного кошмара, стригущие мглу. Ветер играет на их перепонках, как на барабанах. Они машут-хлопают крыльями, как уродливыми опахалами, словно это книги-ужастики в иссушенном убийственном пунцовом небе.

— Так-так…

Дедушка мрачно и решительно нагнулся, чтобы захлопнуть книги.

Он спустился по лестнице за новыми книгами, своими собственными. Он принес их наверх, раскрыл и разложил на полу, на полках, на кровати.

Постоял с минуту посреди комнаты и услышал собственный шепот:

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Мальчик расслышал его слова сквозь горячечный сон. Его голова ударилась о подушку, рука упала в попытке притронуться к сну.

— Я…

Старик ждал.

— Я, — пробормотал мальчик. — Я… расту… *сейчас.*

— Что?

— Прямо сейчас… сейчас, — шептал Бенджамин.

По его губам и щекам ползали тени.

Дедушка склонился над ним и пристально посмотрел.

— Бен, зачем, — строго произнес дед, — ты скрипишь и скрежещешь зубами? И…

Струйка крови возникла на плотно сжатых губах ребенка. Яркая капелька попала на наволочку и растворилась в ней.

— Пора положить этому конец.

Дед сел и спокойно, но уверенно взял дрожащие запястья Бенджамина в свои руки. Он подался вперед и принялся давать наставления:

— Спи, Бен, спи, но… *слушай, что я тебе говорю*!

Бенджамин мотал головой, морщился, обливался потом, но… слушал.

— Итак, — тихо промолвил дедушка, — то, что ты затеял, или то, что я подозреваю, что ты затеял, никуда не годится. Я не совсем знаю, что это, и знать не хочу, но что бы это ни было — с этим пора кончать.

Он замолк, собрался с мыслями и продолжил:

— Журналы захлопываются, книги возвращаются в библиотеку, курица в леднике остается нерастерзанной, собака приходит с пустыря, кот слезает с крыши, мистер Винески возвращается за наш стол, постояльцы прекращают воровать мое вино, чтобы пережить ночь, полную жутких звуков.

— Теперь слушай внимательно. С музеем Фильда — покончено. Хватит с тебя костей, стоматологических карт с допотопными оскалами, довольно театра теней на стенах кинотеатров с призраками из доисторических эпох. С тобой говорит твой дедушка и советует, говорит с тобой о своей любви, но решительно и бесповоротно предупреждает — что этому положен конец!

— Иначе весь дом будет разорен. Чердак провалится в подвал сквозь спальни, гостиную и кухню и погубит припасы, заготовленные летом, задавит бабушку, меня и постояльцев в придачу.

— Мы ведь не можем себе этого позволить? А сказать, что мы можем? *Вот*, смотри!

— Ночью, когда я удалюсь, а ты встанешь, чтобы пойти в туалет, то увидишь то, что я разложил для тебя на полу, что там раскрыто и дожидается тебя. Ты найдешь монстра, чудовище, частью которого ты станешь, который ревет и рычит, носится и пожирает огонь, сокращает время.

— Другой зверь? Именно, но великий и благородный. Тот, с кем ты можешь слиться, срастись. Слушай меня в своем сне, Бен, и ночью перед сном погрузись в *эти* книги, страницы, картинки. Договорились?

Старик обернулся на принесенные им книги, разложенные на полу спальни, словно магические знаки.

Изображения извергнутых из Ада исполинов — огнедышащих локомотивов, исторгающих в ночное небо пламя и сажу, дожидались пристального изучения. А верхом на зловещих чудищах — машинисты в три погибели раздувают огненные бури, счастливо, по-паровозному, скалят зубы.

— Вот фуражка машиниста, Бенджамин, — прошептал дедушка. — Дорасти до нее головой, мозгами, но главное, дорасти до нее в своих мечтах. Всем мальчишкам хватит дикой природы; впереди жизнь, полная странствий и славы.

Старик впился глазами в огненные машины, завидуя изяществу их поршней, воображая, какие дикие доисторические звуки они изрыгали.

— Ты слышишь меня, Бен? Ты *слушаешь*?

Мальчик зашевелился, застонал во сне.

— Я очень надеюсь на это, — проговорил дед.

Дверь спальни захлопнулась. Старик ушел. Дом спал. Далекий поезд завывал в ночи. Бенджамин последний раз повернулся во сне, и лихорадка прошла. Испарина на его светлом лбу исчезла. Ветерок из распахнутого окна поигрывал страницами всех книг, вызывая к жизни одно стальное чудовище за другим…

На следующее утро, в воскресенье, Бенджамин вышел к завтраку поздно. Он спал долгим тяжким сном, полным сновидений, молитв, желаний, котомок с чем-то, чьих-то костей, плоти и крови, чего-то утерянного, прошедшего, канувшего, многообещающего будущего.

Он медленно спустился по ступенькам, и от него веяло свежестью и чистотой.

Немногочисленные постояльцы, все еще сидевшие за столом, при виде его повставали с мест, вытерли салфетками губы и ретировались в надежде, что их отступление не будет выглядеть беспорядочным.

Дедушка на своем конце стола сделал вид, будто читает международные новости на первой полосе газеты, но все это время его глаза глядели поверх заголовков, наблюдая за тем, как Бенджамин садится, берет нож и вилку и ждет, когда бабушка принесет ему стопку блинчиков, политых жидким золотом солнца.

— Доброе утро, Бенджамин, — сказала бабушка, возвращаясь к своим делам.

Бенджамин молча ждал. Казалось, он, приоткрыв глаза, о чем-то думает, размышляет, взвешивает «за» и «против».

— Бенджамин, — сказал дедушка из-за газеты. — Доброе утро.

Бенджамин сидел, таинственно сжав губы, по-прежнему погруженный в раздумья.

Стол замер в безмолвном ожидании.

Дедушка не мог не податься вперед. Его ноги были напряжены. Когда губы мальчика разомкнутся, что исторгнет его глотка — жуткий вопль древних времен, душераздирающий крик, возвещающий о начале новой карьеры юного Бенджамина? Будет его улыбка оскалом кинжальных зубов, а язык окровавленным?

Дедушка оглянулся по сторонам.

Пес, вернувшийся с пустыря, только что просеменил в кухню — цапнуть печенья. Кот, спустившийся с крыши, облизывал сметану с усов, терся о правую голень бабушки. А мистер Винески? Поднимется ли он снова по лестнице?

— Бен, — поинтересовался, наконец, дедушка, — ну и кем, кроме динозавра, ты хочешь стать, когда вырастешь?

Бенджамин поднял голову и улыбнулся, обнажив ряд обычных изящных зубов-кукурузных ядрышек. Между губ пришел в движение язык. С колен он поднял и надел полосатую фуражку машиниста, которая, хоть и была великовата, отлично ему шла.

Вдалеке, на грани ночи и утра, просигналил поезд.

— Ты ведь знаешь, дедушка. Правда, знаешь.

И уже без скрежета зубовного он принялся поглощать свой завтрак. Дедушке оставалось только последовать его примеру. В дверях за происходящим наблюдали пес и кот.

Бабушка, которая так ни о чем и не догадалась, пришла с новой порцией блинчиков и вышла за сиропом.

Перевод с английского Арама ОГАНЯНА.



О стихах Брэдбери

Кроме 27 романов и более 600 рассказов Рэй Брэдбери написал и опубликовал несколько поэтических книг. Для этой подборки мы выбрали только два стихотворения, которые, пожалуй, знакомы сегодня всем пользователям Всемирной сети — именно они появляются на самых разных сайтах и нравятся, судя по откликам, десяткам тысяч читателей в самых разных странах.

В первом стихотворении внимательный читатель сразу услышит знакомые мотивы автобиографических произведений Брэдбери. Здесь знаменитый овраг из его романа «Вино из одуванчиков», да и сами одуванчиковые парашютики то и дело пролетают между строчек. Тут ничего говорить не надо.

Второе стихотворение — одно из немногих, что хранится в электронных анналах Интернета в авторском чтении. 12 ноября 1971 года Брэдбери выступил перед большой аудиторией в крупнейшем техническом университете Калифорнии вместе с двумя выдающимися астрофизиками — Карлом Саганом и Брюсом Мюрреем и своим коллегой по писательскому цеху Артуром Кларком.

Был он в расцвете сил и таланта, много шутил. Например, рассказал, что, когда рассеются марсианские облака, в телеобъективах космического аппарата «Маринер-9» — а именно к этому полету на Марс была приурочена встреча ученых и писателей, — появятся толпы марсиан с плакатами «Брэдбери был прав!».

Аудитория от души смеялась, и громче всех сам писатель. А потом он сообщил, что публике не избежать испытания стихами: он, дескать, всегда готовит стихотворение для таких встреч — но на этот раз, слава богу, стихотворение короткое и терпеть его чтение недолго. Но в этом стихотворении, по словам автора, он попытался выразить свою философию фантастики и свое отношение к идее межзвездных полетов.

Наверное, его можно считать программным произведением Рэя Брэдбери. В нем все то, что делает его писательский мир неповторимым: впечатления детства, дорастающие до размеров необозримой и поэтичной метафоры, наука познаваемого и непознаваемое нечто, а главное — страстная, рвущаяся в грядущее мечта о сегодняшнем счастье. В конце концов, это лучшее, что может дать нам фантастика Рэя Брэдбери.

Давайте читать и — мечтать.

Юрий МАСЛОВ

РЭЙ БРЭДБЕРИ

И жизни — вечной — мы откроем суть

Воспоминание

Я вспомнил, что сюда мы и ходили,
Тут напрямик, а там по тропке вниз,
И сорок лет прошло…

Вернувшись в город детства,
Брожу по улицам и вижу дом, где вырос,
Где в детстве дни тянулись бесконечно.
Теперь-то стали дни куда короче,
И хочется все вспомнить, пережить
Мгновенья в лабиринтах долгих дней,
Найти места, где я мальчишкой бегал,
Щенок шумливый, по тропинкам тайным —
Их чуть ли не индейцы протоптали,
А может, старшие, игравшие в индейцев.

И вот овраг…
Едва держась, по склону
С трудом спускаюсь вниз —
Весь в седине уже, но мысли молодые —
И вижу, что в овраге никого.
Эх, вы! — подумалось. — *Теперешние, что ж вы?*
Вам невдомек, что здесь ворота в Бездну…

Овраг-то не простой, заросший густо,
Овраг опасен: там злодей таится,
А тут кочуют пчелы-медоносы
С ворованным нектаром. Гулким эхом
Склон отзывается на плеск воды в ручье,
Где видел я такие чудеса:
То водомерку, то рачка, то целый
Резиновый сапог…
Сокровищ сколько! А нынче ни души.
Что с нашими мальчишками случилось,
Что не глядят они, застыв от изумленья,
Как сок древесный, кровь Христа, стекает?
И отчего здесь только пчелы, ветер, несмятая трава?
Но будет. Дальше.
Дальше.
Вспоминай…

Я к дубу подхожу. Мне лет двенадцать,
Когда залез наверх и ну орать,
Чтоб сняли поскорей. Вдруг показалось,
Что я забрался страх как высоко,
И я кричал, зажмурившись, а старший
Мой брат, веселый парень, хохоча,
Полез спасать.
«Рожна какого лез-то?» —
Спросил он, я молчал в ответ. Хоть режьте,
Не расскажу. Ведь я хотел в дупле
Свое письмо секретное оставить.
Но тот секрет я позабыл давно.

И вновь овраг.
На склоне зрелых лет
Под тем же дубом думаю: *О Боже,*
Дуб не высокий. Что ж я так орал?
От силы метров пять. Ей-богу, влезу.
И я полез,
Пыхтя, за ствол хватаясь
С проворством старого орангутанга.
Как хорошо, что некому смеяться
Над стариковским трюком… Наконец-то!
Взобрался — и, о господи, вот чудо!
Дупло на старом месте оказалось.

На ветке лежа, долго отдувался,
Вдыхал листву, и облака, и ветер,
Без мыслей,
Будто в детство окунулся.
Подумалось: «А может?» Нет, конечно!
Сто лет прошло! Записки нет. Пропала.
Другой мальчишка — или глупый филин —
Давно порвал, и мелкие обрывки
Развеял ветер времени, как белый
Дым летних одуванчиков над речкой…
Нет.
Нет, конечно. Я просунул руку
В дупло. Нет ничего. Я руку глубже
Просунул. Снова ничего. И вдруг —
Не может быть! —
Там зашуршал
Листок.
Весь хрупкий, словно крылья мотылька,
Ни дождь не смыл, ни солнце не сожгло.
Листок лег на ладонь, таким как был —
Из школьной разлинованной тетради…
Так что же, что тогда я написал
Так много лет назад?
Я развернул
Листок — пришла пора прочесть.
Прочел, и слезы подступили. Я приник
К ветвям покрепче, чтоб поплакать вволю.

О, мальчик милый! Странный мой! Ты слышал
Шум времени, ты ведал сладкий запах

Цветов могильных во дворе церковном.
Ты написал письмо мне, будущему мне,
Ты знал, что я приду, что я вернусь.
Посланье мальчика — мне, что немало прожил,
Зеленого — тому, кто уж не зелен…
Так что в нем было, отчего я плакал?

Я не забыл тебя.
Я *не забыл* тебя.

Если б только выше были

Там, посредине меж землей
И небом — сколько долгих лет! —
Как будто бы забор и сад,
Где персики в листве.
Туда тянулись мы, все силились достать,
Почти коснуться неба — и никак.
И думалось: еще бы нам чуть-чуть,
И жизни — вечной — мы откроем суть…

А персик сладок!
Мы их собирали,
Но до небес так и не доставали.
О, если б только выше были мы —
Мы тронули бы край Его порфиры,
Чтоб никогда не расставаться с миром
И уходить, как те, кто шел до нас,
Кто так старался вырасти, надеясь
Страну и дом, очаг и плоть, и душу —
Все сохранить, покуда сил хватало…
Но, как и нам, им роста недостало.

Наступит день — и станем выше мы,
Измерим глубину вселенской тьмы
Огнем своих ракет.
И длань Господня,
Та, что простерта на Сикстинской фреске,
Потянется к Адамовой и взвесит
Весь род людской, и станет человек
Под стать Вселенной, обретя навек
Дар светлый вековечного сегодня.

Пускай я мал, но многого хочу —
И потому вдаль звездолеты мчу.
И вновь и вновь, усилий не щадя,
Я вслушиваюсь в гул на площадях
Космических и крик хочу услышать:
До Альфы Центавра мы долетели,
слышите?
Мы стали выше! Боже, мы стали выше!

Перевод с английского Юрия МАСЛОВА.

Читая времени страницы...

У книги М. Белевской (Летягиной) «Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилеве. 1915—1918 гг.» есть конкретный подзаголовок: «Личные воспоминания». И все же, на мой субъективный взгляд, написанное выходит далеко за рамки личного. Персонифицированный подход к событиям, известным историческим лицам, от которых зависели судьбы стран и народов, интересен вниманием к деталям, каждая из которых с высоты сегодняшнего дня представляется значимым художественным и социальным символом уже ушедшей эпохи. ...Идет война, в Могилеве сконцентрирована вся информация, которая позволяет принимать решения, влияющие на развитие самых серьезных событий. И вместе с этим... «Царская семья ежедневно на двух автомобилях ездила за город, а иногда делала и большие прогулки в соседние уезды. Могилевские окрестности всей семье очень нравились, и Государыня даже хотела купить для себя имение Жуковского «Дашковку», расположенную на высоком берегу Днепра. Но Жуковский, старый богатый помещик, не захотел продать своего родового имения, и Царица наметила себе другое имение поблизости от Могилева.

Царские дочери свободно, без всякой охраны, часто гуляли по городу и любили заходить в могилевские лавочки и делать покупки...»

Публикацией «личных воспоминаний» одной из писательниц русского зарубежья журнал «Нёман» очерчивает еще одно важное направление, которое вполне могло бы расширить популярность известного белорусского литературно-художественного издания на современном этапе. События в Беларуси, на одной из окраин Российской империи, всегда интересовали писателей, работающих в русской литературе. Причем не все книги такого характера были достаточно тиражными. А по прошествии нескольких десятилетий, а в некоторых случаях — столетия и больше, и вовсе оказываются забытыми и вовсе не известными широкому читателю.

Возможно, журналу следовало бы вместе с читателем нового поколения «перечитать» автобиографию Франца Домбровского (родился в 1851 году в Витебске) «Артист-наборщик, наборщик-писатель» (впервые опубликована в 1909 году). Сама судьба Франца Викентьевича — удивительно интересное повествование о разных временах. А журналист, литературный критик, переводчик Алексей Дробыш-Дробышевский?.. Его статьи «Адам Мицкевич» (1895) и «Юлий Словацкий: поэт и мистик» (1901) — это не только литературно-критические изыски. Уроженец Могилева (родился Алексей Алексеевич в городе на Днепре в 1856 году) пытался нарисовать портрет Адама Мицкевича как предшественника Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, указывал на сходство мистических мотивов.

Возвращения к читателю заслуживает и творческое наследие публициста, военного историка, журналиста Юлия (Юлиана) Ельца, выход-

ца из дворян Гродненской губернии (родился в 1862 году). В 1888 году Юлиан Лукьянович окончил Академию Генерального Штаба. Служил в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Написал его двухтомную официальную историю. В русско-японскую войну 1904—1905 гг. работал корреспонденом газеты «Новое время». В отставку уволен в 1908 году в чине полковника. В 1890-е годы дружил и сотрудничал с В. Крестовским. А что следовало бы перечитать? Роман «На крестном пути», где во всех красках многогранной правды нарисованы и 1917 год, и Гражданская война, а еще — «Памятку гродненского гусара» (1894).

Из среды виленских литераторов русского зарубежья и наш сородич Александр Владимирович Жиркевич (1857—1927), литератор, военный юрист, коллекционер. По-своему уникальная творческая личность! В 1908 году принял должность военного судьи и звание генерал-майора. Но через несколько месяцев ушел в отставку. Причина? Протест против введения военно-полевых судов. Выступил А. Жиркевич и против смертной казни для политических заключенных. Что издавать, что возвращать к жизни? «Дневник», который хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого. В течение почти 50 лет А. Киркевич вел записи о множестве своих встреч — с Л. Н. Толстым, А. А. Фетом, А. Кони, И. К. Айвазовским и другими знаковыми деятелями культуры, искусства, литературы конца XIX — начала XX столетия.

Почему бы не переиздать в журнальном формате и автобиографическую книгу литературоведа «В тюрьме и ссылке» Льва Клейнборта, больше известного по своей литературоведческой монографии «Молодая Белоруссия»? Напомним: родился Лев Наумович (Лейб Нахманович) в 1875 году в Копыле. Окончил Слуцкую гимназию. Учился в Петербургском университете. В 1901 году исключен за участие в революционном движении. Неоднократно был арестован, находился в царской тюрьме.

...М. Белевская, предваряя свои «личные воспоминания», замечает, что «бытовая сторона событий, так как она проявлялась и воспринималась в будничной жизни провинциального обывателя, все же может представить некоторый интерес». А я бы добавил, что «личные воспоминания» представляют достаточно большой интерес. И в этом вы можете убедиться сами, прочитав записки «Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилеве. 1915—1918 гг.».

Михаил ПРИМАКА

МАРИНА БЕЛЕВСКАЯ

Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилеве (1915—1918 гг.)[*]

Личные воспоминания (Вильно, 1932 г.)

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы…
М. Лермонтов

От автора

Я жила в Могилеве во время войны и в первые годы Революции.

Я видела людей и наблюдала внешнюю сторону событий, имевших роковое значение в судьбе России.

Я не вхожу в оценку внутреннего смысла событий, не сужу об их политическом значении и ограничиваюсь только тем, что видела и слышала сама.

То, о чем я пишу, является мелкими штрихами, беглыми силуэтами, но так как все это относится ко времени исключительному, которого Россия никогда не забудет, к событиям, в которых каждая мелочная черточка важна, я решаюсь опубликовать свои воспоминания.

Позволяю себе думать, что бытовая сторона событий, так, как она проявлялась и воспринималась в будничной жизни провинциального обывателя, все же может представить некоторый интерес.

Могилев до войны

До войны Могилев ничем не был замечателен и ничем не выделялся из ряда многочисленных русских губернских городов.

Он уютно и живописно расположился на высоком правом берегу Днепра, широко раскинув по низкому луговому берегу свое предместье с очень неблагозвучным названием Луполово, объяснявшимся тем, что большинство населения занималось кожевенным промыслом.

Две главные улицы параллельными линиями пересекали город и упирались, как водится, в небольшую площадь, на которой находился двухэтажный губернаторский дом, окружной суд и другие присутственные места, так сказать, мозг и сердце целой губернии.

Там же возвышалась старинная круглая башня-ратуша, воспоминание о старине глубокой, свидетельница долгих и упорных споров между Россией и Польшей, дававшая приют на своем фронтоне уставшим от боя и празднующим победу то польскому белому орлу, то двуглавому, русскому.

---

[1] Публикуется в авторской редакции.

В конце площади был расположен городской сад, называвшийся Валом, с широкими тенистыми аллеями и очень красивым видом на Днепр. По праздникам на Валу устраивались гулянья. Играл военный оркестр. Аллеи заполнялись публикой. В обыкновенные дни было тихо, торжественно и красиво. У входа стояла арка, на которой крупными буквами было написано: «Добро пожаловать», а с обратной стороны: «Вернитесь, погуляйте еще!»

Ни фабрик, ни заводов, ни крупной торговли в Могилеве не было, он имел значение исключительно как административный центр.

Зимой давались три бала — студенческий, польский и судейский. К ним долго готовились и о них долго вспоминали.

Объявление войны всколыхнуло Могилев, как и всю Россию, но значительно не изменило обычное течение его жизни. Так же чиновники ходили утром на службу, а вечером играли в карты, так же сплетничали кумушки, так же важный полицмейстер ездил на паре лошадей и наводил порядок.

Первыми ласточками войны были ковенские евреи. Неожиданно весь Могилев наводнился многочисленными повозками, наполненными домашним скарбом, пуховиками и подушками, из которых выглядывали испуганные физиономии стариков, старух и детей. Зрелище было невиданное, и каждый останавливался и с удивлением смотрел на эту бесконечную процессию. Запрудив всю улицу, от вокзала до Собора, повозки остановились, и евреи начали слезать с телег, пугливо озираясь по сторонам. Оказалось, что это евреи из Ковно, выселенные в трехдневный срок из крепости, по приказу начальства, как элемент малонадежный и опасный. Возражать не рекомендовалось. Надо было немедленно складывать пожитки и ехать в неизвестном направлении. По дороге им приказано было ехать в Могилев и жить там до конца войны.

За время длинного и тяжелого переезда фронт передвинулся, и Ставка должна была быть переведена из Барановичей в Могилев.

О присутствии в Ставке столь опасных беженцев не могло быть и речи.

Как только все эти измученные долгим переездом люди приехали к месту назначения, им было приказано в 24 часа выехать из Могилева и ехать не то в Тамбов, не то в Пензу. Тут нервы этих людей не выдержали, — они начали вопить, воздевая руки к небу.

Но их некому было слушать.

Образовавшийся комитет из еврейской интеллигенции испугался за собственную судьбу: «Сегодня они, а завтра мы».

Им собрали в дорогу какие-то гроши, и уже утром в Могилеве их не было.

Длинный переезд из Ковно до Могилева поглотил все их средства, и неизвестно, как они добрались до назначенного пункта.

Второе зрелище было еще трагичнее.

Первые были люди, которые могли что-то продать, кого-то попросить, кому-то что-то объяснить; вторая же партия, наводнившая все окрестности Могилева, — была безгласна. Их жалоб никто не слышал. И они умирали голодной смертью без криков и проклятий.

Это был скот из Польши. По приказу свыше весь польский скот, чтобы не попасть в руки врага, был эвакуирован вглубь России.

Предусмотрено было все, за исключением фуража.

Тысячи коров и лошадей падали в дороге.

Подвоз фуража к месту их стоянок не был организован, и они шли, шли, еле передвигая ноги.

К Могилеву подошло стадо скелетов, обтянутых кожей, издыхающее и наводящее ужас. Был издан приказ распределить скот по усадьбам помещиков и крестьян, но никто не хотел брать больных и зараженных животных. Те, кто из жалости брали, давали приют на несколько дней, пока измученное животное не издыхало.

Председателем комиссии по устройству скота был назначен управляющий государственными имуществами Л. М. Чанцев. Он был хороший, честный чело-

век, но не чудотворец. Спасти агонизирующее стадо он не мог, и тысячи туш разлагались по дорогам, заражая воздух зловонием.

Эти, вторые беженцы, уже наглядно показали, что где-то не все благополучно, что при таких порядках ждать скорой победы не приходится.

Вскоре появились и действительные жертвы войны — раненые. Их несли на носилках с вокзала бледных, умирающих, и могилевцы с отчаянием слушали их стоны. Война дошла и до Могилева и заставила доброго старого обывателя снять розовые очки и посмотреть на происходящие события более серьезно. Образовались комитеты помощи раненым, дамы надели косынки сестер милосердия, у губернаторши, г-жи Пильц, начали шить белье и снаряжать лазареты.

Приезд Ставки всех всколыхнул.

Тихий маленький Могилев становился центром войны, в нем должны были разрешаться важнейшие вопросы, и могилевский обыватель понял, что он неожиданно попал в свидетели мировых событий, начал приглядываться к лицам, от которых зависела жизнь миллионов людей на фронте и существование всей нации.

Могилевские улицы наводнились автомобилями Ставки, тротуары наполнились офицерами штабов и военных канцелярий, гостиницы и частные квартиры были заняты для иностранных представителей союзных держав и высших представителей военного мира. Маленький провинциальный городок, как по мановению волшебного жезла, изменил свой облик. Он стал вооруженным лагерем, шумным и деловым. Каждый обыватель смотрел на окна б. губернаторского дома, где жил Верховный Главнокомандующий и откуда исходили приказы, которым беспрекословно подчинялись миллионы людей.

Главнокомандующие менялись — их было много — Николай Николаевич, Государь, генерал Алексеев, генерал Духонин, Керенский, Крыленко, — обыватель был все тот же.

Он тихо сидел в своей квартире и уголком глаза наблюдал за событиями.

Ставка Верховного Главнокомандующего

О дне приезда Главнокомандующего В. к. Николая Николаевича никто не знал, но его присутствие в Могилеве всеми почувствовалось.

В городе стало торжественно и тихо.

Чувствовалось деловое напряжение в Ставке, и это передавалось обывателям. Никто не запрещал ходить мимо дома, где жил Николай Николаевич, но как будто по какому-то сговору все старались обходить этот дом и около окон Главнокомандующего не появляться. Чувствовалась та ответственная и громадная работа, которая там шла, и каждый старался насколько мог если не помочь, то облегчить эту работу. В Ставку входили только лица, имеющие к ней отношение, и к этим людям чувствовалось какое-то невольное уважение.

Каждый обыватель понимал, что малейшая ошибка там — смерть России, понимал и заботливо оберегал покой Главнокомандующего. Идя по улице, из которой был виден белый дом Ставки, каждый старался не смотреть на него и не проявлять праздного любопытства.

И только ночью, с берега Днепра, откуда видны были освещенные окна ставочного дома, обыватель смотрел на них с благоговением, глубоко веря, что, несмотря не тревожные сведения с фронта, Главнокомандующему удастся справиться и что Россия выйдет и должна выйти победительницею.

О суровости характера Николая Николаевича все знали. Знали, что он требователен и груб с офицерами, не считается ни с чином, ни со званием, но каждый понимал, что так должно быть, особенно во время войны, когда слабость Главнокомандующего могла погубить все дело. Николай Николаевич почти не появлялся в городе, и за все время его пребывания в Могилеве мне удалось только один раз его увидеть и воочию убедиться, что Николай Николаевич шутить не любит.

Незадолго до этого был издан приказ Попечителем Красного Креста принцем Ольденбургским, что офицеры не могут появляться на улице и в общественных местах вместе с сестрами милосердия. По-видимому, жизнь на фронте диктовала столь странное решение, и к Могилеву в те времена этот приказ мог и не относиться. Лазаретов было мало, сестры, местные дамы, во времена пребывания в Ставке Великого князя Николая Николаевича, никаких знакомств с офицерами не вели.

Но как-то раз немолодой полковник, возвратившийся с фронта вместе со своей женой, сестрой милосердия, ехал на извозчике по главной улице города.

В это время незаметно выплыл с площади автомобиль Главнокомандующего.

Великий князь, большой и суровый, сидел в нем нахмурившись, не смотря по сторонам и не отвечая на поклоны. Но офицера и сестру, ехавших ему навстречу, он заметил. Я стояла на тротуаре, никакого отношения к проезжавшей паре не имела, но мне стало страшно: так исказилось злобой лицо князя, так страшен он стал в этой злобе!

Он встал в автомобиле во весь свой могучий рост и, пока пролетка с несчастными седоками не скрылась из виду, продолжал стоять, испепеляя взглядом перепуганное супружество.

Николай Николаевич недолго пробыл в Могилеве. На фронте дела шли все хуже, но вера, что все изменится к лучшему, никого не покидала. Смещение Николая Николаевича произошло внезапно. Может быть, в кругах близких к Ставке об этом и знали, но обыватель узнал уже готовое решение. Николай Николаевич уехал так же незаметно, как и прибыл.

Никто не радовался, что Государь на свои плечи взвалил столь ответственное и страшное дело. Невольно почувствовалось, что приближается какая-то неслыханная катастрофа, что Государь делает ошибку, беря на себя такую ответственность.

Сейчас трудно сказать, как развернулись бы события, если бы Государь не брал на себя главного командования, но по резкой перемене в настроении Ставки каждый, кто хоть немного задумывался над происходящими событиями, видел, что это начало конца.

При Николае Николаевиче Ставка была военным лагерем, деловым и строгим. С первых же дней приезда Государя она внешне потеряла этот облик.

Сразу все изменилось.

Приехала оперетка, которой не было при Николае Николаевиче, театр был до отказа набит дамами и ставочными офицерами. Начались какие-то подношения артистке Лабунской и Грекову, появилась какая-то модная молодая опереточная примадонна, снискавшая кучу поклонников, начались автомобильные поездки к заставному домику, открылся новоявленный ресторан в особняке высланного немца пивовара Яника.

Все распустилось, и стало видно всякому, что машина начинает давать перебои.

Приехали великие князья, которых раньше не было, а если и были, то незаметно работали в штабе. Теперь на улицах Могилева то и дело можно было видеть Царицу, наследника, князей: Дмитрия Павловича, Бориса Владимировича и других лиц Царского Дома и свиты.

Место Ставки — Могилев приобрел вид резиденции царской семьи, и война отходила на второй план, забывалась.

Жизнь была чересчур интересна, чтобы думать о столь тяжелых событиях. Понятно, ни Государь, ни Царская семья в этом виноваты не были, но была снята тяжелая рука, и сразу все почувствовали, что можно жить легко и весело, не думая о завтрашнем дне.

Самое ужасное, что вместе с приездом Государя появился и страшный слух о Распутине.

Слух этот варьировался, расширялся и, как снежный ком, облеплялся всякими подробностями и прикрасами. Об этом говорили все с наслаждением, с каким-то нескрываемым интересом, и чем слух был ужасней и грязней, тем сильнее действовал на воображение.

Не помню человека, который постарался бы опровергнуть или хотя бы смягчить страшные подробности этих сплетен.

Все принималось на веру, никто не хотел этого опровергать. Говорилось открыто, что Николая Николаевича убрали, чтобы Распутин имел доступ к тайнам командования, что он добивался и раньше приезда в Ставку, но что Николай Николаевич этому противился и должен был сдаться и уйти перед страшной распутинской силой.

Хотя ни при Николае Николаевиче, ни при Государе Распутин ни разу в Могилеве не был, слухи все же не унимались и, огибая Ставку, называли сообщников, которыми был якобы окружен Распутин. История со временем разъяснит роль Распутина при дворе, роль, может быть, и действительно вредную, но еще вреднее были эти страшные сплетни, которые проникали всюду, колебали авторитет Государя и как Царя, и как Главнокомандующего.

К Царице появилась общая ненависть. Она не видела не только любви, но и простого уважения. И если это случайно проявлялось, то ценилось и, видимо, доставляло и ей, и всей семье большую радость. Я лично видела, как Царица задерживала ежедневно свой автомобиль около домика старого учителя, жившего на краю города и ожидающего у окна проезда царской семьи на прогулку. Царица и царские дочери кланялись ему как родному и улыбались, стараясь взглядами показать, как они ценят его ожидания их проезда. После службы в ставочной церкви ему посылалась просфора от Государя, а его приемной дочери, девочке лет семи, от наследника. Иногда наследник подходил после службы к девочке и лично передавал ей просфору.

Необыкновенно приятное впечатление производил маленький наследник. Это было милое дитя, любознательное и веселое, и несомненно, в любой стране было бы любимым детищем своего народа.

Но русский народ его не любил. Приходилось слышать шепот в толпе при проезде наследника: «Этот царствовать не будет!»

Это говорилось с озлоблением. И говорившие не замечали перед собой веселого, симпатичного ребенка, они видели в нем будущего деспота, который со временем лишит их права на какую-то необыкновенно счастливую и свободную жизнь.

А наследник этого не видел.

Он с любопытством вертелся, сидя в автомобиле рядом со своим отцом, читал вывески и улыбался прохожим. Это было дитя, вырвавшееся из скучной дворцовой обстановки и имеющее возможность наблюдать подлинную жизнь. Для него устраивались игры с могилевскими детьми то на Валу, то где-нибудь в лесу около города, и играть с ним могли все дети без различия национальности и положения родителей.

Помню характерный случай с наследником в последнее лето перед революцией. Могилевские дамы устроили на Валу традиционную лотерею. О том, что будет наследник, не знали, но он пришел вместе с каким-то генералом. Дамы немедленно сообразили, что наследник пришел попытать счастья, и предложили ему осмотреть выигрыши. Его заинтересовало все: и самовары, и подушки, и карандаши, и пачки с цикорием. Он купил билет и выиграл, конечно, первый номер. Это был маленький улей с сотами и медом. Его радости не было границ. Он схватил улей и помчался домой показать свой выигрыш отцу. Его остановили и предложили через день взять выигрыш, т. к. по правилам лотереи выигрыши раздавались после окончания лотереи. Он огорчился и спросил у дам разрешения взять улей ненадолго и показать Государю. Ему, понятно, разрешили, и скоро улей стоял на своем месте.

Прошло всего несколько месяцев, и все изменилось.

Ребенок, видевший вокруг себя только поклонение, лесть и заботы, был кинут своим народом на растерзание дикой толпы, не знающей ни жалости, ни пощады.

Маленький и жалкий, он не понимал происходящих событий, и должно быть, это было самое ужасное, что пришлось пережить тем, кто его любил не только как наследника русского престола, но и как близкого ребенка.

Царская семья в Могилеве

Первый приезд Государыни в Ставку произошел очень торжественно.

На перроне вокзала помимо военных встречали царскую семью представители города, благотворительных организаций и наскоро организованный губернаторшей дамский комитет.

Царица в сопровождении дочерей вышла из поезда и медленно, еле передвигая ноги, пошла по направлению депутаций.

Я видела Государыню в Красном Селе в дни моего детства, и перемена в ней меня поразила. Тогда это была очень худая светлая блондинка со скорбными глазами и грустным, меланхолическим лицом. Здесь двигалась к нам очень полная женщина, темная шатенка, злая и надменная.

Перемена была поразительная: не то лицо, не тот весь облик, который запечатлелся у меня в памяти. Царица подошла к дамам и каждой протянула свою необыкновенно выхоленную и красивую руку. Дамы делали реверанс и целовали руку Царицы. Все это происходило в глубоком молчании, и старые женщины, прикладывавшиеся к руке, невольно чувствовали себя школьницами. Во время этой церемонии Царица не сказала ни одного слова и вряд ли даже видела, кто склоняется перед ней.

Когда царская семья уехала с вокзала, все дамы засуетились и старались говорить друг с другом о посторонних вещах. Явно Царица всем не понравилась, а в связи с всевозможными сплетнями каждая дама чувствовала какую-то неловкость, смущение от этой церемонии.

Четыре дочери стояли отдельно, и всех поразили их костюмы.

Они все как одна были одеты в светлые шляпы, коричневые короткие кофточки и юбки цвета бордо. Смесь этих цветов была так безвкусна, что вряд ли самая скромная провинциальная барышня могла бы так одеться. Сказалось ли в этом отсутствие вкуса у Государыни, или же нарочно во время войны подчеркивалась скромность царской семьи, неизвестно, но костюмы царских дочерей осуждались всеми.

Царская семья ежедневно на двух автомобилях ездила за город, а иногда делала и большие прогулки в соседние уезды. Могилевские окрестности всей семье очень нравились, и Государыня даже хотела купить для себя имение Жуковского, — Дашковку, расположенную на высоком берегу Днепра. Но Жуковский, старый богатый помещик, не захотел продать своего родового имения, и Царица наметила себе другое имение поблизости от Могилева.

Царские дочери свободно, без всякой охраны, часто гуляли по городу и любили заходить в могилевские лавочки и делать покупки.

Излюбленным ими местом покупок был галантерейный магазин Мэрки Бернштейн.

Если бы эта Мэрка жила не в Могилеве, а на Олимпе, то, несомненно, она бы носила громкое название «богини хаоса». Такой страшный сумбур в этой лавочке, так все было накидано и набросано по прилавкам.

Как разбирались в этом хаосе приказчицы — неведомо, но они умудрялись с невероятной быстротой из кучи лент, кружев и пуговиц извлекать необходимые вещи и не задерживать покупателей. Цены запрашивались феерические. Приказчицы знали психологию могилевских покупательниц и ломили втридорога. Они знали, что какую бы цену ни назначить, все равно придется торговать до четвертого пота и уступить 50 процентов от назначенной цены. Новые покупательницы, молоденькие и скромные, их поразили. Они не только не торговались, но просто просили завернуть им их покупки, не спрашивая о цене.

Княжнам, как и обыкновенным смертным, для чего-то нужны были пуговицы, нитки и ленты.

Должно быть, им просто нравилась сама процедура закупок, которой они были лишены в Царском и Петербурге. Радостные и оживленные выскакивали они из магазина, весело щебеча и неся пакетики с покупками.

Когда царской семьи не было, Государь один или с наследником выезжал за город. За ним неустанно ходила тайная полиция, и скрыться от нее Государю было невозможно. Но как-то раз Государь с одним из ставочных генералов поехал в лес, и там ему удалось, обманув бдительность охраны и сопровождающего его генерала, уйти куда-то в чащу и укрыться временно от своих телохранителей. Прошел час, два, а Государя не было. Переполох был громадный. Государь пропал среди белого дня, и разыскивающие его по всему лесу агенты охраны найти его не могли. Ни кричать, ни аукать, понятно, никто не смел, и все перепугались не на шутку.

Государь в это время сидел под деревом и наслаждался редкими в его жизни минутами одиночества. Говорили, что он подтрунивал над испугавшимся генералом и был доволен, что подвел полицию.

Часто гуляя в окрестностях города, Государь встречался с крестьянами. Он расспрашивал их об их жизни и интересовался всякими мелочами. Но никогда никто из крестьян во время таких случайных встреч с Государем не обращался к нему с какой-нибудь просьбой.

У русского крестьянина был врожденный такт.

Он мог подать официальное прошение на имя Царя, но не пользовался случаем и не затруднял его своими личными делами во время неожиданных встреч.

Но надо сказать, что Царская семья не отличалась особой готовностью к оказанию помощи бедным.

Они как бы не замечали убогих русских избушек, тощего скота, полураздетых ребятишек!

Несомненно, вид русской бедной деревни должен был бы всех их привести в содрогание, но этого не было, а если и было, то скрывалось под маской равнодушия, и семья, которая могла бы, казалось, много сделать, как бы руководствовалась психологией всех богатых людей: «Всем ведь не поможешь!»

Помню, как в «Могилевском Вестнике» крупным шрифтом было напечатано сообщение, которое привело в умиление всех местных монархистов. «Государыня Императрица Александра Федоровна подарила сапоги сироте мальчику-кадету, который был приставлен к Наследнику для игр с ним в Ставке».

Большинство же могилевцев такой щедростью Царицы тронуто не было. Каждому мало-мальски обеспеченному обывателю приходилось помогать бедным, но только об этом в газетах не писалось и эти бедные не приставлялись к их детям для развлечений.

Каждую службу царская семья ходила в церковь. Там пел прекрасный хор из мобилизованных певцов, и этот хор мог смело состязаться с любым митрополичьим хором. Государь был любителем церковного пения и имел излюбленные песнопения, которые в его присутствии и исполнялись. Вся царская семья стояла на левом клиросе, и чувствовалось, что все они очень религиозны.

Молились все, кроме Государя, по-монастырски или, вернее, по-староверски. Очень широко крестились, низко склоняясь, и, становясь на колени, по старорусскому обычаю касались руками пола.

Молодые князья в Могилеве не скучали. Местные дамы делали все от них зависящее, что скрасить досуг высоких гостей и доставить им всяческое удовольствие.

На этой почве было немало курьезов.

Об одном из таких мне рассказывал осчастливленный папаша, могилевский полицмейстер.

Его разбитная молоденькая дочка пленила одного из молодых князей. Кроме величайшей гордости, вся семья ничего не испытывала, но раз полицмейстер был

поставлен в довольно глупое положение и не знал, как из него выйти. Рано утром, когда он еще спокойно почивал со своей супругой, он услышал в гостиной какие-то шорохи и стуки. Думая, что это воры, наскоро, в ночных туфлях, и в костюме камергера, но без мундира и орденов, с револьвером в руке он открыл дверь в гостиную и замер… В кресле сидел один из молодых великих князей и перелистывал его старые альбомы. Увидев у себя в гостиной в столь ранний час высокого посетителя, бедный полицмейстер не знал, встать ли ему во фрунт, или же, на правах строгого папаши, спросить великого князя о причинах столь раннего визита.

Он предпочел третий выход: закрыл дверь и не проявил излишнего любопытства.

Полицмейстер любил со своими знакомыми делиться мыслями и надеждами на будущее.

Ему мерещилось конюшенное ведомство, дочери — блестящая карьера опереточной примадонны, младшим сыновьям чуть ли не пажеский корпус. Революция разбила все планы, и вместо конюшенного ведомства арест, тюрьма и смерть не то в Киеве, не то в Одессе.

Слухи, что Распутин будет убит, задолго до убийства циркулировали в городе. Кто-то поделился своими планами с любимой женщиной, та со своими приятельницами, и как только было получено известие об убийстве, то прежде чем в Петербурге, весь Могилев назвал имя того, кто был к этому убийству причастен. Убийство Распутина было встречено с ликованием, всем казалось, что с его смертью изменится положение на фронте и для самой России откроются какие-то новые перспективы, осуществлению которых препятствовал Распутин.

Но со смертью Распутина исполнилось и его предсказание: «Умру я — погибнет династия!» Была ли когда-нибудь сказана такая фраза или нет, но при первых признаках революции эта фраза была у всех на устах.

Распутина я никогда не видела, но хорошо знала того, кто ввел его во дворец. Это был Архиепископ Феофан, ректор Петербургской Академии. Монах, совершенно ушедший от мира и не знавший лжи и притворства, он был опутан наглым актером, прекрасно умевшим играть роль святого старца. Несомненно, и Царская Семья, доверчивая и отрезанная от всего мира строгим придворным этикетом, поверила ему так же, как и арх. Феофан. И помню, как в первые дни революции в гражданском клубе один из прогрессивно настроенных граждан громко кричал: «Мы, господа, должны поставить памятник Распутину. Ни одна революционная партия не сыграла такой громадной роли в падении монархии, как старец Распутин!»

И, увы, это было верно. Распутин объединил революционеров с мирным населением, и монархия была сметена.

А в общем, до последнего момента все могилевцы, как и все русские люди, пили, ели, веселились и не думали, что уже времена приблизились, что уже бьет последний час не только для монархии, но, может быть, и для существования величайшей Империи в мире.

Представители союзных держав в Ставке

Вплоть до выезда Ставки в Орел в Могилеве проживали иностранные военные представители. Кое-кого из них я знала и всех часто видела. Каждый из них был характерен в своем роде, носил отпечаток своего народа и по-своему относился к России и к русским.

Военный представитель Англии, генерал Бартельс, грузный старик, мрачный и насупленный, был всегда всем недоволен. Он брюзжал не переставая, и ему все не нравилось: и гостиница, где их поместили, хотя это была лучшая в городе, и стол, хотя из Петербурга был выписан прекрасный повар, и город, и люди. Вообще все.

Единственной, кажется, светлой точкой на темном горизонте могилевской жизни для него была маленькая почтовая чиновница Беленькая, и, незаметная, она почему-то пленила старого генерала. Он с удовольствием ездил с ней на автомобиле за город, дарил конфеты и несколько просветлялся при виде ее. С первого дня знакомства и до отъезда он собирался изучать русский язык, но так и не собрался.

Его адъютанты не были столь мрачны.

Наоборот, их можно было видеть целый день с кодаками на улицах, и они снимали все, что попадалось под руку: и людей, и собак, и город, и деревни. У меня создалось впечатление, что они ничем другим, кроме фотографии, и не занимаются.

Один из них также нашел свою светлую точку.

Это была молоденькая евреечка, очень некрасивая, но веселая и живая, с увлечением хлопавшая вместе с ними кодаком. Эта евреечка, несмотря на протесты семьи, уехала со своим возлюбленным в Англию и, по слухам, вышла за него там замуж. Вообще же англичане смотрели на всех остальных сверху вниз, считая себя избранным народом.

Сербы — наоборот, были в каком-то упоении от всего русского: от русской культуры, русских просторов, русских нравов, и поровну делили свою любовь между Россией и Сербией.

Неудачи России их также приводили в отчаяние, как и сербские.

Сербы были убежденными монархистами, и падение у нас монархии их потрясло, им не хотелось верить, что великая монархия окончательно пала. Они были до последней минуты уверены, что все изменится и что монархия восстановится.

По слухам, один из них, Жарко Мичич, желая спасти царскую семью из Екатеринбурга, поехал туда и был якобы там расстрелян большевиками. Впоследствии сербам пришлось познакомиться и с революционными деятелями, но, кроме Савинкова, которого они ставили очень высоко, они относились ко всем отрицательно. О Савинкове они неизменно твердили: «О, вы увидите, ваш Савинков выведет Россию из хаоса!»

Французов я не знала. Они как-то незаметно сидели в своей гостинице, и ни один слух о них не проникал в город.

Изредка их представителя, кажется, генерала Жанена, можно было видеть на вокзале.

Маленький блондин, по внешности напоминающий простого русского крестьянина, так не гармонировавшей с представлением о французской нации, он скромно и тихо жил в Ставке.

Итальянцы красовались.

Они выходили на наши маленькие улицы со специальной целью показать себя.

И действительно, было на что посмотреть.

Голубые, яркие пелерины, перекинутые через плечо, красивые южные лица, горделивая осанка, все в них приводило провинциалов в восхищение. Они бывали в театрах, клубах, и не одно женское сердце, постаревшее за эти годы, начинало усиленно биться при воспоминании об их генерале, графе Ромей.

К японцам вообще русские относились с любопытством. Выделялся из всех японцев Обата.

Маленький народ, которого не удалось закидать шапками, всегда вызывал у нас интерес. А Обата был типичный сын своего народа. Он весь жил Японией и ее интересами. И в Ставке его ничего не интересовало, кроме того, как всякое событие может отразиться на интересах его родины.

Он не страдал из-за наших неудач и не радовался нашим успехам. Он наблюдал.

Помню, как-то, когда пал Ковно и все мы, русские, опечаленные и притихшие, сидели по своим домам, Обата с каким-то другим офицером-японцем ходил по улицам и громко и весело смеялся. Этот смех меня возмутил, и я, встретив-

шись с ним, свое возмущение ему высказала. Он засуетился, заморгал своими раскосыми глазами и начал извиняться. «Он не хотел обидеть русских. Он громко смеялся со своим другом, так как они только что получили посылки из Японии и были оба обрадованы этим. Они так скучают в России, они уже не могут есть русских кушаний, а в посылках было так много их любимых вещей. Они радовались, и пусть русская госпожа простит им неуместную радость».

Обата старался присмотреться к русской жизни и делать все так, как все.

Ему кто-то сказал, что, бывая в гостях, надо давать на чай прислуге, и он, как только горничная открывала дверь и снимала с него пальто, уже совал ей в руку рубль. Если же она не знала, что предстоит столь приятное событие и, сняв пальто, быстро исчезала, он ее искал по дому и вручал ей этот рубль.

За обедом он считал нужным делать хозяйке подарки.

После первого блюда он вставал, говорил витиеватую речь о русском гостеприимстве и дарил три носовых шелковых платочка; после второго блюда — веер с гейшей; после третьего — какую-нибудь соломенную корзиночку.

И все с речами.

Он изучал русский язык и просил меня порекомендовать ему русские книги.

Я дала ему куприновского «Штабс-капитана Рыбникова».

Когда он, читая, наконец, понял, что Рыбников — это японец-шпион, он страшно заволновался, начал бегать по комнате, жестикулируя и что-то говоря на своем гортанном, птичьем языке.

Единственный из всех знакомых, с которыми приходилось говорить после революции о событиях, надвинувшихся на Россию, японец Обата предсказал всю тяжесть и продолжительность русской разрухи.

Он не сомневался, что России придется очень много вынести, что это будет долго, очень долго, но что все пройдет и Россия снова воскреснет.

Всем иностранцам нравился могилевский климат. Ровные зимы и ясное безоблачное лето. Ни больших морозов, ни туманов, ни беспрерывных дождей. По их мнению, Могилев мог быть прекрасным курортом.

Удивляла их бедность русского крестьянина.

Маленькие избенки под соломенными крышами с крошечными окошечками и кучей грязных босых ребятишек, копошащихся в пыли. Эта бедность рядом с роскошными, богатыми усадьбами их всегда поражала.

И они, несомненно, увезли с собой в свои страны память о противоречиях русской жизни: несметные богатства и рядом неслыханная бедность; громадные просторы и скученные убогие хижины; высокая культура и жестокость чрезвычайки.

Россия для них и после того, как они прожили в ней несколько лет, осталась загадкой.

Начало революции в Ставке и отречение Николая II

23 февраля появились в Петербурге первые признаки волнений. 24-го во время митингов произошли вооруженные столкновения с полицией. 25-го весь Петербург вышел на улицу и на Знаменской площади произошло крупное столкновение полиции с народом, причем казаки приняли сторону народа. 27-го утром произошло восстание Литовского и Волынского полков, и толпы народа вместе с солдатами пошли к арсеналу, захватили оружие и освободили из тюрем заключенных, как политических, так и уголовных.

Началась великая русская революция.

В Могилеве было иначе. Все эти дни ярко светило весеннее солнце, текли ручьи и веселая толпа наполняла улицы, радуясь наступлению весны.

Переворота ждали давно, но когда он наступил, то никто этому не поверил.

27-го я на улице встретила начальника ставочной контрразведки полковника О. и спросила его о беспорядках в Петербурге. Он был спокоен и весел. «Беспорядки? — сказал он. — Но им же, бунтовщикам, хуже. Повесим два, три десятка, и все будет спокойно». Так рассуждали жандармские полковники, но иначе иностранцы. Тут же на улице я встретила японца Обата и серба Мичича. Они уже знали о грозных событиях в Петербурге и определенно говорили, что началась революция. Мичич, влюбленный в Государя из-за поддержки Сербии, чуть не плакал и боялся, в связи с переворотом, за свою родину. Обата сказал мне: «Спите десять лет, наступают страшные события в России!»

О телеграммах Родзянко никто из обывателей не знал, узнали это уже после революции, и всем казалось, что правительство справится с беспорядками. Но уже ночью этого дня Государь выехал в Петербург и вернулся в Могилев из Пскова уже не Императором Всероссийским, а полковником Романовым.

Так приветствовал его на вокзале Георгиевский батальон.

В Могилев приехала мать отрекшегося Императора и заперлась с ним в доме Ставки, никого не видя и никуда не показываясь. Поздно ночью с берега Днепра можно было видеть возвышающийся темный силуэт ставочного дома и сквозь опущенные шторы окон спальни Государя пробивающийся свет. Чувствовалось, что там, за этими еле освещенными окнами, происходит страшная драма. Там, в комнатах Ставки, нет уже Императора Всероссийского, а несчастный сын, нуждающийся в тяжелую минуту своей жизни в словах утешения самого близкого человека — матери.

И может быть, в эти часы уединения, проведенные ими вместе, Государь нашел в себе силы перенести в дальнейшем и унижение, и страдание, и мученическую смерть.

А в это время в обеих столицах тысячные толпы народа праздновали весну революции, повсюду развевались красные знамена и вожди различных революционных партий произносили блестящие речи.

В Могилеве же не было ни толп, ни вождей.

Небольшая кучка подростков в 25—30 человек с пением Марсельезы прошла по улицам города, пугливо озираясь по сторонам, боясь нападений. И только когда демонстранты подошли к дому Ставки, где был Государь со своей матерью, в них проснулась долго культивированная ненависть к царю, и они начали выкрикивать оскорбления по его адресу, бить палками по стенам и срывать с дома Ставки трехцветное знамя и гербы.

Толпы народа и офицеров взирали на эту дикую сцену, но не нашлось никого, кто бы остановил этих разбушевавшихся хулиганов.

В воскресенье Государь, как обычно, пришел в ставочную церковь, так же, как всегда, прекрасно пел хор, так же Георгиевский батальон цепью отделял Государя от публики, так же как всегда, дьякон произнес последнее многолетие за царствующий дом.

После обедни Государь сошел с амвона и обратился к публике с прощальными словами. Он был бледен и взволнован. Он смотрел поверх толпы, куда-то далеко, как будто желая раздвинуть стены церкви и попрощаться со всей Россией.

Толпа, наполнившая церковь, как обычно, молчала, и трудно сказать, что думали русские люди, слушая последние слова последнего монарха.

Совсем иначе происходило в этот день прощание Государя со ставочными офицерами.

Государь благодарил всех офицеров Ставки за верную службу, иностранных представителей просил передать союзникам его благодарность за поддержку России и просил всех офицеров служить так же честно новому правительству России, как служили они ему.

Многие рыдали, и Государь ходил от одного офицера к другому и старался их успокоить. Какой-то казачий офицер, чтобы заглушить рыдания, сжал зубами носовой платок так, что ему пришлось потом разжимать челюсти.

Серб Мичич встал на колени перед Государем и, целуя ему руку, поблагодарил за все, что Государь сделал для Сербии.

Настроение всех передалось Государю, и он вышел из зала, чтобы не показать своего волнения, а может, и слез.

Государь уехал из Могилева вместе с Марией Федоровной. Днепровский проспект, по которому он проезжал, был почти пуст. О часе его отъезда никто не знал, и только несколько женщин бросились с рыданиями к автомобилю отрекшегося царя.

В вагоне к Государю пришли несколько гимназисток. Государь их пожурил, что они ушли с уроков, и посоветовал, придя домой, выучить басню Крылова «Умирающий Лев».

И сейчас, когда прошли уже долгие годы, оглядываясь в прошлое, с изумлением вспоминаешь эти дни.

Русский Император, Главнокомандующий Армией, представитель вековой монархии, в продолжение многих лет управлявший страной, в трагическую для себя минуту остался один!

Две-три рыдающие женщины и несколько гимназисток!

Он среди 150-миллионного народа нашел в эту минуту лишь одного человека, который оказал ему поддержу и помощь.

И это была его мать.

И возвращаясь с вокзала, после отъезда Государя, на меня нахлынули воспоминания: я вспомнила первую встречу Государя после коронации в Красном Селе, когда я была еще ребенком.

Как радостно прошла встреча молодого Царя, приехавшего впервые в лагери со своей красавицей женой!

Какой нежностью и заботой была окружена эта царственная пара, с каким трепетом и крестьяне, и рабочие подносили ему хлеб-соль.

И вспоминались невольно мне слова нашей старушки няни, присутствовавшей с нами при встрече Государя.

«Ох, детушки, чувствует мое сердце беду, не даст этот Царь счастья России. Я-то умру, а вы будете жить и мне, что я умерла, завидовать. С этим Царем придут войны и смуты великие, отец пойдет против сына, а сын — против отца.

И увидите, что снова Литва придет, земля задрожит под их несметными полчищами, и реки станут красными от крови. Заберет Литва снова русскую землю, и некуда будет русскому человеку головы своей приклонить.

Вижу я, старая, что не любит он народа русского, и народ его не пожалеет».

— Няня, какая Литва? Где Литва? — Но няня не объясняла.

Но вот, предсказания няни исполнились.

Две тяжелые, неудачные войны, а впереди смута…

Государь уехал, а обыватель, стоя у окна своей квартиры, начал наблюдать новую эпоху в жизни Ставки, новых людей, которым была вручена судьба армии и России.

Корнилов и Керенский

После отъезда государя из Ставки ген. Алексеев принял на губернаторской площади присягу временному правительству войск могилевского гарнизона и чинов Ставки. Когда войска выстроились на площади, подъехал автомобиль и из него вышли два великих князя, Сергей и Александр Михайловичи. Они встали вместе с офицерами, возвышаясь над всеми своим огромным ростом. Все взоры были прикованы к поднятым рукам князей, присягающих новому правительству.

В них как бы символизировалась сущность происшедшего переворота: великие князья переставали быть членами императорской фамилии и превращались просто в граждан Романовых.

Они отходили от кормила власти и уступали место власти другой, прежде всего им враждебной.

В толпе, наблюдавшей присягу, рядом со мной стоял какой-то бестолковый старик-крестьянин. Он все время толкал меня и поминутно спрашивал: «А кто же Царь-то будет?» Я торопливо отвечала, что Царя не будет, а будет республика, а он не унимался и спрашивал: «Да я знаю, что республика, а Царь-то кто?»

Не менее этого непонятливого старика был сбит с толку и обыватель.

Обе столицы продолжали праздновать победу, а провинциальный обыватель оставался в недоумении.

Прежде всего, он не знал, к какой собственно партии он принадлежит. А это необходимо было выяснить, и он, торопясь и волнуясь, наскоро пересматривал программы различных партий, стараясь отыскать, которая из них могла бы полнее отразить его настроение и взгляды.

На этой почве происходило много разных неожиданностей. Маленький, незаметный чиновник объявлял себя анархистом, а седовласый начальник управления с умением вспоминал, что все его деды пахали и что он всегда чувствовал в себе мужицкую кровь.

С дамами было хуже. Даже те, что только что мечтали о перевороте, после отречения Государя поголовно почувствовали себя ярыми монархистками, и из окон многих квартир начали раздаваться звуки из оперы «Жизнь за Царя».

Ежедневно столицы наводняли провинцию газетами различных направлений, где каждый мог прочесть десятки речей одна другой краше и ярче.

Могилевскому обывателю захотелось и самому показать свое ораторское искусство. Начались митинги, и все, кто мог и хотел, говорили, говорили и говорили.

А мы слушали.

А пока происходила эта идиллия, жизнь России расстраивалась, на фронте наступила полная дезорганизация, и в Ставке уже не могли скрывать того, что Россия стоит перед какой-то неслыханной катастрофой.

И все же революционный праздник 1 Мая прошел с большой торжественностью.

Все офицеры Ставки с красными бантами и флагами, с плакатами «Да здравствует Республика!», «Офицеры и Солдаты! Друг другу руку! К победе за Свободу!» продефилировали от театра по городу.

Офицеров Ставки было много… очень много…

За ними шли граждане города, но их было меньше.

Это радостное настроение продолжалось недолго. Солдаты не торопились протягивать руку, и от этого праздника осталась одна лишь фотография, стоящая у меня на столе!

Знакомые лица, веселые и довольные, и думается, что если бы этих офицеров собрать сейчас и показать им эту фотографию — они бы не поверили, что это они.

Солдаты же, почувствовав себя хозяевами, начали по своему пониманию пользоваться свободой.

Два характерных случая произошли на моих глазах.

Около штаба Ставки на стуле сидел часовой, положив винтовку на колени, тупо и сонно смотря на прохожих. Около него вертелась девочка лет шести с любопытством взирая на сидящего на тротуаре солдата. Наконец она не выдержала, подошла к нему вплотную и спросила: «А вы, дяденька, долго будете так сидеть?»

Солдат рассердился на этот неуместный вопрос, заерзал на стуле и, сделав страшную рожу, отогнал от себя ребенка.

Другой случай хуже.

Как-то из дома Ставки вышли и направились в штаб, расположенный на противоположной стороне площади, главнокомандующий ген. Алексеев и военный министр Гучков.

Генерал Алексеев что-то говорил Гучкову, а тот, тяжелый и неповоротливый, шел рядом с ним и в такт словам главнокомандующего кивал головой.

В это время навстречу им вышла группа распоясанных солдат, они прошли мимо главнокомандующего, даже не потрудившись отдать ему честь.

Гучков этого не заметил, у ген. Алексеева же передернулось лицо, и он низко опустил голову.

И когда в Могилеве разнесся слух, что ген. Корнилов хочет объявить диктатуру, весь город пришел в радостное волнение, видя в ген. Корнилове избавление от безалаберщины и хаоса.

В ночь на 28 августа я услышала какой-то странный шум напротив нашего дома, во дворе мужской гимназии. Подойдя к окну, я увидела, что ген. Корнилов, стоя на столе, при ярком свете двух факелов, что-то говорит на непонятном языке сгрудившимся около него солдатам дикой дивизии. Те, замерев, слушают каждое его слово и время от времени повторяют сказанное.

Это была присяга.

28 августа все уже знали, что ген. Корнилов объявил диктатуру и идет арестовывать Керенского.

И Керенский, и его керенщина всем так надоели, что радости не было границ.

Тон всеобщей радости задавали иностранные представители при Ставке, которые были поголовно на стороне ген. Корнилова.

Два англичанина, кап. Эдварс и пор. Портерс, в этот же день выехали в Киев за танками, и никто в успехе ген. Корнилова не сомневался.

Но уже на следующий день настроение начало падать.

Англичане вернулись из Жлобина по телеграмме из английского посольства и танков не привезли, а Георгиевский батальон отказался поддержать ген. Корнилова, став на сторону Керенского. Через несколько дней ген. Корнилов был арестован и заключен в гостиницу «Эрмитаж», окна которой выходили на Днепровский проспект, соединявший вокзал со Ставкой.

В Могилев приехал Александр Федорович Керенский.

И вот тут, при первом же взгляде на нового главнокомандующего, каждый мало-мальски наблюдательный обыватель невольно увидел разницу между властью, опирающейся на авторитет государства, и властью, выдвинутой революцией и опирающейся на настроение массы и от нее зависящей.

Вождь законный осуществляет свою власть просто, уверенно и спокойно.

Вождь революционный ждет проявлений энтузиазма толпы, которая неожиданно для него самого его выдвинула. Первому — толпа не нужна, для второго — это почва, без которой кругом уже пустота, которую нечем заполнить.

И Керенский, выдвинутый толпой, был рабом толпы, и это чувствовалось в каждом его взгляде и движении.

Проезжая в автомобиле в Ставку по Днепровскому проспекту, он жадно ловил крики каждого ничтожного голоса, повлажневшими глазами всматривался в каждое лицо и как бы говорил: «Кричите, кричите еще, поймите, что без вас, без ваших оваций я ведь всего-навсего маленький, ничтожный человек, такой же, как вы, я сольюсь с вами, и вам же от этого будет хуже».

Он проехал мимо «Эрмитажа», где сидел Корнилов, сделал строгое лицо, не взглянув даже на окно, где виднелась фигура Корнилова.

Вечером он пришел в театр.

Публика в театре приняла его по-разному.

Партер и ложи смотрели на него с любопытством, но без всякого энтузиазма, галерка устроила бурную овацию.

У Керенского был утомленный вид, к тому же различие в приеме, по-видимому, подействовало на его настроение и лишило его той атмосферы, которая возбуждала его ораторский талант. Он говорить отказался и вскоре ушел из театра, провожаемый бурными аплодисментами той же галерки.

На следующий день в вагоне, где он остановился, он принял союзных представителей при Ставке.

Все представители встали вокруг стола. Керенский, вместе с ген. Базаровым, переводчиком и иностранными представителями, вошел и, не предлагая никому сесть, опершись на стол руками, начал говорить. Этот вольный жест возмутил английского генерала Бартельса, привыкшего к строгому английскому этикету, и он, чтобы показать, что недоволен Керенским за его небрежное к ним отношение, взял свою фуражку и положил ее посреди стола.

Но Керенский с английским этикетом знаком не был и этого жеста не заметил.

Старейший из иностранных представителей, кажется, бельгийский генерал, от лица всех их обратился к Керенскому с речью, требуя упразднения приказа № 1 и восстановления отдания чести как основного положения воинской дисциплины. Керенский начал возражать, но представители не поняли ни единого слова из речи Керенского, так как это был какой-то истерический вопль, лишенный какого бы то ни было смысла.

Керенский умолк, и уже никто из союзных представителей не пожелал продолжать разговор.

Все поняли, что с Россией кончено, что она выбыла из строя.

А на фронте становилось все хуже и хуже. Солдаты бежали с фронта, бросая оружие.

Они уже радовались поражениям, надеясь, что это заставит скорее окончить войну. Участились случаи неповиновения начальству, и целые дивизии отказывались идти в наступление.

В Ставке началось смятение, и когда новый главнокомандующий, генерал Духонин, приказал особому отделу Ставки дать сводку о настроении и боеспособности армии для вручения военным представителям, ехавшим во Францию, то на 15 октября 1917 года, канун большевистского переворота, были ему представлены такие сведения, что он схватился за голову!

Он трижды возвращал через генерала Сулеймана эту сводку и просил ее смягчить.

Но смягчать было нечего…

Армии фактически уже не было, была миллионная вооруженная толпа, не способная не только к военным операциям, но даже к организованному отступлению. Перед русским командованием встала альтернатива: спасать союзников или спасать Россию.

Командование сохранило верность союзникам и было сметено народной стихией, стремившейся к миру во что бы то ни стало.

Все это время в Могилеве находился последний представитель Царского Дома великий князь Сергей Михайлович. С него было взято обязательство о невыезде из города, и он продолжал жить на тихой Малой Садовой улице, совершая ежедневные прогулки около дома.

Он уже не носил военной формы, а ходил в очень коротеньком пальто не по фигуре и в серой кепке. Было жаль смотреть на этого князя, болезненного и как будто всегда смущенного, очень похожего на Александра II.

И в то время, когда он был в Могилеве, из дворца Кшесинской, им же ей подаренного, уже раздались первые слова рокового голоса, вскоре прогремевшего по всей России.

Большевики в Ставке

Большевистский переворот никого в Могилеве не поразил.

Многие даже как будто обрадовались, решив, что это начало конца революции. Мало кто из обывателей слышал до революции имя Ленина и знал программу большевистской партии. Казалось, что если Временное правительство

продержалось всего девять месяцев, то большевики больше месяца не просуществуют.

А потом, после их падения, опять все пойдет по-старому, опять мирно и тихо заживет провинциальный обыватель, как кошмарный сон, вспоминая вспышку революции.

Более же прогрессивная часть населения твердо верила в Учредительное собрание, думая, что только оно может окончательно восстановить законность и порядок. Но все эти предположения и надежды очень быстро рассеялись как дым.

В Могилев шли большевики во главе с Крыленко.

В это время в Могилеве заседал общеармейский съезд. Представители его выехали навстречу Крыленко для мирных переговоров в надежде убедить его не предпринимать ничего против Ставки и сохранить ее как необходимый технический аппарат.

Встреча произошла в Витебске, но никаких результатов не дала.

Духонин предполагал на автомобилях выехать в Киев и перенести туда верховное командование, но Георгиевский батальон задержал уже нагруженные автомобили.

В тот же день было собрано общее собрание всех чинов Ставки, начиная от генералов и кончая писарями. На этом собрании надо было решить: сдавать большевикам Ставку без боя или же, пользуясь близостью к Могилеву частей ударного батальона, на которые еще можно было положиться, постараться в Ставку большевиков не допустить.

Настроение было мрачное.

Каждый понимал, что Ставка была последним опорным пунктом, после чего, всем тогда казалось, начнутся неслыханная анархия и хаос.

На собрание пришел главнокомандующий Духонин.

Он, обрисовав общее положение, сказал, что, по его мнению, сопротивление невозможно и что он сам до последней минуты останется на посту.

После него выступало много ораторов, но никто ничего определенного не говорил, и на вопрос начальника ударных батальонов, что он должен делать — выступать против большевиков или уводить свои батальоны вглубь России, никто ему определенного ответа не дал.

После его речи, при гробовом молчании, была вынесена резолюция, что сопротивление невозможно, что оно только озлобит большевиков и они могут разрушить Ставку, что нанесло бы смертельный удар фронту.

На следующий день в Могилев пришли большевики во главе с главнокомандующим Крыленко…

Всеми почувствовалось, что период слов кончился, начался период действия.

Крыленко многие из старых студентов знали по 1905 году. На всех студенческих митингах неизменно выступал маленький, коренастый студент, потрясая горячие, молодые сердца своими блестящими речами.

И тогда никому не могло прийти в голову, что всего через двенадцать лет этот круглоголовый юноша-студент займет пост главнокомандующего всей русской армии.

На вокзале, несмотря на защиту Крыленко, толпа красноармейцев подняла на штыки генерала Духонина. Его изуродованный труп распяли в товарном вагоне, прибив руки гвоздями. В рот трупа вложили окурок, и вся чернь ходила смотреть на поруганное тело генерала Духонина, плюя ему в лицо и осыпая страшными ругательствами.

В таком виде нашла его жена, которая, узнав об убийстве мужа, приехала на вокзал.

После этого все вдруг, как по мановению волшебного жезла, сразу смолкло, попряталось, и город, только что живший шумной жизнью, замер.

Все увидели, что пришла страшная сила, сила нечеловеческая, и что нельзя жить так, как жили до сих пор.

Могилевцы заперлись по квартирам, закрыв ставни и опустив шторы. Даже в домах стали говорить шепотом.

А разъяренные матросы и красногвардейцы из петербургских рабочих ходили по городу, стреляли по окнам, наводя ужас на и без того уже перепуганного обывателя.

И стоя у окна квартиры, приоткрыв краешек шторы, я в волнении смотрела на двигавшихся по улицам красногвардейцев.

Невольно всплывали в памяти картины столь недавнего прошлого.

1905 год…

Толпы студентов и рабочих идут к Таврическому дворцу… Сияет солнце, льются весенние потоки, все радостнее и счастливее идут навстречу Свободе.

Выстрел… казаки… и все смешалось.

Но ни насилие, ни даже сама смерть не могли в те времена разрушить в русской молодежи надежды на светлое будущее.

Вся молодежь видела близкое осуществление светлого царства равенства, братства и свободы.

И вспомнилась другая картина, как бы прообраз того, что совершалось теперь.

Канун 17 октября 1905 года.

Была объявлена всеобщая забастовка, и столица замерла.

И вечером, в полной тьме, рабочие всех заводов и студенты всех высших учебных заведений сплошным потоком вливались на Невский.

Было темно и страшно.

Движение остановилось, фонари не горели, и только многотысячная толпа демонстрантов медленно шла по Невскому.

Все молчали и шли, шли, охваченные одним чувством, одной мыслью!

Все знали, что в каждом дворе спрятана полиция и казаки, но и там, во дворах, царила тишина…

И тем, кто шли, и тем, кто был во дворах, было страшно от этого моря людей, медленно двигавшегося по темной улице.

И помню, меня обуял ужас.

В ту минуту мне не страшны были те, кто были за закрытыми воротами дворов, мне страшны стали те, с кем я шла…

Несмотря на мертвое молчание, от двигавшейся массы людей исходили токи такой ненависти и злобы, что я постаралась выбраться из толпы и свернула на Литейный.

И вот теперь эта толпа была властью.

Веками копившаяся ненависть вырвалась на волю, сокрушая все на своем пути!

А мы, русские интеллигенты, так недавно рука об руку шедшие с народом, стоя за шторами своих квартир, почувствовали пропасть, которую уже нечем засыпать.

Слова о свободе и братстве, которые нас раньше объединяли, сейчас звучали насмешкой, и мы с чувством ужаса смотрели на тех, из-за которых так недавно мы готовы были жертвовать жизнью!..

Вскоре фронт придвинулся к Могилеву и Ставка во главе с Крыленко переехала в Орел.

В Могилеве во главе большевистской власти стал прапорщик Гольман.

Начались аресты.

Одним из первых был арестован ксендз князь Святополк-Мирский.

Дело ксендза Мирского было назначено к слушанию в годовщину переворота, 28 февраля, в зале женской гимназии.

Улик против ксендза не было никаких, и все были уверены, что его оправдают. Единственной уликой была маленькая бумажка, на которой были нарисованы какие-то иероглифы.

Большевики думали, что это план расположения польских войск, надвигавшихся на Могилев, ксендз же говорил, что он всегда рисовал различные значки на бумаге, когда сидел у письменного стола и разговаривал с посетителями.

Зал суда был полон, когда раздался лязг оружия и в зал вошли 15 красноармейцев, исключительно подростков, с ружьями наперевес и с револьверами в кобурах. Они окружили зал и защелкали затворами. Никому из сидящих в зале не пришло в голову, что через несколько минут эти ружья будут направлены против них.

Все сидели спокойно и ожидали прибытия ксендза.

И вот — открылась дверь, и все увидели, что на пороге зала стоит ксендз, окруженный солдатами, вернее, тень от того ксендза, которого могилевцы так хорошо знали.

Худой, бледный, со смертельно усталым лицом и большой бородой, он внушал всем страшную жалость и протест против незаслуженных страданий.

И здесь произошло непоправимое.

Уже прошло двенадцать лет со дня смерти кс. Святополка-Мирского, и для меня, хорошо помнящей все подробности этой трагедии, стало теперь ясно, что ксендза Святополка-Мирского убили мы. Может быть, он еще остался бы жить, доказав на суде свою невиновность, если бы мы, толпа, реагировали в тот момент иначе.

Но мы, увидев измененное, страдальческое его лицо, вдруг все, как по какому-то приказу, подняли невероятный крик и с проклятиями кинулись на вооруженных с ног до головы красногвардейцев.

Красногвардейцы начали требовать, чтобы мы замолчали, но мы кричали, не помня себя, не понимая, что этим мы вредим подсудимому.

И вдруг, во время этих диких криков, раздался выстрел.

Кто стрелял, так и осталось неизвестным. Или это был провокационный выстрел со стороны большевиков, или же стрелял кто-то из публики.

Большевики взвели курки, и раздался оглушительный залп из 15 винтовок, направленных в толпу.

Мы все опустились на пол.

Красногвардейцы также встали на колени и начали стрелять по лежащим людям. Штукатурка попадала с потолка, раздались нечеловеческие крики раненых, и все потеряли головы от ужаса.

И только один ксендз Святополк-Мирский стоял спокойно у дверей зала и обеими руками благословлял обезумевшую от ужаса толпу.

Когда большевики расстреляли все патроны и велели всем нам встать, то ксендза уже в зале не было. Его увезли обратно в тюрьму.

На полу в лужах крови лежали несколько умирающих женщин, многие были ранены, я каким-то чудом уцелела, хотя сидела в первом ряду и мое пальто и платье были прострелены в трех местах.

Помню, как посреди зала, между скамьями, лежала какая-то немолодая женщина. Кровь фонтаном лилась из раны, и директор банка Ю. Бехли старался руками заткнуть рану и остановить кровь.

А кровь лилась, и огромная красная лужа растекалась по полу.

Ксендза подвезли к тюрьме и прикладами втолкнули в камеру. Он, войдя в камеру, упал, не снимая пальто, на кровать и сказал своему соседу по койке адвокату Б. П.: «Меня погубила толпа!»

Лежа на койке, он стал молиться, ожидая смерти. Через час или два его вывезли из камеры и прочли ему приговор революционного суда. Он в тот же день, 28 февраля был вывезен за город и убит вместе с двумя арестованными милиционерами. К смертной казни были приговорены и два защитника ксендза, но им удалось бежать из Могилева.

Труп ксендза, обесчещенный большевиками, несколько дней лежал в канаве за городом.

Через неделю после казни в Могилев вошли польские войска корпуса генерала Довбор-Мусницкого и торжественно похоронили жертв большевистских зверств.

С приходом польских войск обыватель вздохнул свободней.

Открылись ставни, поднялись шторы, и улицы наполнились толпой, радующейся уходу большевиков.

Но они были близко. Тут же, за Днепром, они устроили свой штаб и ждали удобного момента, чтобы снова войти в город.

Немцы в Могилеве и отъезд из России

В конце мая в Могилев пришли немцы.

Еще так недавно могилевский обыватель с трепетом смотрел на карту и, видя приближающийся фронт, размышлял, куда бы ему уехать, лишь бы не быть свидетелем унижения России.

И вот теперь, после ухода большевиков, немцы уже не были страшны.

Они несли унижение, но не несли смерть! Обыватель с беспокойством взирал на развивающуюся страшную силу большевизма и мечтал, что кто-то должен спасти Россию. В Германии еще видели силу, способную справиться с большевиками и вернуть порядок.

Но немцы уже были не те.

В Могилев пришли войска, специально предназначенные для оккупации. У них еще была железная дисциплина, но абсолютное отсутствие воинственного пыла. Это были солдаты, которые могли, как прекрасный механик, стоять на часах у б. Ставки, теперь немецкого штаба, могли, по распоряжению своего начальства, провести реквизицию продуктов, могли навести порядок в городе, но к наступлению они были уже неспособны. И офицеры, и солдаты мечтали только о мире и о надежде русских на поход вглубь России не хотели и слушать.

Могилев не был для немцев маленьким русским городком, каких они видели так много во время войны, это была для них бывшая Ставка, где только что сосредотачивалась жизнь всей русской армии, откуда исходили приказы, где жили главнокомандующие, имена которых были знакомы каждому немцу. Для них на русском фронте Могилев был конечным пунктом. Они не видели уже в русских врагов, это был побежденный народ, не внушавший им страха. Они знали, что русскую армию победили не только они, что русская армия была также побеждена стихийным бедствием, и с беспокойством всматривались в начинающиеся и у них признаки разложения армии, не имея возможности скрыть свою тревогу.

А могилевский обыватель, слыша из-за Днепра звуки Интернационала, забывал также в немцах врагов, смотрел на них умиляющимся взглядом, видя в них единственное спасение от большевизма. Большевики же грозили и время от времени пересылали в город «черные списки», в которых чуть ли не вся могилевская интеллигенция приговаривалась к смерти. И когда немцы объявили об оставлении города, все переполошились и спешно начали готовиться к отъезду. Уезжавшие разделились на два лагеря. Одни ехали на юг: Киев, Одесса, Крым, другие на запад — Польша, Латвия, Литва. Спешно распродавали имущество, стараясь взять с собой как можно больше думских, керенских и царских денег.

Среди лиц, собиравшихся оставить город, были и такие, для которых уже не было ни надежды, ни мечты на лучшую жизнь.

Ярким примером такого опустошенного человека была вдова генерала Скалона. Эта маленькая, изящная женщина, во время войны вышедшая замуж, получив известие, что муж ее застрелился, не желая подписать Брестского мира, с удивлением смотрела на всех нас, еще мечтающих о какой-то новой жизни и о спасении себя и детей.

В конце июля, перед самым уходом немцев, пришло известие об убийстве царской семьи.

Для могилевцев это была не только царская семья, это была семья, которая только что жила в этом городе. Каждый из них знал, много раз видел, и потому, когда была объявлена по ним панихида в соборе, масса народа пришла на это первое трагическое богослужение.

И когда раздались слова «за убиенных и замученных рабов Божиих Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии», все с рыданиями опустились на колени.

Панихида объединила всех, и все не скрывали своих слез. Со смертью царской семьи начиналась новая эпоха, как в жизни России, так и в жизни каждого русского человека.

И все могилевцы оплакивали Россию, прошлое, себя!

Наконец день отъезда настал.

Последние объятия с людьми, с которыми было пережито столько событий, последние поцелуи с родными, которых никогда уже не суждено увидеть.

Поезд начал отходить… Минул вокзал, домик начальника станции, могилевское предместье, и наконец, лес, закрывший от нас навсегда очертания города.

Дети, радовавшиеся необычной обстановке, сгрудились у окна и с любопытством смотрели на мелькающие деревья. «Мама, это дремучий лес?» — «Да, детка, дремучий». — «А почему мы не видим волка?»

Во время таких разговоров в наше купе вошел старый солдат-немец, он спросил, куда мы едем, и узнав, что мы покидаем Россию и едем за границу, погладил моего младшего сына по голове и сказал: «Бедные русские дети, лишенные родины».

Дети с удивлением посмотрели на немца, они не могли понять его сожаления. Не поняли этого тогда и мы, взрослые. И вот прошли долгие тридцать лет, дети выросли, и всем нам стали понятны слова старого немца.

«Бедные русские дети, лишенные родины».



Разночинец в эпоху репрессий (штрихи к портрету Адама Богдановича)

Полтора века назад все было по-другому.

Именно тогда родился в будущей Беларуси, бывшей Речи Посполитой, а на тот момент Российской империи — Адам Егорович Богданович, выдающаяся личность, которая и сегодня вызывает немало споров и толков: кем он был по духу — белорусом или русским; отрицательное или положительное воздействие оказал на своего сына, вечно молодого гения белорусской поэзии — Максима Богдановича?

На мой взгляд, решение всех этих проблем следует искать во времени, а не в пространстве.

Адам Егорович был человеком XIX века.

Молодость его прошла под знаменем народнических идеалов — самообразования, внимания к народу, демократических убеждений, а главное — права на собственное достоинство.

Эта закваска держала его на плаву, когда началась мировая война, рухнула империя, возникла ленинская Советская Россия, плавно перекочевавшая в сталинскую тоталитарную державу.

Стержень у Адама Егоровича был мощнейший. Этот человек не менялся, он остался верен идеалам своей молодости до самой смерти.

Интеллигент-разночинец в эпоху сталинских чисток — поистине это был музейный экспонат. Видимо, не зря и должность в 1930-е годы у Адама Богдановича была самая музейная — заведующий научной библиотекой при Ярославском историческом музее.

Не умея меняться, приспосабливаться, мимикрировать — он стал хранителем.

Четьи-Минеи, маленькие жития святых, тома Михайловского и Успенского, стоящие впритык с сочинениями Соловьева и Федорова. Вся русская мысль, литература, история собрались в этой библиотеке. На улице давно уже веяли другие ветра: о Гоголе говорили, что он «вконец разложившийся мелкий мистик», Толстой стал исключительно «зеркалом русской революции».

Замечательный документ, который сохранился в личном архиве Адама Богдановича, проливает свет на один из эпизодов его биографии — чистку 1930 года.

«Рожденные революцией» молодые сотрудники музея увидели всю «отсталость» заведующего. Да, специалист по библиографии. Да, лектор. Да, проводит выставки и экскурсии. Да, печатает научные статьи. Но что это за мелкие вопросы, если человек за двадцать пять советских лет «не перестроился»? Выгнать. Выгнать по унизительной III категории — как неуча, бездаря, вредителя.

67-летний старик был поражен. Он пишет заявление о пересмотре его дела, и этот ответ — блестящий портрет Адама Егоровича, блестящая самохарактеристика одного из последних демкоратов-разночинцев сгинувшей империи.

Тихон ЧЕРНЯКЕВИЧ

Неизвестное письмо Адама Богдановича[*]

В КОМИССИЮ ПРИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОКРУЖНОЙ Р.К.И.[1] ПО ПРОВЕРКЕ И ЧИСТКЕ СОВЕТСКОГО АППАРАТА

Заведующего Научной библиотекой при
Ярокрмузее научного работника основной
группы Адама Егоровича Богдановича

ЗАЯВЛЕНИЕ

По протоколу М. З. Комиссии РКИ по чистке аппарата от 30 марта 1930 г., по мотивам, наложенным в выписке из протокола, предложено освободить меня от заведования научной библиотекой с отнесением меня к III категории увольняемых.

Такое решение принято считать «мягким», но для меня оно тягостно и обидно как несправедливо опорочивающее все дело моей исключительной работы и самоотверженной жизни, приходящей к концу.

С такой оценкой я не могу и не должен уходить со службы и из жизни: я должен оправдать себя во что бы то ни стало.

Эта оценка была для меня неожиданной, что я привык встречать только одобрительные отзывы о своей работе, — и еще так недавно дело моей жизни оценено в столь высоком учреждении, как Комиссия при Совнаркоме, мне предоставлена за исключительные труды и заслуги персональная пенсия.

Я шел спокойно на суд советской общественности, гордый осознанием своих собственных заслуг хорошо прожитой жизни, — и мне казалось — жизни поучительной. Пролетарское происхождение, мытарства моей молодости, связанные с этим происхождением; многолетняя подпольная революционная работа в славных рядах Народной Воли, так высоко ценимые товарищами по борьбе с моими учениками — выдающимися революционерами; беспрерывная профессиональная работа при советской власти на руководящих и ответственных постах; огромная общественная культурно-просветительная работа, в которой из года в год я занимал первое место в Секции научных работников по числу выступлений — это в мои-то годы; разносторонние литературные и научные труды, встретившие лестную оценку выдающихся ученых в СССР и за границей; высокая научная продукция при советской власти, которая, судя по отзывам компетентных ученых, может быть поставлена в ряд крупных теоретических достижений советской мысли, — словом, положительный багаж, казалось, увесистый: есть чем гордиться и ни с кем не стыдно равняться…

И вдруг моя полувековая работа, многотрудная, самоотверженная, взята под подозрение, и если не опорочена целиком, то запятнана. На каком основании?

На основании непроверенных замечаний людей, в музее новых, не видевших моей работы в прошлом, не считающихся с общими условиями, в которых находилась библиотека, ни с ее уставом, ни с ее особым характером, — с замечания-

[*] Публикуется в авторской редакции.
[1] Рабоче-крестьянская инспекция.

ми, частию фактически неверными, частию преувеличенными, и потому искажающими истинную картину положения дела и моей работы как руководителя.

Мне многое поставлено в вину, в чем никакой вины нет. Я шел с доверием на общественный суд, я подчинился вызову Комиссии, хотя и мог бы признать ее некомпетентность, ибо для работников ВУЗов и Научных учреждений установлен особый состав комиссий.

Я шел с доверием — и боюсь — не ошибся ли я? Я сразу почувствовал что-то предвзятое по отношению ко мне: мне было предложено сразу отвечать на вопросы, т. е. в сущности без отчета о моей работе.

Позиция для меня крайне невыгодная: я считал, что в этом и есть главное дело. Представитель Главнауки т. Ефременко по отношению к научным работникам избегал слова «чистка», говоря, что это не чистка, а отчетный доклад для общественного просмотра. Но меня почему-то хотели лишить этого доклада.

На мой протест мне было дано 10 минут на сообщение о моей работе и 10 минут на ответы по выступлениям, тогда как в общем «чистка» продолжалась свыше 2 часов и была очень требовательная. Естественно, что я говорил торопливо, не мог дать надлежащих разъяснений по всем выступлениям.

Это приходится мне сделать здесь в письменной форме, что, конечно, нелегко для меня и обременительно для Комиссии. Но я не могу уходить со службы и из жизни с теми неосновательными обвинениями, которые значатся в протоколе.

1. Начну собственно не с разбора обвинений, а с некоторого уточнения характеристики моего образования.

В протоколе сказано: «после получения некоторого образования» и пр.

Я получил не некоторое, а всестороннее и основательное образование. Мне его не дали, но я его взял сам. Тем больше чести. Еще в 80-х годах мои научные труды помещались в сборниках Академии наук. Отзывы академиков и профессоров — русских и иностранных, весьма лестные для меня, я вкратце зачитывал Комиссии, и заведующий музеем именно подчеркивал всесторонность моего образования. Стало быть, не было основания его умалять. Я состоял членом ученых обществ, состою действительным членом Ярославского Научно-исследовательского института, квалифицирован экспертной комиссией при ЦККУБУ по основному разряду. По этому разряду из 45 научных работников Ярославской губ. квалифицировано лишь 15 человек, а выше ни одного. Читаю на 3-х древних языках и 3-х новых. Работаю над научными исследованиями для Белорусской Академии наук, насчитываю 36 научных трудов, в общем объеме свыше 100 печатных листов. Такой продукцией в Ярославле никто не может похвалиться.

Заведываю библиотеками 15 лет, известен как выдающийся знаток книги и еще в молодости составлял для молодежи руководящие программы и каталоги для самообразования, которые издавались подпольно на гектографе. Руководил занятиями таких ответственных революционных групп, как военная, учительская организация и учащейся молодежи.

По научной специальности я этнограф, по преподавательской — историк культуры, а стало быть, должен знать историю наук и из всякой науки самое важное и существенное. Близко знаком с такими специальными дисциплинами, весьма важными для музейного работника, как археология и палеография.

Этого нельзя достигнуть с «некоторым образованием». И, стало быть, как руководитель научной библиотеки, казалось бы, я был на месте, тем более, что на эту должность я был избран музейным советом: не я искал этого места, а меня искали.

2. Теперь несколько слов о самой библиотеке, без чего нельзя судить о ее характере и о моей в ней работе.

а) Избранный музейной комиссией на должность заведующего, я застал около 30 тысяч книг без инвентарей, т. е., в сущности, безличных, которых нельзя было ни принять, ни сдать формально в случае моего ухода.

На библиотеку был возложен Главнаукой, а затем и постановлением Губисполкома прием книг из ликвидированных учреждений, а впоследствии вре-

мени и тех, которые были изъяты из библиотек как непригодные для учащейся молодежи и широких масс.

Таких книг в раннее время мною было принято около 50 тысяч. Их приводилось свозить на склады, разбирать, сортировать, отбирать лучшие для инвентаризации и каталогизации, а негодные — в книжный отброс. За сдачей в Отдел утилизации около 4700 книг, в библиотеке или в ее ведении находится ныне около 75 тысяч книг.

Сейчас библиотека имеет инвентари для 50 000 книг, имеет карточные каталоги за то же число — алфавитный и систематический, систематизировал всю эту массу с самыми дробными подразделениями я — и это лучший памятник, который я оставляю по себе в библиотеке. И эта организационная работа проделана при двух библиотекарях и заведующем, причем библиотека все время функционировала. Разумеется, что все поступление не могло быть обработано, ибо за последние три года поступило около 40 тысяч книг: чтобы справиться со всей этой массой, надо десятки рабочих рук.

б) Работа эта производилась при самых тяжелых условиях: до 1925 года библиотека не отапливалась, а работы в ней шли;

в) До 1925 года не имела инвентарных книг, ибо их купить было не на что;

г) Библиотека не имела самостоятельного бюджета, и только в 1926 году ей было ассигновано 300 руб. на выписку книг, а затем на этот предмет расходовалось около 200 руб. в год, что шло, главным образом, на выписку научных журналов и покупку редких книг.

д) По разным причинам библиотека четыре раза должна была свертываться и развертываться, менять помещение, перепланироваться, что весьма тяжело отразилось на сохранении книг в порядке. Из этого видно, что главный упор был на организационную работу, иначе быть не могло по обстоятельствам дела.

3. Теперь о характере библиотеки.

Она состоит главным образом из книг старинных и старых по истории и вспомогательным наукам, как источника истории, археологии, музееведения и старых журналов, а по беллетристике — из классиков русских и иностранных, а частию и второстепенных писателей. Библиотека, в сущности, носит книжно-архивный характер. В ней хранятся книжные редкости вплоть до книжных курьезов — и этим она отличается от библиотек политпросветовского типа и ведомственных. Значит — книги в огромном большинстве представляют интерес для научных работников разных специальностей, но не для массового читателя.

4. Чтобы сделать библиотеку популярной, я устроил на разные темы, всего 13, как то: а) Некрасов и литература о нем (в юбилей Некрасова), б) краеведческая литература, в) по истории книги, в) неделю книги, г) журнал революционной сатиры (1905г.), д) по истории журнала (200 лет Акад. наук), е) материалистической и антирелигиозной литературы и т. п.

Наконец, я организовал Музей книги, единственный в СССР, посвященный истории книги.

Все эти выставки имели успех и сопровождались чтением лекций, экскурсиями студентов техникумов, совпартшколы и другими учащимися, красноармейцами, рабочими и крестьянами на разные темы, главным образом, по истории письменности, по истории книги, по истории журнала, значения краеведения и краеведческой литературы и т. п.

Теперь спрашивается — кто другой это делал в такой мере, как я. Я не только у себя выстраивал выставки, но и в Центральной Публичной Библиотеке (в неделю книги), но и в театральном фойе (юбилей Некрасова), и устраивал из своего материала.

Библиотека популяризировалась и заметками в «Северном Рабочем», и афишами в Педино, и ознакомлением профессуры с материалами, имеющимися в библиотеке, пригодными для тем на дипломные работы и для докладов. И действительно студенты работали в библиотеке для той или другой цели.

Затем я давал консультации по указанию и подбору литературы на разные темы и по разным отраслям знания студентам и всем желающим и нуждающимся в указаниях.

5. Все это я делал при массе сторонней работы по профессиональной, общественной и научной линии, участвуя в обществах, ассоциации при Губплане, Губоно и медсовета, в Бюро Секции научных работников, где я был членом с основания Секции, участвуя в Съездах и Конференциях, где я неизменно выступал с докладами, в научно-исследовательском институте, где я состоял членом Оргкомитета и выступал с докладами (за 5 лет 20 научных докладов). Читал лекции в клубах рабочим, служащим. Красноармейцам, в городе и в уездах (свыше 50 лекций), выступал в ДРП, проводя экскурсии пр., так что за последние шесть лет у меня средним числом ежегодно было свыше 100 в год выступлений. И при всем том — успел написать за шесть лет шесть научных работ, из них четыре крупных, в общей сложности до 35 печатных листов. Из них три напечатаны, одна лежит в Губоно, а три самых крупных увидят свет в этом году (до 30 листов).

Всему этому трудно поверить тем более, что научные работы необычайной сложности, но все это может быть удостоверено фактами и документами. Вот в общих чертах моя работа за последнее время. Значительность моей сторонней работы признает и Комиссия.

6. Состав постоянных читателей библиотеки кроме читального зала по отчету за 1929 год представляется в следующем виде:

Общее число зарегистрированных читателей, не считая тех, которые читали в библиотеке, — 194.

Они распределяются:

1. По возрасту:
а) от 16 до 30 л. 86 чел. 44,4%
б) от 30 до 56 л. 57 29, 3%
в) от 50 л. и выше 51 26, 3%

2. По образованию:
низшего образов. 12 6,2%
среднего 126 64, 8%
и высшего 56 29%

3. По профессионал. и социальному положению:
а) специалистов высшей квалификации 47 чел. 24, 3%
б) учащихся высш. и средн. школы 36 18, 5%
в) рабочих и служащих 74 38, 2%
г) безработных, пенсионеров и домаш. хоз. 37 19%

Посетители читального зала почти сплошь учащиеся или лица, занятые научными работами, т. е. работающие над материалом, на дом не выдаваемым.

7. Научная библиотека была два года обследована по каталогам специальной комиссией, и книги, считавшиеся недопустимыми в пользовании, были изъяты. Вот короткие сведения, необходимые для ориентирования в деле.

Теперь перехожу к замечаниям протокола.

1. «Заведующий библиотекой не принял никаких мер к ее приспособлению к современному периоду».

Отвечаю: как только были ассигнованы средства на выписку книг, я немедленно выписал сочинения К. Маркса и Энгельса, Плеханова, Ленина, все, что

издано Институтом К. Маркса и Энгельса, т. е.: всю литературу по материализму, литературу по марксизму и ленинизму (Сталин, Калинин и пр.), все выдающиеся антирелигиозные сочинения, В. С. литературную энциклопедию и ряд научных журналов, новейших сочинений по искусству и музееведению. Это продолжалось и в последующие годы, по мере отпускаемых средств.

Те выставки, которые я устраивал, те лекции, которые я читал, те консультации, которые я давал, полагаю, должны быть отнесены к «мерам приспособления к современному периоду». На все «кампании», которые велись, я отвечал книжными выставками. Я сопровождал все тематические выставки лекциями, экскурсиями и объяснениями. Так были все отмечены юбилейные и знаменательные даты: Некрасов (трижды), Декабристы, 1905 г., 200-летие Академии, Краеведческий Съезд, Музейный Съезд, 10 лет Октября, Морозов и Народная Воля, Недели книги и пр. Кто же дал больше? Был ли кому-нибудь отказ, кто обращался к моей помощи: дескать, не мое дело? Я всегда охотно шел навстречу всем. Если я выступал с каким-нибудь делом…

(Пропущен лист)

…вообще учащейся молодежи, в ДРП — в городе и вне города, теряя дни и ночи на переезды (в мои-то годы), она может убедиться, что я занимаю в Секции научных работников по числу выступлений неизменно, из года в год, первое место; ей говорит ряд видных народовольцев, что я вел огромную революционную работу в течение ряда лет в самое тяжелое время, и говорят в столь хвалебных выражениях (см. отзыв члена ВКП(б) В. А. Слепяна), что я постеснялся их зачитать публично. Комиссия все это видит и знает, но она всему этому не придает значения для характеристики моей личности и работы и делает свой нелепый вывод, что я кругом читателей не интересовался и относился к этому безразлично.

Чем она его обосновывает?

А вот чем: «На вопрос: как попадали подписчиками прежние купцы, ответ был таков: и приходили, и записывались, так как нам важно было вовлечь читателей».

Мой ответ не совсем был таков.

Я ответил, что по уставу библиотеки ограничений для читателей не положено, а стало быть, я не имел законного права кому-нибудь не давать книг. И в Ленинской библиотеке в Москве, и во всякой другой все читают. Положены ограничения для выдачи книг на дом. И я этого ограничения держался: на дом книги выдавались из особого отдела, не представляющего особой научной и материальной ценности, и я требовал ручательства как гарантии возврата.

Подход к читателям был разный, как и книги выдавались не без разбора. К старикам и старушкам один подход, к молодежи — другой, так и к книгам: одни выдавались, другие вовсе нет, даже в читальном зале, кроме исключительных случаев (например, богословские — для антирелигиозной пропаганды), с моего разрешения.

Записывались далеко не все: людям случайным, за город и т. п. я книг на дом не выдавал, а в читальном зале выдавал: ограничение положено возрастное — от 16 лет. Распространением круга читателей, популяризацией библиотеки действительно интересовался, ибо до моего назначения библиотека имела не более двух десятков читателей из членов архивной комиссии. И как видно из предыдущего — читатели были разных категорий, и число постоянных доходило до 350, не считая случайных в зале. Книг выдавалось около 9—10 тысяч в год. Я с местной буржуазией никогда знакомства не водил и связей никаких не имел. Кое-кого знаю по фамилиям. Вероятно, были два-три читателя из купцов, хотя я затруднился бы их назвать. Но если они и были, то по уставу я не имел оснований к их исключению и никаких директив в этом смысле я не получал.

3. На вопрос: «Были ли такие книги, как «Петербургские трущобы»?» Были: читали их старики да старушки.

Отсюда Комиссия делает вывод, что «прослойкой и важностью направления библиотеки в гущу читателей наиболее полезных для общественности Богданович А. Г. не интересовался».



Адам Егорович Богданович.

Откуда это видно? Из того, что старики и старушки читали «Петербургские трущобы»? Но ведь не одни же старики и старушки были читателями: 74% было читателей ниже 50 лет. Насчет «направления библиотеки в гущу читателей» — Комиссия не приняла в расчет общего характера библиотеки; за исключением беллетристики, которая почти сплошь хорошая (русские и европейские классики в огромном большинстве), рядовому читателю в ней делать нечего. Она может доставлять материал для научных работ, докладов, лекций и т. п. Значит, она только интересна для особой категории читателей: научных работников и студентов — постольку, поскольку у них нет под руками потребных книг. Для привлечения этого круга читателей сделано было все возможное.

4. «Таким образом, в музее и до сих пор нет еще должного порядка в библиотеке». В библиотеке хранились в неразобранном виде библиотеки, принадлежавшие ранее Голодухину и Вахромееву. Это простое недоразумение: названные библиотеки в полном порядке: имеют инвентари и каталоги. В этом легко убедиться.

Составитель протокола просто не понял, о чем шла речь. Заведующий музеем т. Иоссель ставил мне в упрек, что известные отделы библиотеки называются отделами древнехранилища Вахромеева, Голодухина (последняя по имени жертвователей). Я понял его так, что он желал бы обезличить эти отделы, чтобы не фигурировали имена купцов. Я возражал ему в том смысле, что это невозможно было сделать, так как книги заштампованы их штампами и имеют отдельную нумерацию, по которой книг нельзя было бы учесть и нельзя было бы ими пользоваться, а между тем это самые ценные отделы библиотеки. Составлять для них новые инвентари и писать новые карточки (16 000 книг, значит 32 000 карточек) у библиотеки не было ни времени, ни средств, и работа была бы бесцельной, так как все равно штампов не уничтожишь, а у библиотекарей была беспрерывная работа по инвентаризации и каталогизации вновь поступающих десятками тысяч книг, чего нет ни в одной библиотеке. Эта работа основная по директивам центра.

Для публикации — это литера В. и лит. Г., номер такой-то, ибо таковы условные обозначения нумерации.

Кажется, ясно, что этот упрек был неосновательным, а между прочим, он отнесся к непорядку в библиотеке, и что якобы библиотеки, принадлежавшие Вахромееву и Голодухину, не разобраны.

5. Далее в протоколе говорится: «Организационной перестройки и ее популяризации с точки зрения воспитательной не проведено».

Это не факты, а вывод Комиссии неизвестно из каких данных. Организационная работа ведется изо дня в день, и из предыдущего видно, что сделано весьма

много. Книги отбираются, инвентаризируются, а негодные сбываются в отдел утилизации. Но если ежегодно поступают десятки тысяч книг, то при недостаточном числе работников (работа все время шла при двух библиотекарях) многого не сделаешь. Достаточно простой справки: сколько всего книг в Центральной Публичной Библиотеке, сколько поступает ежегодно и сколько там работников, чтобы видеть огромную разницу. Год тому назад я принял от нее свыше 10 000 книг. Это значит, что она облегчает свое бремя, а на меня оно наваливается. Итак, Рабфак, Горсовет, б. клуб Томского и др. — все ко мне поступало — и давит массою книг, нуждающихся в разборе и обработке. Причем работать с ними по разборке можно только в летнее время, ибо склады не отапливаются.

А что касается популяризации библиотеки и ее воспитательного значения, то музей книги служит именно этой цели, книжные выставки тоже. Заметки в печати появлялись — объявления вывешивались. Что можно сделать больше? Кто читает в библиотеке лекции и проводит экскурсии? — Из библиотекарей больше никто.

6. «Современных установок нет, а в таком состоянии она (библиотека) обслуживать музей не может».

Кто сказал, что не может? Никто этого не говорил. Это вывод, ни на чем не основанный. И если бы кто это сказал, то это было бы неправдой. Библиотека имеет каталоги на 50 тысяч книг — алфавитный и систематический, с самыми мелкими подразделениями, так что сразу видно, какая литература имеется по любому вопросу. Что же можно дать больше? Новые издания выписываются с одобрения совета музея в меру отпускаемых средств. Откуда же это следует, что «обслуживать не может»?

«Не освободил библиота от ненужных предметов», как копия с дела о представлении Дмитрия митрополита Ростовского, и добивался согласия от Архивного Бюро, в то время как данный материал не имеет ценности для музея». Вовсе не добивался согласия. Подлинное дело я передал Архиву, а копию, как ненужную ему, оставил в библиотеке, ибо в ней находятся сочинения Дмитрия Ростовского, имеющие немаловажное значение для истории края, а в таком случае, рукописный материал, связанный с книжными коллекциями, по инструкции Главнауки оставляется в библиотеке. Научная библиотека при музее, как я уже говорил, имеет книжно-архивный материал: в ней хранятся и должны храниться книги устарелые, которые, не пользуясь общим спросом, но необходимы то как материал для научных работ, то для справок научным работникам. Разные жития святых, описания явленных и прочих икон, монастырей и т. п. представляют для историка и музейца ценный материал, так как обыкновенно изобилуют бытовыми и другими подробностями, хронологическими указаниями и т. п. данными, так что копию этого дела нельзя считать ненужной для библиотеки и музея. И ни один ученый не скажет, что она не нужна или неуместна. Достаточно указать на то, что сделал Ключевский с житиями святых или Морозов с таким же материалом в своем «Христе». Во всяком случае — вины тут никакой нет.

7. «Хранились два альбома архиерею Иенофану». По-видимому, речь идет об адресах этому архиерею. Это огромные книжицы с местными адресами, которые лежали на шкапу, так как на полки не вмещались. Они действительно не представляют для библиотеки никакого интереса, и такие вещи я сдавал архиву. Это случайно вышло из памяти и потому в свое время сданы не были. С ними одна возня, а толку никакого. Этим и объясняется мое замечание, что я рад от них избавиться.

8. «Серия фотографий дома Романовых». Я уже писал, что я не знаю о том, что они хранятся. Я не просматривал, а [кем] положены эти портреты во всяком случае — не понимаю.

По акту обследования значится, что портреты находились в газетных вырезках. Кто их туда положил и зачем, я не знаю, но положены они до моего назначения, ибо в инвентаре при приеме библиотеки и проверке наличности библиотекарями отмечено «нет». Это, разумеется, мелочь, и я не понимаю, почему они мне

ставятся в вину: потому ли, что не знал, или потому, что хранил. Если последнее, то заявляю: в библиотеке немало книг с царскими портретами, и не далее как на днях я выдавал художнику из театра книгу с портретами для зарисовки с театральными целями. Все это я объяснял Комиссии, и тем не менее этот ничтожный факт фигурирует в числе моих «вин».

9. «Учет инвентаря библиотеки еще только сейчас начинает как следует развертываться».

Я не понимаю, что это значит и откуда это взято. Никто ничего подобного не говорил. Я уже говорил, что оформил и завел инвентари на 50 тысяч книг, бывших «беспаспортными».

В этом моя немалая заслуга.

10. В своей резулятивной части Комиссия мне приписывает «фигурирование своими взглядами на марксизм как на необходимость для приспособления и доработать до академической пенсии».

Против такого заключения я должен протестовать. Я не приспособляюсь и ничем не фигурирую. Я обучал марксизму отцов современного поколения, и на это есть документальные данные. Марксист ли я нынче, или не марксист — на лбу не написано. Но есть мои последние работы, которые могут выдержать самую строгую марксистскую критику.

А работал я не потому только, чтобы доработать до академической пенсии (хотя в этом нет ничего дурного), а потому, что считаю свою работу важной, нужной и полезной. И все понимающие дело считали ее таковой. И ныне музейное управление старается использовать последние дни моей службы, чтобы взять с меня все, что я могу дать. И я даю охотно.

На этом я кончаю свое объяснение. Не по моей вине оно растянулось.

Я прошу Комиссию РКИ снять с меня незаслуженное обвинение и неправильную оценку моей личности и работы, отменив постановление об отнесении меня к третьей категории по чистке по следующим основаниям:

I. Приведенные Комиссией соображения или фактически неверны, или ложно истолкованы, или же преувеличены в своем значении, а стало быть, выводы, на них основанные, должны отпадать.

II. Увольнение меня по III категории не соответствует задачам чистки, как они изложены в разделе I Инструкции по чистке: за мной нельзя найти ни одного из тех признаков, которые изложены в этом разделе, и

III. Комиссия не исследовала моей работы в целом и существенных ее частях, а придала преувеличенное значение частным замечаниям двух-трех товарищей по службе, людей новых и работы моей не знающих.

Для меня отмена этого постановления имеет принципиальное значение: я не могу кончать свою полувековую работу с такой несправедливой оценкой. В отмене этого постановления я столько же нуждаюсь, как и Комиссия.

Вместе с тем, я заявляю, что на следующий день по отмене настоящего постановления я подаю заявление об увольнении меня от службы и уходу со службы в любой момент, когда музейное управление сможет меня освободить, найдя заместителя.

За свою будущность я нисколько не опасаюсь: один из «дедов» революции не останется без хлеба.

Для обозрения Комиссии, в подтверждение изложенного, представляю следующие документы, которые по миновании надобности прошу мне возвратить.

1. Выписку из протокола Комиссии М 3.

2. Записку о моей служебной, научной, общественной и профессиональной деятельности за 45 лет.

3. Копию с отзывов товарищей о моей революционной деятельности в рядах партии «Народная Воля»:

а) члена ВКП(б) В. И. Слепяна (подлинник был в руках Комиссии)

б) политссыльного Р. А. Протава

в) члена Института К. Маркса и Энгельса К. А. Гурвич
г) члена партии А. С. Павловской.
4. Удостоверение профсоюза Финконтруд от 31 июля 1920 г. о прохождении службы и профессиональной работы.
5. Бюро СНР[1] о профессиональной и общественной работе.
6. Губоно о работе по Губоно.
7. Ассоциация при Губплане о работе по Ассоциации.
8. Госмузея о службе и работе по научной библиотеке.
и 9. Отзыв Института Белорусской культуры (ныне Академии наук) о моих работах и особых заслугах по Белоруси.

Богдановичу

ВЫПИСКА: Из протокола № 60 заседания Ярославской Окружной комиссии по руководству чисткой советского и кооперативного аппарата при РКИ от 14 марта 1930 года.

§ 7. СЛУШАЛИ: Заявление Богданович Адама Георгиевича, рожд. 1862 года, по соц. положению из крестьян, б/п., ранее состоял в партии «Народная Воля», был учителем, после научный работник. В данное время работает заведыв. Музейной библиотеки Яросл. Музея.

За недостаточную постановку работы Библиотеки, которая не отвечает современным требованиям, склонность к сохранению предметов, которым не должно отводиться места в советском музее, и неспособность в будущем наладить и приспособить работы для необходимой раб. классу воспитательной работе, решением комиссии по чистке аппарата ОКРОНО от 30 марта с/г. снимается с работы по 3 кат.

(Неразб.) Присутствует Богданович.

ПОСТАНОВИЛИ. Решение м/комиссии ОТМЕНИТЬ. Вследствие преклонных лет БОГДАНОВИЧА рекомендовать Завед. Окроно освободить БОГДАНОВИЧА от занимаемой должности как требующей много энергии.

Печать Подлинный за надл. подписями.

Выписка верна: Секретарь окркомиссии: *подпись*

Подготовила Наталья КАЗАПОЛЯНСКАЯ.

[1] Секция научных работников.

ТАТЬЯНА ГРАХОВСКАЯ

«Не адкладай сустрэчу на пасля...»

Воспоминание об отце — писателе Сергее Граховском

Красота

Календарь отсчитывает годы жизни без него. Ушедшие близкие и любимые живут столько, сколько жива память о них. Для меня он всегда был и остается главным человеком в жизни. Я — папина дочка.

Красивый, высокий, обаятельный, остроумный, он выделялся в любой толпе. Я давно поняла, что вижу мир его глазами, хотя не всегда и не во всем мы с ним совпадали. Он учил видеть красоту во всех проявлениях, понимать ее, ценить, беречь. Это у него от Бога. Как, прожив трудное, нищее детство, 20 лет молодости и зрелости в заключении и ссылке — в постоянной борьбе за физическое выживание, — он сохранил это? Он жил среди такого ужаса, о котором просто нельзя говорить. Читаю его стихотворение «Детство», написанное «там», в апреле 1944 года.

Где-то в детстве моем комариная бестолочь бродит,
Где-то в детстве моем осыпается розовый сад,
Как надежда, багровое солнце восходит,
Совершая великий священный обряд...

Может быть, он рисовал эту картинку подобно тому, как другой творит молитву, чтобы выстоять еще день?

Всю жизнь любовался и нам показывал — небо, закаты-восходы, травы, цветы, птицы, домики, хуторки, садочки и палисаднички «з вяргінямі і мальвамі», искрящийся снег... и так до бесконечности.

Помню, из Сибири — он уже там, а мы еще в Белоруссии — попросил маму прислать краски, бумагу. Он хорошо рисовал, особенно любил пейзажи. И в письмах получаем рисунки цветов (в формате конверта). Помню их все: на одном три тюльпана, один — со склоненной головкой. И надпись его великолепным почерком: «Здесь такие цветы не растут, но это трио напомнило мне кусочек жизни».

Рисовал он именно в Сибири — может, это был выход в творчество, вместо стихов. Стихи себе писать там он не позволял, почти. Жаль, что большая часть его рисунков ушла из семьи — он их раздарил, передал в музей-архив. Осталось у меня три сибирских и два рисунка минского периода.

Папа был очень спортивным человеком. Бегал на коньках, ходил на лыжах, «плаваў, як малады Бог» (как сказал В. Тарас на панихиде).

Вспоминается «типичный» утренний заплыв в море, когда пляж еще пуст, а на море полный штиль. Плывем рядом, стараясь не разрушить всплеском стеклянную гладь воды. Только две головы бесшумно скользят «в сторону Турции». Молчим и жмуримся от счастья. И только выходя на берег, папа позволяет себе восхищаться и радоваться вслух. Он море впервые увидел в 43 года.

Едем на машине по загородной дороге. Он всегда рядом с водителем (зятем или внуком). Умиротворенно вздыхает, грустит: «Якія краявіды! Якая прыгожая Лагойшчына (ці Случчына, ці Ракаўшчына і г. д.). Якая Беларусь прыгожая!

Шкада пакідаць такую красу…» Теперь едем и будто слышим его голос: «Якія краявіды...» Молчим, грустим и ощущаем, что он оставил все это нам. Научил нас видеть.

А как лес любил! Сколько великолепных стихов он оттуда принес! Десятки...

Падсочаны лес,
Як падсечаны лёс,
Просіць ратунку
Ў зямлі і ў нябёс,
Хоць і не верыць
Забвенню і цуду
І не чакае
Адмены прысуду. …
(Гэта з Лагойшчыны)

В Минске, много лет подряд зимою ездил кататься на лыжах в парк Челюскинцев на троллейбусе. Лыжи у него длинные. Кондуктор однажды сделала замечание — надо надевать чехлы — носы лыж царапают потолок. Он мгновенно отреагировал, надел перчатки. И впредь всегда надевал, входя в троллейбус. Кондукторы улыбались.

Когда я присоединялась к нему, не допускал, чтобы смотрела только на лыжню. «Паглядзі ў неба, на сосны пад цяжарам снегавай шапкі, на елачкі, на снегіроў. Глядзі — заечыя сляды... А тут вавёрка лузала арэхі».

После первого инфаркта, обширного и тяжелого, очень страдал еще в больнице (т. н. «лечкомиссии»), что «отходил» на лыжах. Однажды, за несколько дней до выписки, доктор не выдержала его вздохов и причитаний («Что это за жизнь, если не покататься на лыжах!» А ему ведь уже за 60!) и сказала, что постепенно, потихоньку, можно будет и на лыжах походить. Боже, сколько было радости! Будто ему счастье вернули. Вообще, врачи этой больницы очень много сделали для моих родителей. Сколько раз вытаскивали отца с того света! Кардиологическое отделение стало ему почти родным, его там знали, надеюсь, что любили, и очень помогали.

Бывало, после очередной реанимации мы вползаем в палату чуть дыша, а он нам: «Нічога, нічога. Гэта яшчэ не канец, я ведаю, адчуваю, што вярнуся. Э! Ды мяне яшчэ аглобляю не пераб’еш! Я ж тут свой. І дактары, і сястрычкі, і санітаркі — усе мяне ведаюць як аблупленага, і я іх».

В последний раз, наверное, в 2001 году, совсем молодая бригада ночью вытащила его из тяжелейшего состояния, фактически безнадежного.

Всю жизнь повторял: «Мне шанцуе на добрых людзей!» И помнил поименно всех, ценил добро, постоянно нам напоминал, рассказывал подробно, чтобы и мы несли его благодарность дальше. И сам помогал бескорыстно всю жизнь очень многим, часто совсем незнакомым. Тут и молодые литераторы, и студенты, и просто люди, с которыми сталкивала судьба. Что-то читал, правил, просил за кого-то, ходатайствовал, убеждал, помогал вступить в Союз писателей, опубликоваться, издаться и т. д. Отправлял посылки, помогал деньгами.

Часто брался помогать, не дожидаясь, пока попросят. Его обязательность всегда была нам примером. Все сделает в срок и даже раньше. Понимал, что в редакции волнуются. Обещания всегда выполнял, никогда не опаздывал и очень ругал нас за малейшие опоздания.

Семья

На всю жизнь запомнился сентябрь 1963 года. Семья подводила первые итоги столичной жизни. Мама работала в одной из самых престижных минских школ и была в ряду лучших преподавателей математики, брат — школьник, я —

студентка Университета и только что вернулась из большой поездки по Черноморскому побережью. Отец (он не вошел, а буквально влетел в литературу) много писал, переводил, работал в редакциях, ездил, выступал, издавался. Семья жила в очень приличной квартире (и прожила в ней 45 лет). А семь лет тому назад отец приехал в Минск в валенках, в дешевом, тяжелом зимнем пальто и был, как говорят, «никем и звать его никак». Это был человек, лишенный права голоса, своего мнения, своих желаний в течение двадцати лет.

А 25 сентября мы отмечали папино пятидесятилетие. Полный дом гостей, родственники, друзья. Приехала из Сибири мамина единственная родная сестра с которой мы не виделись 15 лет. Все еще сравнительно молодые, полные сил, возбужденные и счастливые. Это и их праздник. Родные — дождались, друзья — дожили. Это друзья по общей судьбе. Груды поздравлений из всех уголков страны, от Союза писателей СССР, от «Литературной газеты» за подписью гл. редактора, знаменитого Чаковского. Сколько было теплых, искренних слов и пожеланий! Гости веселились так, будто им не по 45—60, а по 20—30 лет. Ведь они «пропустили» свою молодость и сегодня словно пытались в нее вернуться — хоть на вечер.

Все «однокашники» имели достойную работу, жилье, и главное, честное имя. Вечная признательность Н. С. Хрущеву живет в сердцах нашей семьи и, думаю, что большинства тех, кто был «с тавром». Мы, дети неволи, больше не были людьми третьего сорта.

Правда, один кадровик специфической наружности, однажды принудил меня указать в анкете судимость отца. Папа потемнел лицом и приказал: «Никогда этого нигде не пиши. Ты имеешь на это право».

Наступил период длиною около четверти века, когда писательская судьба отца складывалась удачно. Он жил и работал в полную силу своего таланта и трудолюбия. Человек, наконец, занялся любимым делом, и теперь уже навсегда, до последних дней долгой жизни.

Он жил литературой, проблемами языка и культуры своего народа, его достойного места в Европе и мире. Его волновали урожаи и стройки, архитектура и образование, судьбы многих знакомых и незнакомых людей, проблемы города и его «мястэчка». Но проблемы семьи, детей, а потом и внуков, были для него самыми главными.

Он был прекрасным мужем для нашей мамы, лучшим отцом и дедом. К сожалению, мы мало его радовали, и успехи наши были неизмеримо ниже того, на что он смел надеяться.

В доме его интересовало все — содержимое холодильника (когда-то это тоже было проблемой), наши успехи, двойки, записи в дневнике, крупные и мелкие конфликты в школе, уроки. — «Што вы зараз вывучаеце па беларускай ці рускай літаратуры? Падабаецца?» И что-нибудь обязательно расскажет или прочитает (если поэт, то прочитает, чаще по памяти, а автора назовет полным именем-отчеством).

Ответственно относился к нашему отдыху — «добывал» путевки, писал нам письма и открытки очень часто, и бывало, стихами. И требовал отвечать, волновался очень, пока не возвратимся. Радовался нашим обновкам — обязательно примеряли, а он говорил: «Падабаецца? Ну дык і добра. Насі на здароўе». Не помню случая, чтобы он отказал нам в деньгах, когда нам чего-нибудь очень хотелось («закарцела»).

Обожал семейные праздники, особенно новогоднюю суету, маскарад, подарки, писал каждому маленькие поздравления в стихах, готовил всем сюрпризы, привлекал к их подготовке внуков. Делал лотереи, фанты, наряжался сам волшебником (восточный халат, тюбетейка, нос-усы) и великолепные импровизации.

Вспоминаю свою первую елку, мы втроем встречаем 1949 год. Родители ждут повторного ареста отца, мешок собран. Они вздрагивают от каждого шороха, от шума каждой машины. Ночью я слышу, как они тихо, обреченно переговарива-

ются и ждут, ждут, ждут... Уже «забрали» того, и того, и того... (А пришли за ним майским воскресным днем!) А тогда они занялись елкой. Огромное дерево привез один из папиных взрослых учеников. А игрушки — где взять? Они сделали их сами. Вырезали, клеили, раскрашивали, посыпали блестками. И были такими удрученными, раздавленными, что их тревога давила и на меня, мешала радоваться. Долго жили в нашей семье две бабочки с той елки, теперь осталась одна — ей около 60 лет.

В Сибири у нас были красивые «магазинные» игрушки — присылал папин двоюродный брат, наш ангел-хранитель дядя Коля (Бобрик Николай Иванович). Деревенские дети, почти сплошь послевоенная безотцовщина, делали игрушки сами. Особенно популярны были цепи из бумаги — колечко красное, колечко синее, колечко желтое и т. д. Мне тоже хотелось быть как все и делать цепи, но папа попросил: «Не надо, доченька, я очень не люблю цепей».

В благополучной минской жизни тоже всегда наряжал елку, чинил гирлянды, все вместе вспоминали историю каждой игрушки, и папа очень гордился своей «елочной» работой.

В последние годы жизни ему тяжело было ходить по магазинам, плохо видел и слышал, не ориентировался в ценах. Покупка подарков превратилась для него в проблему. Сокрушался... Я посоветовала: «Ты напиши нам каждому стихи». Он выслушал и сделал по-своему, лучше.

Любое дело он делал по-своему, творчески, и всегда получалось неожиданно и лучше, чем ожидали.

Он написал семейное новогоднее стихотворение, где нашел для каждого добрые слова. Как мудро! После его ухода развалилась наша большая семья, нет и отчего дома, в котором родители прожили около 45 лет, но у каждой «семейки» есть экземпляр того стихотворения «На 2000 год». В нем мы еще все вместе и жив наш отец, наш фундамент и… много горя еще впереди.

Сегодня я понимаю, что мои старенькие, больные, слабенькие и почти слепые старички держали на себе всю нашу непростую семью с ее большими проблемами. Они были не просто нужными, но — необходимыми. Никто не мог их заменить ни в духовном, ни в бытовом отношении. Они не только помогали, а буквально спасали жизнь. Их дом на площади Якуба Коласа — дом «На ростанях» — принимал всех нас круглосуточно — перекусить, отдохнуть, поплакать, поделиться радостью, хорошей новостью. И нас, и наших друзей.

Папа мечтал и не надеялся дожить до 21-го века. Лет за 10 до его наступления в новогоднюю ночь он поднял тост за нас — тех, кто будет жить в 21-м веке. Ему, как ребенку, казалось, что там, за порогом новогодней ночи, будет новое светлое счастье для всей семьи. Он прожил почти два года в желанном веке, два очень трудных года.

Оглядываясь назад, в 1950—60-е годы, я не понимаю, как у него хватало сил и времени таскать меня повсюду за собой, возить по «столицам», чтобы показать выставки, музеи, дворцы, фонтаны, архитектуру, городскую скульптуру, городские пейзажи. Москва ночная с борта теплохода, Ленинград с Невы, Петергоф с Финского залива... А мне было 10, 11, 12 и т. д., — до 20-ти. Я падала с ног, а он вел меня почти ночью, чтобы показать очередной дворец непременно сквозь освещенную листву; с определенной точки. Гидом был Никита Корнельевич Юрковский. Незаурядная личность, историк от Бога, сын ленинградского архитектора. Никита был неутомимым, увлеченным, вдохновенным гидом. Тоже наш друг по Сибири — он «отбывал» — отрабатывал свое распределение после института. В Москве были гиды не хуже, и тоже сибирские друзья. Каждый вечер составлялся план на завтра. Теперь я думаю: «Молодой еще мужчина, стосковавшийся по обществу, друзьям, у которого куча дел литературных, издательских, а на первых порах и юридических (туда, в эти высшие инстанции, я его тоже сопровождала), да мало ли...

Посидели бы в ресторане, просто поболтали бы без детских ушей... «Расслабился» бы, как теперь говорят. Став взрослой, я поняла, что все: Третьяковку, Эрмитаж и прочие дворцы-музеи, я увидела по-настоящему именно с ним. Вдумчиво, основательно, не торопясь. Он рассказывал, показывал, предлагал еще раз вернуться. «В этом зале, у этой картины, доченька, мы пробудем долго, и я тебе расскажу... и мы посмотрим с разных точек... и еще вернемся...» А он-то откуда все знал? Когда, и где успел?

Я очень редко теперь бываю на выставках, а когда бываю, то остро ощущаю свое «сиротство» — нет рядом моего надежного спутника, который мог рассказать о картине и о судьбе художника и обнять за плечи теплыми руками. И везде встречались ему знакомые люди, с которыми раскланивался, обменивался парой фраз.

Много внимания уделял и внукам, но прежних сил и возможностей уже не было. Машенька, младшая, ходила с ним в основном на минские выставки. Мои родители постарались обеспечить Маше хорошее образование. Она училась в английской и музыкальной школах, успешно их окончила. Они были счастливы, когда собиралась вся семья (а было это часто — на все праздники, дни рождения, просто выходные дни). Машенька безотказно исполняла на пианино «концерт по заявкам», не обходилось без «Реченьки».

Он пережил глубокую боль, когда Маша не поступила с первой попытки в институт, и не дожил до следующей, Маша поступила и успешно учится. Радостей в его жизни, особенно в последние 20 лет, было очень мало. По нашим с мамой оценкам, взлет его жизни пришелся на период с 1956-го по 80-й годы.

И память снова возвращается в лучшие годы, в наши праздничные застолья. Мама все силы вкладывала в эти семейные приемы. Они всегда заканчивались чтением стихов. Папа читал свои новые стихи или переводы, классику, куски из «Новай зямлі», много русской поэзии (он «метрами» знал поэзию наизусть — у него была феноменальная память.

Читал любимые строки Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Кедрина, Сельвинского, Слуцкого и многих, многих других. Часто читал наизусть пастернаковское определение поэзии:

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Заглянешь к нему в комнату — работает, стучит на машинке, бормочет, шепчет. Никогда не отгонит грубо, спросит, что надо. Любил аккуратную работу, в старости сокрушался, что много делает опечаток, забеливал, вырезал буковки и вклеивал. Вот бы компьютер ему — сколько бы радости получил от его возможностей! Очень любил и ценил хорошую технику и не переставал восхищаться человеческим гением.

Конечно же, очень много читал и нам рассказывал, и давал прочесть, а потом обсуждали, нередко спорили. Помню, с восторгом дал мне почитать записки К. Симонова «Глазами человека моего поколения». Он был знаком с Константином Михайловичем, восторгался им, вместе ездили на праздники поэзии. Спросил: «Ну, как?» Я ответила, что интересно, но, по-моему, не совсем искренне, ощущается желание оправдаться и обелиться без покаяния. «Я бы назвала эти записки «Глазами человека моего положения». Насупился, огорчился, но спорить не стал. Вздохнул: «Ты слишком категорична». Видимо, он был прав. Есть у меня такой грех, достаточно наломала я дров из-за этой черты своего характера. Помню вечер Симонова в Доме офицеров. Конечно, повел нас папа, и оглушительное, щемящее впечатление от авторского чтения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Жди меня». По-моему, лучше Симонова никто его стихов не читал. То же могу сказать и о чтении отцовских стихов. Мне кажется, что никто лучше не читал — ни своих, ни чужих.

С особой теплотой я вспоминаю, как в школьные годы ходили в старое здание Союза писателей на ул. Энгельса на просмотры новых фильмов, на встречи с писателями, актерами, режиссерами и другими интересными людьми. Выступающие в этой небольшой аудитории были более раскованными и искренними, чем в официальных больших залах. Запомнила выступление Сергея Образцова, летчика Девятаева…

Дома обсуждали. Хорошая это была традиция, умная, добрая, — люди ближе знакомились семьями, что особенно было важно для нашей семьи. Директором этого клуба была Оксана Кулешова.

По приезде из Сибири на отца свалилось все — надо было завоевывать свое место в литературе, поставить на ноги семью, обеспечить ее всем необходимым — жильем, работой для мамы, ввести «сибирских дикарей» в столичную жизнь. Показать, проводить, научить, познакомить. Старый писательский дом очень помог и ему, и нам.

Приехав в Минск, я пошла в 6-й класс, хотя родители колебались — потяну ли после сибирской деревенской школы? Может, повторить 5-й класс? Я и слушать не хотела. Их сомнения оправданы, ведь на меня свалились два новых языка — французский (я изучала немецкий в папином преподавании) и белорусский (которого я не знала совсем). Преподавательница французского (обаятельная, замечательный педагог Полина Григорьевна) взялась «подтянуть» меня. Я ходила к ней домой полгода. Видели бы вы нищету и убожество этого «дома»! Послевоенный Минск — этим все сказано. Крошечная комната, вход прямо с улицы, кажется, даже без прихожей, и... три поколения обитателей. И никаких денег! Боже сохрани! Такие были нравы!

А на первом диктанте по белорусскому языку я спросила у соседки, что мне делать. Она ответила коротко и ясно: «Як чуецца, так і пішацца». В конце диктанта соседка заглянула ко мне в тетрадь и ужаснулась. Я писала «кропка», «коска», ведь Мария Исааковна так диктовала. Анализируя результаты, строгая и мудрая учительница вздохнула и сказала: «А табе, дзяўчынка з Навасібірскай вобласці, трэба шмат дадаткова займацца. Ёсць каму дапамагчы?» Я благодарно кивнула головой и была счастлива, что она не «распинала» меня и не насмехалась.

Другие учителя «сочувствовали» мне и предлагали «освободиться» от белорусского языка. Папа грустно улыбнулся: «Нічога, дачушка, здолеем». Мой дневник подписывал по-белорусски. В фамилии Грахоўскі «ў» бросается в глаза. Учителя обращали внимание на такую «з’яву» и относились, конечно, по-разному.

Однажды, это был 1961 год, отец сказал, что сегодня ночью будут снимать памятник Сталину на Центральной площади. Спросил: «Пойдешь со мной?» Не скажу, что мне было так уж интересно, но из уважения к папе...

Была поздняя осень. Ближе к полуночи начались работы на площади. Скопилось много мощной военной техники, машин типа бронетранспортеров, подъемный кран. Памятник был сделан на века. Огромный, на гигантском постаменте, понятно, что на мощном фундаменте. Мы забрались на третий этаж недостроенного музея Отечественной войны. Других зрителей там почти не было, никто нас не потревожил. Это была очень непростая операция. Памятник несколько раз взрывали, а он стоял, отлетал только верхний глянцевый слой, полировка. Дым рассеивается, а он стоит.

«Не хоча сыходзіць. Няужо яшчэ вернецца?» — шептал отец. Фигуру пытались свалить — накидывали на шею петлю из троса и тащили. Не смогли свалить — мощи машины не хватало, она тряслась и надсадно гудела. Мы простояли часа два, папа бормотал: «Няўжо я дажыў да гэтага?» Мы понимали, что во что бы то ни стало к утру все должно быть сделано. Окончания мы не дождались. Папа пожалел «ребенка».

Через пару дней площадь была пустая, чистая, только выделялся цветом новый прямоугольник брусчатки.

Папа дружил с моими подругами. Наш дом был штабом моей компании. Вместе делали уроки, решали задачи по телефону. Мы за письменным столом, а он потихонечку в «Столичный». И уже угощение на столе. «Девчатки, чай пить». И проведет до дверей, попрощается. Когда я уже жила отдельно, подружки иногда забегали к родителям. И, встретив, не проходили мимо. Обязательно передаст: «Видел Свету (или Инну, или Наташу), поговорили...»

Книги

Всем членам семьи отец помогал материально, особенно мне. Я жила отдельно, и квартира, и машина, не говоря о более мелких покупках, — все его заслуга. Даже в строительство нашей дачи успел что-то вложить. Когда я смущалась, не хотела брать денег, говорила: «Тебе уже столько лет, а ты работаешь как каторжный, ты заслужил и заработал отдых», — он отвечал: «Я ж не ўмею адпачываць. Я працую заўсёды. Мая праца — мая найвялікшая радасць. Гэта ж — любімая праца. Я хачу, я павінен(!) яшчэ нешта зрабіць у Літаратуры. Расказаць тое, што ніхто больш не раскажа. Не зарабіць, а зрабіць!» — подчеркивал он. Не позволял брать взаймы деньги, «пакуль я магу...».

А его главным богатством были книги. За жизнь он собрал четыре библиотеки. Первая пропала в 1936 году. Вторая — при переезде в Сибирь из Уречья (часть книг мы везли с дедом, но на станции Барабинск весь наш багаж украли — в основном книги). Третью библиотеку оставили в Сибири — вывезти было невозможно, да и некуда — ни кола ни двора. Говорил: «Усё, больш кніжак не купляю! Ёсць бібліятэкі!» Где там, в Минске собралось тысячи 2,5 — 3 томов. Как он любил свои книжки, каждую помнил, ценил добротную полиграфию, иллюстрации, бумагу. Активно пользовался справочниками, словарями, всегда был готов дать любую справку. Звоню с работы: «Папа, как лучше сказать по-белорусски?» — «Пачакай, зараз...» Не любил давать книги «почитать». Как говорят: «Отдаешь руками, заберешь ногами».

Мне иногда доставалось за самоуправство — часто раздавала его книжки без разрешения и годами не могла вернуть, и редко возвращались все. Потом он долго меня упрекал. Помню только один случай, когда простил пропажу книги. Я училась в школе, папа обратил внимание на фамилию учителя истории — Таубин. Выяснил, что Борис Израйлевич — родной племянник погибшего покойного его друга, талантливого писателя Юлия Таубина. Папа рассказал ему все, что знал о Юлии, его творчестве и судьбе, и передал почитать сборничек стихов Ю. Таубина, вышедший в годы «оттепели». Предупредил: «Только почитать, книжка прошла, и ее уже не купить». Я хорошо помню эту тоненькую, темно-розовую книжечку в твердом матерчатом переплете, с портретом Юлия. Прошло несколько месяцев. Книжка не возвращалась. Папа попросил напомнить. Я понимаю, что он жалел меня, — мне было трудно, неприятно, но... пришлось. Бедный Борис Израйлевич покраснел, как школьник, и, смущаясь, глядя в сторону, проговорил: «Таня, клянусь, что это правда. У меня ее украли в учительской, из стола. Я надеялся, что почитают, полюбопытствуют и вернут, но... Я очень виноват перед твоим отцом». Рассказываю папе, он вздыхает, но прощает (!) и говорит: «Можа, і сапраўды — сцягнулі, а калі пакінуў сабе, дык папікаць яму нельга — гэта, можа, адзінае, што будзе на ўспамін ім пра дзядзьку. Няхай. Ім патрэбней».

В старости сокрушался, говорил: «Вы не сможете сохранить квартиру и библиотеку». Библиотеку начал пристраивать сам. Много, около тысячи книг передал постепенно в Глуск, сотни с авторскими автографами в архив литературы. Теперь, проходя мимо родительского дома, я заставляю себя поднять глаза на когда-то такие родные окна. Они теперь совсем другие, и правое крайнее не зовет светом настольной лампы, по абажуру которой летели им накленнные мотыльки. Из окна кухни мы смотрели на проспект, поджидая его, и радовались, увидев

характерную поступь — когда-то стремительную, а в последние годы он ходил потихоньку, с палочкой.

Остатки (большую часть) библиотеки подарили Белорусскому государственному университету культуры и искусств. Спасибо Лидии Симоновне Савик, руководству университета и сотрудникам библиотеки — приняли, упорядочили, дали новую жизнь папиным книгам. Пусть пользуются люди — может, вспомнят добрым словом их хозяина. Себе я и Маша оставили совсем малую часть этой библиотеки. Часть взяли друзья. Чего греха таить — скучаю я без папиных книг. Они сохраняли запахи его комнаты — лекарств, старой бумаги, одеколона и воспоминаний. В них можно было найти его бумажки с рифмами, карандашные комментарии, подчеркнутые чьи-то рифмы и строки.

Королищевичи, «Ислочь»

Папа приехал в Минск в 1956 году, один, с целью найти работу где-нибудь в Белоруссии, зацепиться, а потом перевезти семью.

С вечной признательностью я думаю о «тете Владе» — вдове Янки Купалы, тогдашнем руководстве Союза писателей и литфонда. Они протянули ему руку, поддержали, устроили на работу, помогли с жильем — сначала отправили в Королищевичи, а через несколько месяцев на юг. Так постепенно решалась проблема жилья. Отец очень подробно пишет об этих месяцах в дневниках. О своих впечатлениях, знакомствах, поддержке Петруся Бровки, Анатоля Велюгина и других.

Королищевичи стали ему вторым домом на всю жизнь. Как он их любил! Не знаю, бывал ли кто-нибудь там дольше, чем отец. По-моему, он жил там по полгода. Дачи у нас не было. Большая часть им написанного сделана там.

Обстановка в Королищевичах отличалась каким-то семейным уютом, доброжелательностью, теплотой. Кроме всего прочего — это преимущества малого дома, небольшого коллектива. Мне нравилось приезжать к отцу на день-два зимой. Жили писатели без жен, без детей и внуков. Все работали, знали, кто что пишет, кто когда работает, кто когда отдыхает. Днем ходили на лыжах, лепили фигуры из снега. Вечерами часто собирались в чьей-нибудь комнате, читали написанное, обсуждали, вспоминали. Кому-то подсказывали рифму, а для кого-то подбирали название новой книжки. Иногда в качестве приза за лучшее название выставлялась бутылка коньяка. Я сидела тихонько и слушала.

Вспоминаю один свой приезд, «как снег на голову». Вошла в его незапертую комнату, хозяина нет. Выхожу на аллею, ведущую к столовой от дома. Мороз, огромные ели в снегу по обе стороны аллеи, и вижу отца, который идет мне навстречу как по дну высокого, сказочного тоннеля из заснеженных елей. На душе радость — вокруг снежная сказка и папа рядом.

И после дежурных вопросов-ответов обычное: «А ведаеш, мне тут добра працавалася, і нешта, здаецца, атрымалася. Пачытаю, калі хочаш». Сколько вдохновенных страниц его дневников посвящено Королищевичам и их обитатателям! Думаю, трудно переоценить значение этого дома. У писателей была возможность работать, тесно общаться, жить в покое, в дружественной и родной им среде. Папа посвятил Королищевичам и их расцвету и прощанию с домом стихи.

А летом — другая обстановка. Жены, дети, внуки. Костры, шашлыки — это по папиной части. Лягушачьи концерты, ягоды, купание в Стайках. Новичкам все покажет — и дорогу, и ягодные места, и местные красоты. После инфарктов тяжело было ему нагибаться за черникой. Идем по лесу, он с палкой, зовет: «Абяры купінку, а якія ж буйныя ды прыгожыя!»

В «Ислочи», мне кажется, не было того «писательского братства».

Слишком много было посторонних, чужих людей, шум, гам. Комфорт был, а теплоты, семейности не было. Там он тоже устраивал кострища, лавочки на

берегу Ислочи, которые неизменно ломали и сжигали. Может, со временем бы что-то наладилось, но... Пришли другие времена.

Мы приезжали к нему, он читал новые стихи. Из написанного там очень люблю стихотворение «Стары млын» — эта мельница в деревне Полочанка. И дорогу туда любил — старинную дорогу, мощенную булыжником. А вокруг высоченные старые ели, сосны. Поразительно, что его любовь к лесу сохранилась на всю жизнь. Десять лет лесоповала и шесть лет поселения среди тайги, — а любовался, жалел каждое деревце. Помню, в Сибири, когда строил дом, ставил забор, вздыхал о каждом дереве. Знал и постоянно пополнял свои знания о деревьях, животных, их привычках. Под рукой держал энциклопедию «В мире животных», чтобы не попасть впросак, например, в сказках о животных.

Перед деревьями винился: «О, колькі я іх спляжыў!» А валил, пилил, колол мастерски — жизнь научила.

Помню едва ли не последнюю его поездку в «Ислочь»; мы нагрянули в день его рождения. Это был, кажется, 1996 год. Внук Андрей вернулся из поездки во Францию, купил машину, и мы явились с ворохом впечатлений, на новой машине, с угощением, цветами, шампанским, подарками. Полный «экипаж». Он нас не ждал, мы нарочно не предупредили, чтобы не суетился. За накрытым столом Андрей рассказывает о поездке. Говорим папе: «А у нас новость, но не волнуйся — хорошая, даже очень хорошая. Угадай». Он думает, заранее радуется (ох, не часты хорошие новости в нашей семейке) и роняет: «Андрей женится!» Не угадал. Ведем показывать машину, которую оставили за углом. Он усаживается на переднее сидение, Андрей делает «круг почета». Мои родители счастливы, внук становится на ноги, отслужил в армии, закончил институт, работает... Ему очень хотелось гордиться детьми и внуками, но мы его, к сожалению, радовали мало. По моему наблюдению, у каждого человека свое понимание счастья, и оно складывается из того, чего ему не хватает. У кого-то здоровья, у кого-то денег, у кого-то любви, у кого-то таланта, у кого-то достойных детей.

А тот день все мы запомнили как счастливый, хотя в «Ислочи» уже было пусто, безлюдно, дух запустения вползал в роскошный дом. Ощущали, что не за горами прощание с этим домом...

Сибирь

В Сибири мы прожили шесть лет, но вспоминали и вспоминаем всю жизнь. Та жизнь была слишком не похожа на до... и после. Там сложилась семья, у меня родился брат Александр, папа построил дом, и было все при доме, что положено деревенской семье. Дом помогли построить наши друзья. Это был единственный в округе дом, построенный «ссыльными», и едва ли не единственная полная семья. С нами был даже дедушка, Михаил Андреевич, мамин отец, который украсил наше детство, как украшают его только бабушки и дедушки.

Родители работали в школе. Папино преподавательство тоже было уникальным случаем в нашей среде. Ведь даже после полной реабилитации, когда он вернулся в Минск в 1956 году, ему отказали в преподавательской работе, а здесь... Три года подряд мама буквально пробивала ему работу с привлечением самых высоких областных инстанций, пока с ними не «устали» бороться местные чиновники. Ему бы зашиться в «свои» предметы — немецкий язык, рисование и черчение, и не высовываться. Но его деятельная, творческая натура брала свое. Он был по природе лидером, организатором, все делал творчески, лучше всех. Не умел и не хотел «отбывать», он «горел» на любой работе. Все делал с радостью, с азартом. Он организовал настоящий детский театр, где дети — деревенские и детдомовские — все делали сами, декорации, костюмы, музыку, сценические звуковые, шумовые эффекты. Откуда он это умел? Когда и где этому учился? Помню, как делал он выразительные новогодние

маски — зверей, людей, какие-то рожи, химеры. Это была сложная и кропотливая технология. Я помню ее до сих пор. Подозреваю, что он изобрел ее сам. Он хорошо лепил. А ведь никаких материалов — все проблема, нельзя было ничего купить. Каждый гвоздь, каждый кусок тряпки были ценностью. Многих завистников это раздражало, как обычно. А их с мамой качество преподавания на фоне малограмотных местных «учителей»? Как много папа дал обездоленным послевоенным детям! Некоторые деревенские дети ходили в школу по очереди (одни «пимы» на всю семью). Отца они обожали и смотрели, что называется, в рот. Самые неуправляемые детдомовцы становились лучшими друзьями. Были любимые ученики, за судьбами которых он следил потом много лет издалека и гордился.

Отец умел, кажется, все: чинил нам обувь, ходил за скотиной, ухаживал за огородом. Летом мама надолго уезжала, она училась в заочном институте, он один крутился с хозяйством и двумя детьми. И в лес успевал сходить. Я не помню, чтобы мама ходила за ягодами или грибами, — ей было не до того. За ягодами мы с ним ходили вдвоем… хоть он не очень любил это занятие, а вот грибы обожал собирать. И любовался лесом, душой отдыхал, всегда приносил какие-то лесные истории, «заячий хлебушек», само собой. Иногда они с мамой летом уходили вечером в лес вдвоем, лес ведь рядом с домом, устраивались на полянке и пели дуэтом. У обоих был и слух, и очень приличный голос. Пели они замечательно.

Вспоминаю свой сибирский «лесоповал». Мне 10 лет. Нас школа выводит в лес на заготовку дров. Помню и свою норму — 1 куб. м готовых дров. Конечно, малыши в бригаде со старшими. Я счастлива, я ведь уже большая, я — как все. Слышу, папа тихо и грустно говорит маме: «Вот и моя дочь идет на лесоповал...» У него сжималось сердце. Норму мою выполнили его ученики, старшие ребята, хотя и я очень старалась, и была счастлива. Было так интересно.

Однажды кто-то из подружек спросил: «Почему твой папа носит воду?» Воду брали из реки, очень крутой подъем, это неблизко и непросто. Носили по два ведра на коромысле. Я и не обращала на это внимания. Мне пояснили, что папа — единственный мужчина в деревне, который носит воду. Носил на коромысле, как сибирячки, по многу ходок в день. Деревня относилась к этому уважительно. Когда он уехал в Минск среди зимы, ох, и намучились мы с мамой из-за воды. Папа прорубал ступеньки зимой на обледенелой круче. Нам это было не под силу, и мы с ней с каждым ведром по нескольку раз скатывались вниз. Тянули одно ведро — с двумя нам бы и вовсе не управиться. После каждого падения обрыв обледеневал еще больше.

Наша колония «ссыльнопоселенцев» жила очень дружно. Таких отзывчивых, искренних, интеллигентных, самоотверженных и верных друзей я больше в жизни не встречала. Особенно уютно проходили встречи в крошечном домике Анны Яковлевны и Эллы Григорьевны. Люди разных судеб, образования и культуры находили общий язык и выживали сообща.

В первые годы без электричества и радио, при керосиновой лампе собирались, говорили, обсуждали местные и столичные новости (из писем) и пели. Как они замечательно пели! Вдохновенное исполнение многих «вечных» песен я ясно вижу и слышу и теперь. Папино лицо, когда он запевает «Выхожу один я на дорогу», или свою любимую «Вечерний звон, вечерний звон...» А Элла Григорьевна с остальными вторят: «Бом, бом, бом, бом...»

Такая же колония сложилась и в райцентре Северном. И там был заезжий дом и клуб одновременно. И тоже две женщины рулили этим «кораблем». Теперь с мамой вспоминаем и удивляемся, как эти немолодые женщины без работы и зарплаты выдерживали такую нагрузку — всех принять, накормить, уложить, отправить дальше, утешить и вселить надежду. Это братство да еще папиных *лагерных однокашников* сохранилось на всю жизнь. Куда бы я, уже взрослая, ни собралась в командировку или на отдых, папа вспоминал, кто из «своих» живет в Казани или в Сухуми, и передавал письмо. В тот дом можно было всегда постучаться.

Однажды я услышала от отца фразу: «Эта проклятая Сибирь...» Я обиделась. Убеждена, что он сказал это сгоряча. Это неволя и бесправье проклятые, а Сибирь — замечательная. Конечно, родители пережили там много трудностей и унижений на первых порах, но Сибирь ценит личность, а не анкету, и воздает по справедливости. По крайней мере, в те годы было так. Родителей там ценили, уважали и помнят до сих пор. Мы были там по-своему счастливы. Правда, о будущем детей было думать им очень больно. Но дружно, интересно жили. А какие люди были вокруг! Вспоминаем Сибирь с теплотой и нежностью всю жизнь. Там остался навсегда наш любимый дедушка Михаил Андреевич.

Могилы маминых родных отметили горестными вехами жизненный путь моих родителей. Ее мать похоронена в белорусском Уречье (этап жизни «З воўчым білетам»). Отец и сестра — в Сибири. Они ехали вслед за своей любимой дочкой и сестрой.

Писательская судьба. Дом дружбы. Праздник в Глуске

Отца отличали высокая профессиональная эрудиция, феноменальная память, способности к языкам, к музыке, живописи, ваянию. Читал практически всю издаваемую литературу и старался похвалить, отметить лучшее, посоветовать и просто сказать коллеге: «З задавальненнем прачытаў...»

Его талант постепенно набирал силу, и лучшее он написал в старости. Он использовал все отпущенные ему годы и дни полностью и сверх того. Считал, что его долг рассказать о недоживших друзьях и их времени, о своем народе и земле, о культуре и языке. Не уставал повторять, что белорусский язык — ключ к пониманию всех славянских языков. «Вы не згубіцеся і не разгубіцеся ні сярод палякаў, чэхаў ці славакаў, зразумееце, што кажуць, і вас зразумеюць».

Работал, работал, работал... Уже в преклонные годы, иногда, в дни усталости, болезни, душевной депрессии, говорил: «Больш не магу і не хачу пісаць, мабыць, гэта была апошняя публікацыя. І каму гэта трэба, хто гэта надрукуе і прачытае?» Или: «Усё. З паэзіяй скончана. Буду пісаць толькі прозу. У мае гады ўжо няёмка пісаць вершы». А мы и не перечили: «Отдохни. Сколько можно работать?» И думали, может, он прав — зачем терять уровень?

И вдруг — выглянуло солнце, порадовали дети или внуки, кто-то сказал доброе слово, отпустила боль — и снова полились стихи, лучшие, самые лучшие, как в одном из моих любимых: «На рыначным стракатым фоне...» («Саксафаніст»).

Мастерство требовало постоянной тренировки, и когда не писалось свое, он с огромной ответственностью и творческим азартом переводил. Душу вкладывал в переводы — Пушкин, Блок, Гамзатов, Шефнер, Браун, Дудин, Воронько, литовцы, латыши... Много страниц его дневников посвящено мастерству перевода. Месяцами дорабатывал переводы своих стихов на русский язык, сделанные российскими поэтами. Спорил, ссорился, переписывал, но добивался.

И все же я абсолютно убеждена, что ни один перевод его стихов не поднялся и близко до уровня оригинала. Куда-то пропадала мелодия, магия, чудо, волшебный свет стиха.

С большим уважением относился к работе коллег. В дневниках с сожалением и болью пишет, что кого-то забыли, не издают, не вспоминают, а это поэт европейского уровня. Им бы гордиться… Несколько записей именно таких сделаны о А. Кулешове. Он его очень высоко ценил, и воспоминания о Кулешове у него замечательные.

Ходил на все творческие писательские вечера, активно участвовал в их подготовке, выступал сам. Всегда тщательно готовился к выступлениям. Слушатели ждали его выступлений — их отличала содержательность, свежие мысли и незнакомые факты, поэтичность, эмоциональность, лаконизм. Возмущался, когда

писатели игнорировали юбилеи коллег. К равнодушию был непримирим. В дневниках пишет о каждом вечере, и типичная запись выглядит примерно так: подробно описывает сценарий, кто и как выступал, оценивает аудиторию и... сколько было писателей, нередко перечисляет поименно.

Часто бывал членом делегаций на днях литературы в разных концах страны — Литва, Латвия, Украина, Средняя Азия, Дальний Восток, Пушкинские, Некрасовские, Есенинские дни поэзии. Тщательно готовился, успешно выступал. Возвращался из таких поездок окрыленный, и рассказам не было конца — новые знакомства, удивительные судьбы, впечатления, обычаи, приемы, встречи с читателями, быт другой страны. А как ценны были личные знакомства писателей! Налаживались связи, переводили друг друга, знакомили своих читателей с новыми именами. Это был счастливый период его жизни.

На мой взгляд, его писательская судьба была уникальна для Белоруссии. Писатель, который прожил почти 90 лет — весь 20-й век, — работал, печатался до последних дней. Был знаком почти со всеми писателями-современниками и их творчеством. Работал в литературе с поразительной плодотворностью более 45 лет, а начал фактически в 43 года. Издал более 60 книг, написал несчетное количество публицистических статей, работал во всех жанрах, годами вел образовательно-литературные программы на телевидении «Літаратурная Беларусь», был постоянным автором на радио, объездил всю республику и неутомимо нес слушателям белорусское поэтическое слово. «Хто, калі не я, не мы — пісьменнікі».

Активная гражданская позиция была его сутью. Это его город, его страна, он должен, он обязан... Живо интересовался судьбой Минска, вмешивался в его судьбу. Его хлопотами в столице есть улицы Леси Украинки и Сергея Мержинского. (Кстати, его хлопотами восстановлен Октябрьский район и прославлена Рудобелка, написана книга о В. З. Корже.) Он соавтор одной из первых послевоенных книг о столице «Мы расскажем про Минск». Из четырех авторов он ушел последним. Дружил с архитекторами, скульпторами, художниками, композиторами. Ходил на их выставки, концерты. Ему было все всегда интересно. Его способности удивляться, восхищаться, любоваться до глубокой старости мне не с кем сравнить. Построили в Минске метро — он среди первых пассажиров, в шесть часов утра. Тщательно осмотрел каждую станцию. Восторгам и гордости нет конца, будто первый раз в жизни метро видит. Это ведь метро в его родном Минске, «а я ж яго памятаю...». Через месяц после пуска метро спрашивает у нас с мужем: «Ну, как? Не видели? Марш сейчас же и возвращайтесь сюда. Отчитаетесь».

У него не было ни одного творческого вечера, хотя было несколько юбилеев. Он каждый раз говорил: «Мне прапанавалі, але я адмовіўся. Не хачу хваляваццa». Теперь думаю — почему? По-моему, он боялся возможной боли, горечи разочарования, если что-то не получится, не придут люди, придут не те, кого ждешь, не придут коллеги. Или так «прапанавалі»… Мало ли...

Но покойный А. М. Ваницкий (пусть земля ему будет пухом, и лежат они сейчас рядом), директор Дома дружбы (так это учреждение некогда называл весь Минск), предложил ему сделать вечер, посвященный 70-летию литературной деятельности. Это был 1996 год, отцу — 83 года. Какая мудрость и какой такт! «Не адкладай нічога на пасля, мала ці што...»

Устроили роскошный, изысканно красивый, достойный вечер. Вела его Р. А. Боровикова. Интересные гости, представители посольств, писатели, студенты, представитель Администрации Президента. Был замечательный маленький концерт, стихи Сергея Ивановича, выступления, шампанское, кофе, подарки и... море цветов. Я таких букетов по красоте, размерам и изысканности не видела в своей жизни ни «до», ни «после». На всякий случай я готовилась выступить. А вдруг предложат. Не предложили. Потом рассказала ему, папа искренне сокрушался: «Хай бы ты мне падказала, я б арганізаваў». Ему были нужны мои слова...

После вечера мы, как ходячие клумбы, пешком идем до папиного дома, с ним идет новый знакомый, Римский Геннадий Васильевич — уникальная фигура в

мире науки, профессор, доктор наук, специалист в области кибернетики, человек года. Они не могут расстаться и наговориться. Кроме всех своих талантов Геннадий Васильевич увлекся белорусской поэзией и переводит ее на русский язык. Папа — его любимый автор. Геннадий Васильевич успел издать большой том своих переводов, отец очень много ему помогал. Это была последняя дружба. По возрасту Геннадий Васильевич годился ему в сыновья, но на Восточное кладбище он ушел раньше...

Вскоре дома мы скромно отмечали папин день рождения, 83 года. Я подарила ему подготовленный «мадригал», то, что не сказала на вечере. Он был тронут, очень доволен и спрашивал: «Ты и вправду так думаешь?»

А ведомство Ваницкого А. М. через два года снова организовало вечер в честь 85-летия Сергея Ивановича Граховского. Юбиляр дожил! Вечер снова был роскошный, и все эпитеты прежнего можно повторить, но он был не похож на первый. Замечательный — и другой. Как это дорого! Вечер вела О. М. Ипатова. Мне предложили слово. Говорят, что выступление получилось, я читала его новое и сразу полюбившееся стихотворение «Мой лепшы твор».

Как преступно скупы мы были на слова похвалы, поддержку и участье, проявление любви. А ведь как мало ему было надо, как просто было сделать его жизнь счастливее и теплее.

Всю жизнь он очень тянулся в свое «Мястэчка, мястэчка...» (эта прелестная вещь, кажется, не вошла ни в один сборник). Глуск, в котором он прожил свои первые 17 лет, был для него воплощением счастья, радости, красоты, юности, всех нравственных начал и добродетелей.

Он часто повторял: «У Глуску звычайна казалі так» (или «рабілі так», или «лічылася так». Почти каждый год, как журавль на юг, он приезжал туда, навещал могилу матери (единственная могила на Глуском кладбище с надписью по-белорусски), старые и свежие могилы своих ровесников. Терял и терял земляков, а потом дружил с их детьми и внуками.

В конце жизни вокруг него снова сложился круг глусчан во главе с художником Славой Захаринским. Журналисты, известные врачи и просто земляки — все глусчане родственники. Глуская земля гордится и бережет память о своих детях и поддерживает их, как настоящая мать, всю жизнь. Много известных и знаменитых людей вышло из этого местечка. Районная администрация старательно поддерживает связи с земляками и делает тем самым большое дело.

Отец, бывая на родине, всегда навещал школы, библиотеку, выступал, если просили. Посылал свои книжки, передал более трети своей библиотеки в Глуск в последние годы.

Глусчане оказали ему такие почести, о которых он и мечтать не мог. К его 90-летию Глуск подготовил большой многолюдный праздник поэзии, на который приехали люди даже из деревень, ближних и дальних. В центре города установлена мемориальная доска (скульптор — Лук Павел Иванович. Огромная ему благодарность). За ней раскинулся парк — а мимо тянется бульвар имени С. И. Граховского. Это лучшее место в Глуске — центр. Приехали на праздник писатели — Л. Савик, О. Ипатова, В. Шнип, Л. Рублевская, Н. Толстик, съехались знаменитые земляки со всей республики. Гостей принимал председатель райисполкома Николай Петрович Дедюля. Писатели выступали в школах и библиотеке, потом состоялся многолюдный и очень красивый митинг, торжественное открытие мемориальной доски, красивое и торжественное богослужение, речи и большой концерт в местном кинотеатре с участием гостей. Цветы, подарки, угощения — все на высшем уровне. От нашей семьи присутствовало четыре человека, в том числе и мама.

Низкий поклон землякам и администрации Глуска от нашей семьи. Жаль, что папа не дожил до этого праздника всего несколько месяцев. Святое дело сделали глусчане. Считаю, что белорусская земля имеет право гордиться своим сыном, а белорусская литература таким писателем. А почтило его память по-настоящему только «мястэчка, мястэчка».

Эпилог

В конце ноября 2002 года утром, в субботу, позвонили в дверь. Я была у родителей и открыла. Стояли молодые ребята с гвоздиками — спрашивали папу, сказали, что они из гуманитарного лицея, пришли поздравить его с днем рождения. Говорю, что они опоздали на два месяца. «А мы прочитали в справочнике...» Ничего не поделаешь. Папа очень плохо себя чувствовал, даже не вставал еще с постели. Прошу обождать. Он приводит себя в порядок. Мы оба ворчим на ребят, упрекаем, что не позвонили, не предупредили. Они, бедные, смущенно молчат. Наконец проходят к нему, и начинается знакомство. Он потихоньку включается в беседу, знает их педагогов, расспрашивает, рассказывает, слушает и оживает на глазах. В конце концов мы все довольны этой незапланированной встречей и благодарны гостям. Ребята делают несколько фотоснимков и обещают прислать. Действительно, через несколько дней папа получил фотографии и газету с рассказом о встрече и подборкой его лучших стихов. Сказал: «А ў іх добры густ...» И отметил их обязательность — он очень ценил это качество в людях. Это была его последняя прижизненная публикация и последние фотографии. Он сам сделал к ним надпись: «Апошні год працы і жыцця». Я вспоминаю этих ребят с благодарностью и прошу прощения за холодный прием. Я помнила о них в дни похорон и сожалею до сих пор, что не разыскала их, хотя и пыталась.

Через две недели, 7 декабря, снова в субботу, я была, как и каждый выходной день, у родителей, в доме «На ростанях». Папа плохо себя чувствовал, был очень грустным и, стоя в двери своей комнаты, твердо сказал: «Вазьмі, дачушка, мае ключы ад хаты. Больш яны мне не спатрэбяцца». Я не стала возражать, чтобы не расстроить его еще больше. А в среду, 11 декабря, утром открыла родительскую квартиру его ключами и не услышала обычного: «Дачушка мая прыйшла». Больше никогда никто меня так не назовет...

Последние распоряжения и слова прощания были аккуратно сложены в конверт в центре его стола. Он и прощался с нами стихами.

Сергей Иванович Граховский похоронен на Восточном кладбище, где столько его друзей. Он говорил, что «это же *наши литературные мостки».* При жизни он часто бывал тут и на Военном кладбище, обходил всех знакомых, немножко прибирал неухоженные могилы, что-то поправлял, а если случались спутники — проводил целую экскурсию. Героями этих экскурсий были люди, известные в Белоруссии — политики, деятели культуры. Хорошо, что кто-то однажды снял на видео такую экскурсию по Военному кладбищу. Мы не могли себе представить когда-то, что от сотен его выступлений на телевидении и радио останется так немного. Но спасибо и за то, что сохранили, восстановили, привели в порядок и безвозмездно передали семье.

С его пригорка виден его любимый лес, рядом шумит его родной красавец-город. Кругом множество друзей. На памятнике мы написали его строфу:

Надыдзе дзень, і я ў зямлю з зямлі
Сыду навек і болей не вярнуся,
А каб вяртацца і адтуль маглі,
Я б абазваўся зноў на Беларусі.

Бывая у папы, всегда читаю ему его стихи вслух, на память или из книжки. Он часто горько нас упрекал: «Вы ж нічога майго не чытаеце і не ведаеце». Так и было… Теперь строки его стихов роятся в моей голове, и я постоянно ищу в сборниках, чтобы перечитать вдумчиво и запомнить. У меня есть папка с надписью «Любімыя вершы». Читаем вслух, когда собирается у меня наша семья, а иногда порадует внучек и продекламирует строки прадеда Сергея:

На высокіх тонкіх лапках
Ноччу ходзіць Сон у тапках.
Над сабой трымае ён
З ясных зорак парасон...

РОЗА СТАНКЕВИЧ

«За вечностью слово!»

В этом году Михасю Стрельцову, автору «Смоления вепря», «Загадки Богдановича», поэтического сборника «Мой свете ясный» (за которые он посмертно был награжден Государственной премией БССР в 1987 г.), исполнилось бы 75 лет. Родившийся в День влюбленных (14 февраля 1937 года в деревне Сычин Могилевской области), он был влюблен в красоту мира — внешнего и внутреннего.

Уже 55 лет как стрельцовское слово ходит от сердца к сердцу, волнует, радует, учит добру и вселяет надежду.

И прошло уже двадцать пять лет (23 августа 1987 года) с тех пор, как Михась Стрельцов стал частицей Вечности.

I



Утвердившаяся литературная репутация Михася Стрельцова — поэт, прозаик, критик, эссеист. Я давно открыла и полюбила в этих ипостасях его исключительно редкий талант вдумчивого и эрудированного художника-исследователя с тонким вкусом и тактом, с глубоким проникновением в тайны психологии творчества.

Помню слова Рыгора Бородулина: «И в прозе лирик, и в лирике — интеллигент…». Но именно книга «Мой свете ясный» помогла мне открыть лично для себя Стрельцова-поэта. Поддавшись магии поэтических строк, я не могла уже оторваться от них. Хотелось не только самой их читать, но и поделиться этой радостью с другими.

И вот с подругой читаем его стихи — то я, то она, и вдруг слышу: «Странное ощущение испытываю, будто вхожу в туман».

Туман?! Обычно все «туманное» вызывает неосознанный страх, угнетает неизвестностью. А здесь — наоборот: приходит чувство успокоения, внутренней гармонии. И начинаешь переживать состояние автора, мысль которого глубоко и так бесстрашно проникает в святую святых человеческой души... И приходит: «Как будто про меня написано».

…Чувство поэзии. Оно имеет много общего с чувством мистическим. С ощущением тайны. Настолько необъяснимо, неизведанно, личностно. Сокровенно. Чувство, которое помогает представлять непредставляемое, видеть незримое.

Поэзия — это искусство слова. И в то же время поэзия как бы не заключена в самих словах. Почти невозможно объяснить ее текстуально. Она словно живет между текстом и подтекстом, между двумя полюсами. Как силовое поле привлекает магнетизмом совпадений и гармонией души: где все становится прекрасным, где каждый предмет, каждое явление находит должное освещение, где все имеет подобающее ему сопровождение, одновременно сенсорное, зрительное, музыкальное и духовное.

В медиуме поэзии, как в тайне тумана, сливаются реальные контуры изображаемого с их нереальным, далеким отражением в пространстве и в сознании человека. И все кажется столь естественным и в то же время столь чудесным.

Слова — первопроявление, а не проявление поэзии. «Слово — это величавая вещь, в нем заключены выразительные средства всех видов искусства, — краски, линии, формы, движения, звуки, все, — пишет непревзойденный мастер художественного слова, болгарский писатель Йордан Йовков. — Главное, чтобы ты мог владеть этими богатствами».

Михася Стрельцова можно назвать кудесником, волшебником поэтического слова. Слова в его стихах излучают особое сияние, они, точно чудодейственный магнит, привлекают другие, самые удачные и самые нужные. В его поэзии они не просто существуют, а живут. Живут по закону биоценоза, в художественном согласии. Они излучают энергию и создают поле контекста, «заряжают», дополняют друг друга.

Прозрачность и простота — одна из основных черт поэтического письма Михася Стрельцова, который понимает, что начало всех начал в поэзии — минимумом средств достигать максимума образной информации, наполненности. Для него главная эстетическая задача — соразмерность слова и предмета, явления. Преодолевая разрыв между мыслью и ее выражением, он ищет соответствие слова и явления.

Поэт предпочитает выразительность и точность слова, в его творчестве нет ни наружной многозначительности, ни неясных намеков. Метафорой М. Стрельцов пользуется, как пользуются целебными травами — в малых дозах, чтобы не отравить поэтический организм, употребив больше, чем нужно. Эмоциональный и словесный колорит его стиха, точного по смыслу, экономного по средствам, — вне риторики и громкого слова.

Стиль М. Стрельцова — мягкий, импрессионистичный, как облик самого поэта, эстетика которого рождается из чистоты видения, из непосредственности восприятия того, что изображает художник, из наивной веры в слова, из зачарованности миром. Скупая наглядность слова, сосредоточенность мысли, лаконичная полнота чувств характерны для его поэтической палитры.

Да, именно чувства ищут слово, а не наоборот. Вспоминается его: «...тады адно цудоўнасць і жыццё!»

Довольно часто слово у М. Стрельцова несет нагрузку целой фразы. Слово, как точка, мазок у художников-пуантилистов. Поэт намечает, пунктирует детали, как бы делая мазки, вспомним хотя бы «Родное»:

О роднае маё! Як доўга да цябе
Ішоў я, кволы падарожнік.
О весялосць у восеньскай журбе!
Агонь.
Саган.
Вуголле і трыножнік.

Из отдельных пунктиров создается целостная картина. Каждое слово в стихе объемное, живое. А в зазорах между ними, между пунктирами вспыхивает искра. Искра — поэзии.

Произведениям Михася Стрельцова свойственны строгая гармоничность, симфоничность построения. Его классически выдержанные, спокойные, лишенные

тональных контрастов стихи, современны в лучшем смысле этого слова: современны движения души поэта, сжатость формы, мысли, чистота чувств.

Написала «современные» и вспомнила недавно прочитанный фрагмент немецкого поэта и философа 18 века Новалиса: «Современная вещь говорит не только о себе, она говорит о целом мире, родственном ей, она есть сразу и небо, и подзорная труба, и неподвижная звезда...»

Все творчество М. Стрельцова, не только его поэзия — откровенный разговор о себе, о сложных изменениях, происходящих с человеком. Настоящая поэзия — это всегда исповедь души.

Поэзия — индивидуальное восприятие действительности. Весь секрет в том, в какой степени личное откровение впитало в себя черты эпохи. Поэзия М. Стрельцова говорит не только о нем, но и о целом мире, родственном ему. Поэт одновременно тождество субъекта и объекта, души и внешнего мира. Он растворяет чужое бытие в собственном бытии, говорит о своем и о важном, значимом для всех. Для него жизнь и мир — неделимы. Для него поэзия, как и для каждого настоящего художника, присутствует повсюду.

II

Задолго до Михася Стрельцова в белорусской литературе возникли такие мощные таланты, как Франциск Скорина, Микола Гусовский, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, перед творениями которых преклонялся сам писатель.

В культурном пространстве современной Беларуси фигура Михася Стрельцова выделяется своим духовным ростом, высокой культурой мысли и пониманием, что творчество — это не просто биография, а судьба.

В знаменитом эссе «Загадка Богдановича» он писал, что у поэта не жизнь, а судьба. И желал себе того же. И это сбылось: литература стала для него «одним из доступных человеку средств утверждать свое достоинство».

Трудно назвать другого белорусского творца, который в процессе столь сложной и столь плодотворной эволюции остался бы до конца верен своему творческому «я», своей душевности, своему темпераменту, своему голосу. Может быть, никому иному в белорусской литературе не свойственно ощущение творчества как строительства себя, ощущение жизнетворчества.

Михась Стрельцов знал цену своему таланту и ставил перед собою всегда высокую планку:

Я хочу написать строку,
только одну строку,
какую наивный поэт
с головой, кудрявой, как облако,
мог бы поставить эпиграфом...

Его строки становились эпиграфами еще и при жизни, он был признан классиком, как и Янка Брыль (сразу после выхода эссе «Загадка Богдановича» было названо классическим произведением). Имя его стало символом высокой литературы, с которым мало кто соизмерим сегодня в нынешней белорусской культуре. А внезапная смерть Михася Стрельцова сделала его имя поистине культовым. «За прошедшие годы имя Михася Стрельцова стало паролем некоего тайного братства белорусов на Родине и в изгнанье, поэты и прозаики различных школ и направлений начертали имя это на своих знаменах» (Любовь Турбина).

Сегодня о нем пишут статьи, воспоминания. Белорусские писатели и поэты взаимодействуют с его прозой и поэзией, развивая мотивы, мысли, а критики часто ссылаются на его литературоведческие открытия. М. Стрельцов принес с собой глубину эссеистики, акварельную одухотворенность и философскую

углубленность поэзии, европейский горизонт критики, интеллектуальное начало современной белорусской прозе. По словам поэта Михася Скоблы, белорусская литература должна настраиваться на творчество М. Стрельцова, как на камертон. «Тогда отечественная проза и поэзия станут более гармоничными и совершенными».

Вот почему сегодня его творчество, которое учит жить так, чтобы почувствовать хрупкость жизни и ее пронзительную красоту в гармонии между мечтами, разумом, желаниями и материальными возможностями, становится еще более необходимым. Время способно увеличивать число измерений отображения. Оно придает более тонкий уровень рефлексии.

И особенно актуально звучат слова Алеся Адамовича (вступительная статья к последнему прижизненному изданию): «Очень недостает читателю Стрельцова-прозаика, его прозаического слова, с е г о д н я ш н е г о... О, как не лишним было бы оно — рядом с брылевским, быковским... В литературе так: даже все вместе и даже выдающиеся не могут заменить одного — если это подлинный талант». Сегодня особенно ощутимо отсутствие «подлинного таланта Стрельцова-творца».

Стрельцов-творец, художник и философ, тонкий, с чистой совестью, с достоинством несет крест человеческого одиночества перед Богом и крест душевного распутья между городом и деревней. Может быть, поэтому и становится символом самобытности в национальном искусстве, отличительная черта которого «напряжение духовного зрения».

Рожденный в День влюбленных, он был влюблен в красоту и гармонию мира. Только к нему одному можно было обратиться так, как обратился (на юбилейном вечере в честь его пятидесятилетия) Олег Лойко: «Мой свете ясный!»

Интерес Михася Стрельцова к литературе возник рано. Еще со школьной скамьи он публикует стихи, в двадцать лет — рассказы, замеченные и оцененные читательской и литературоведческой аудиторией. Его тридцатилетний творческий путь отмечен блестящим началом: уверенно входит в литературу — первый рассказ «Голубой ветер» опубликован в журнале «Маладосць» (1957 г.); в двадцать пять лет, он уже автор сборника рассказов, принят в Союз писателей; благословляет его на служение литературе сам Янка Брыль.

С чистым сердцем входит в мир Михась Стрельцов, призывая всех порадоваться вместе с ним его открытию многоцветья жизни, свежести «голубых» ветров. И сразу начинает говорить своим, естественным голосом. Вместе с ним в белорусскую литературу приходит стрельцовский герой — такой земной, окрыленный и открытый миру, приходят стрельцовская щемящая интонация — ностальгическая и мечтательная, а иногда и ироничная.

Как многие другие писатели, его ровесники, Михась Стрельцов пишет «о военном детстве», о том, как непросто деревенскому человеку прижиться в городе, о трудностях, подстерегающих молодого журналиста, о случайной дорожной встрече, о поездках домой, к матери.

Он пишет о том, о чем пишут многие из поколения белорусских литераторов «шестидесятников», назвавших себя «сеном на асфальте». Но его «мысли-чувства» говорят: о предчувствии, о разладе с собой; о том «почему же река выходит из берегов и потом тоскует по ним»; нужно ли, чтобы «повзрослевшая радость стала умиротворенностью», о «мучительном ожидании счастья», когда «тревога и боязнь закрадываются в душу» и грусть становится печалью. Они передают состояние души вечного эмигранта — в городе ли, в стране ли, в мире ли... (талант всегда немного чужой в этом мире!).

Стрельцов-художник и Стрельцов-мыслитель идут всегда рядом, рука об руку. Ему, требовательному мастеру, кажется, что степень мастерства того или иного произведения может быть установлена с помощью соответствующим образом разработанной математической шкалы. Вдумчивый литературовед и критик Стрельцов помогает Стрельцову-поэту и Стрельцову-прозаику:

«Художник не всегда в состоянии правильно понять причины своих затруднений, критик должен увидеть. Понять. Растолковать. Не обязательно на уровне того или иного мастера, но обязательно на уровне литературного процесса!» Такая позиция Стрельцова-литературоведа находит свое параллельное отражение в прозе писателя, в его манере письма.

В своих литературно-критических статьях М. Стрельцов также раскрывается. Литература для него является одним из доступных человеку средств утверждать свое достоинство. Он старается «писать только о том что так или иначе стало его собственным опытом, прибытком его души».

Попытка соединить стихийную мудрость детства с опытом зрелости находит свое воплощение в удивительной повести «Один лапоть, один чунь» (1966), внутренний драматизм которой определяется стремлением к душевной гармонии с одной стороны, и с другой — ее недостижимость, так характерные для жизненной драмы самого художника Стрельцова.

Рассказ о формировании характера подростка в тяжелые послевоенные годы автор наполняет чувственной памятью прожитого, молодой поры жизни. Постоянным возвращением к себе, к истокам, к чистоте:

Ні развітання, ні спаткання,
А толькі вусцішнасць быцця:
Нібы пра згубнае каханне
Пяе няўцямнае дзіця.

«До последних дней он сохранил чистоту, впечатлительность и крепкую память о самых светлых детских впечатлениях. Ему всю жизнь не хватало этой чистоты детства, и в своих произведениях он вспоминает себя — того мальчика, с которым вновь хочет встретиться» (Виктор Карамазов).

Есть в этой повести поразительная по психологической тонкости проникновенность в заветные тайны души героя и автора — сон Иванки: «Спит, забравшись на чердак, к теплой трубе, Иванка. Спрятался он ото всех, не хочет, чтобы видели его слезы, расспрашивали его про мать и деда…»

В вещем сне героя посеянное дедом сострадание к чужой боли — проясняется. Любимый дед Михалка завещает Иванке все свое богатство — доброту. В этом нравственном поле формируется личность героя и самого автора и определяется его внутренний мир, формируется целостное его мировосприятие.

«И понял я, что нет для нас иной мудрости, кроме той, что надо быть по-человечески, по-настоящему добрым и мужественным — и в пору стремительной молодости, и на исходе дней». Михась Стрельцов как бы со стороны посмотрел на себя, на свою жизнь и мысленно возвратился в детство. В «незабываемые, полные глубокого смысла минуты».

Но оказалось: невозможно вернуться.

И невозможно без этого жить. Как рыбе, «только что выброшенной из воды»:

…
Мне кажется:
Я — человек.
И на траве лежу,
Изнемогающий от солнца.
Но я рыба, рыба,
И —
Я умираю.

Основная музыка произведения — мелодия ностальгии, в которой так органично сливаются поэзия и проза, тревога о ненаполненности жизни и напряжение душевного зрения творца-философа. И его стремление соединить начало и конец. Лишь в соединении Начала и Конца человеческой жизни М. Стрельцов видит возможность прозрения, постижения загадки бытия.

Ему всего двадцать девять, когда он публикует повесть «Один лапоть, один чунь» — последнее прозаическое произведение. Не случайно он назовет «Смоление вепря» (1973) «эпитафией рассказу». В этом возрасте многие писатели только начинают становиться прозаиками.

Только девять лет Михась Стрельцов творит как прозаик и создает свои замечательные рассказы и повести, оставшиеся навсегда в золотом фонде не только белорусской, но, смело можно сказать, европейской и мировой литературы.

В тридцать шесть лет, в той самой «эпитафии рассказу, который мог бы называться «Смоление вепря» он напишет так:

«Боюсь, чтобы то, о чем хотел написать, не приглушилось незаметно, а то и вовсе не потерялось бы в словесах, а оно — почти несказанное — самое важное для меня. Зачем же я тогда вспоминаю и зачем пишу? Мне просто подумалось, что, может, все же обретет, наконец, какую-то логику то, что расскажу. Посмотрим…»

Аккорды стрельцовского реквиема Добра и Надежы: «Есть, к сожалению, вещи, не совсем подвластные нам, но есть и утешение. Есть и надежда. О, наш брат сочинитель ко всему бывает еще и немного суеверным. Наивный, он хочет переспорить реальность, он хочет верить: я уберегся от беды, ибо — сказал!..

Добро и надежда очертили здесь свой круг».

Аккорды деликатной, нежной, поэтической ностальгии, нащупывают пульс откровения: выраженной в мелодии, в паузах, и вплетают в них эхо и тишину. Мелодия, звучавшая как исповедь, одиноко трепещет словно голубь, устремленный в синеву небесную.

Где-то там, далеко-далеко, воспоминания тоскуют в одиноком сердце: тихая мелодия зовет назад; сильно и нежно глаза любви приковывают; волны времени отмывают одну и открывают другую неудовлетворенность. Отчаяние ждет перемены, а разочарование тонет в бессмысленности мира: как будто все наполнено запахами, красками и звуками небытия; как будто «дух смерти витает над этим гениальным рассказом».

С трепетной боязни начинает экспериментировать писатель, создавая свое новое произведение. Тонкое мастерство художника и психолога, вдумчивого, медитирующего философа помогут Михасю Стрельцову превратить свою «эпитафию рассказу» в апофеоз его прозы.

Он чувствует невозможность высказать словом все то, чем душа наполнена. И десятилетие спустя поэт напишет (в «Свете мой ясный»):

Ды толькі тое ўсё ў радок не ўкласці,
Як ты яго, радок, не падвышай…

Тады абразай можа здацца слова,
Тады адно — цудоўнасць і жыццё.

Начинается рассказ картиной осени, «когда наступают холода, схватывают заморозки — оседают инеем сырые туманы (…) А вечерами и поутру морозно, хмельно, как перавачом, пахнет дымом. В такую пору в деревнях свежуют кабанов».

Тем же и заканчивается рассказ: «Вот и все. И опять наступают холода, схватывают землю заморозки — опадают долу инеем сырые туманы».

Сквозь эту по-тютчевски эфирную прозрачность проступают заключительные аккорды стрельцовского реквиема Добра и Надежды:

«Есть, к сожалению, вещи, не совсем подвластные нам, но есть и утешение, есть надежда. О, наш брат сочинитель ко всему бывает еще и немного суеверным. Наивный, он хочет переспорить реальность, он хочет верить: я уберегся от беды».

Рассказ о рассказе «Смоление вепря» (общепризнанной вершине его творчества) — девять книжных страничек, которые невозможно ни пересказать, ни забыть. На этих девяти книжных страничках писатель говорит о художнике, о своем герое и о самом себе. В них сам он «был тем, кого убивают, он сам был тем, кто убивает,

он сам из себя сложил жертвенный костер и сам был тем жертвенным дымом, что завершил еще один круговорот бытия» (В. Акудович, «Крыніца», 1994, № 9, с. 28).

Девять книжных страничек, которые невозможно жанрово или композиционно определить (об этом позаботятся будущие исследователи творчества М. Стрельцова). И пересказать их невозможно. Не получится. Своей лирической эмоциональностью и импрессионистичной манерой повествования, перекличкой рефренов-мыслей, рефренов-ощущений и образов, «Смоление вепря» скорее всего, на мой взгляд, напоминает философскую поэму и перекликается с лучшими образцами мировой литературы.

Стихотворение, которым открывается книга «Мой свете ясный», заканчивается словами:

Саюз паэзіі і прозы —
Пад неба ўзносяць журавы
І пошум трапяткі бярозы,
І дуба роздум векавы.

Поэзия и проза не соперницы, а сестры в творчестве Михася Стрельцова.

«Максим Богданович мог быть и ученым, и публицистом, и критиком — и все только потому, что он был поэт», — читаем в эссе о Богдановиче. То же самое можем сказать и о самом Поэте-Стрельцове.

Лирический элемент вплетен органично в художественную ткань произведения. Все пропущено через призму личного переживания и настроения. Даже когда объективно воссоздает окружающую действительность, автор, как истинный поэт, выражает свое личное чувство посредством особого подбора выразительных средств. Лиризм не только еще более одухотворяет картины и образы, но и усиливает магию воздействия.

Часто творчество Михася Стрельцова — симбиозное смешение прозы и поэзии, в котором дышит неповторимый лиризм автора и его сосредоточенная созерцательность. Так он выражает себя как Человека и Творца. В основе этики художника Стрельцова лежит возвышенное представление о человеке и уверенность в том, что, несмотря на все утраты осени и зимы, — есть утешение. И словно заклинание звучат его слова: «Но есть же и утешение, есть надежда».

Михась Стрельцов хотел написать эпитафию рассказу, а сотворил реквием, в которой крылатая мысль Эрнеста Хемингуэя (что человека можно уничтожить, но нельзя победить), звучит щемяще и многозначительно, и задушевно внушительно: «Добро и надежда очертили здесь свой круг».

Именно Добро и Надежда возвращают писателя (и всех нас вместе с ним!) к изначальной чистоте, а колыбель памяти — в бережные руки Любви.

После лучшего своего рассказа о рассказе «Смоление вепря» (переведенного на многие европейские языки еще при жизни автора) как прозаик Михась Стрельцов больше не публиковался. Он стал обдумывать, даже анонсировать в журналах новую повесть «Конь гулял на воле».

«Конь гулял на воле» — словно крик души вырвавшегося на свободу человека.

О, как хотелось Воли после того «маленького катаклизма» в жизни: «Для здоровья и самочувствия моего было признано полезным двухлетнее пребывание на южных окраинах нашего заботливого и любезного отечества. Вот и подаю голос оттуда, с самого дна бывшего моря Геродотова...» (5.03.82).

Само название будущей повести «Конь гулял на воле» словно «брошенная перчатка», словно «вызов в лицо», и обществу, и всем тем, кто не мог понять терзания его души. Задорная строчка из лихой застольной песни превратилась бы в емкое название будущего произведения, которому не суждено было появиться на свет.

В нем словно слышна лукавая насмешка «над теми, кто усердно загонял его Пегаса в закрепленное за ним жанровое стойло» (Наталья Игрунова).

Его великолепный крылатый Пегас не мечтает о прелести Олимпа (и никогда не мечтал об этом!). Множество небожителей литературного Олимпа не нравятся Поэту. Чуждо самой его природе, его сущности.

И он мечтает о Свободе.

О, как хотелось вырваться, куда-нибудь «на хутор, к литовцам», в лесную избушку возле реки… Туда, где «весною бывает, наверное, самое молодое эхо».

О, как хотелось воли коню, дерзкому, необъезженному, освободившемуся от табунной стаи, вырвавшемуся на просторы, где только ветер, и солнце, и — воля…

Які прастор!
Які прастор;
Рукой падаць,
Рукой дастаць
Да зор!
Лячу увысь. Шчаслівае імгненне!

После создания своего прозаического шедевра Стрельцов уходит в поэзию: с 1973 года издает три поэтических сборника, последний из которых удостоен Государственной премии. Единственной при жизни поэта! Судьба решила вознаградить своего избранника еще раз перед дорогой в Вечность.

Как творец Михась Стрельцов — интересный литературный феномен. Его своеобразное движение по литературной спирали, возвращение к поэзии, уже обогащенным опытом, и жизненным, и художественным, поистине феноменально. Многие критики рассуждают и будут рассуждать о его поисках на пути образно-ассоциативного мышления, об индивидуальности стиля, о том, что вместе с его прозой в белорусскую литературу вернулся настоящий лирический герой.

Что характерно для творческой индивидуальности Михася Стрельцова и каково его место в белорусской литературе?

Он усвоил самое ценное у своих предшественников: тонкую эмоциональность и музыкальную насыщенность, присущую поэзии Янки Купалы и Максима Богдановича, чтобы создать свою неповторимую вселенную, в которой жизнь находит свое лирико-философское осмысление.

Михась Стрельцов, как и Владимир Короткевич (полвека, после Максима Богдановича), говорит со своим народом на языке европейской культуры. И может быть, это и определяет его творческую разносторонность: блестящий прозаик и эссеист, вдумчивый поэт и критик, Михась Стрельцов всегда и во всем — философ-мыслитель. И в прозе, и в поэзии, и в критике, и в жизни — он Поэт, и художник-философ.

Его творческой манере присуще умение созерцать и художественно нюансировать человеческие чувства. Таким путем он находит ключ к характеру современника: к эволюции его души в превратностях военных и послевоенных лет, в переходных условиях миграции из деревни в город — всего поколения, которое идентифицирует себя, соотносит себя с названием его повести «Сено на асфальте». Исследуя состояние души вечного эмигранта, вечного искателя Гармонии — в городе, в стране, в мире или в Космосе, — он находит ключ к пониманию самого себя.

Рассказы и повести М. Стрельцова имеют способность посредством конкретных человеческих переживаний и волнений, посредством почти неуловимых движений души отображать большие перемены. Оторванные от земли, от жизненного уклада предков, его герои не оплакивают распад воображаемой патриархальности. Внимание автора направлено к нравственному опыту народа, накопленного веками. И этот опыт в произведениях Стрельцова достойно превращается в бесценное богатство, в духовный капитал современников.

Насыщенная разными чувствами проза Михася Стрельцова всегда окрашена цветом надежды, ожидания, овеяна «голубыми ветрами» перемен, что укрепляет молодой характер героев. Ее художественный мир исполнен поэзией человеческих чувств: их особая, внутренняя прелесть, потаенная ностальгия, грусть,

томление переданы в движении; они переливаются, а вместе взятые, устремлены к будущему человека.

Созерцательный и чуткий, автор умеет видеть и претворять духовную красоту человека, ваять характеры, создавать психологические портреты. Постоянное течение времени, постоянное движение из прошлого к будущему словно полноводная река, проходят через все произведения Стрельцова. И определяет их высокий внутренний пафос, их лирико-автобиографический накал. Его произведения часто созданы на материале личных переживаний и раздумий, но несмотря на это, в них очень немного строк, из которых можно получить отчетливое представление о возрасте автора, о реалиях сегодняшнего дня, вообще о том времени, в котором он живет.

Как будто его мир вне времени и всегда во времени.

Поэт Михась Стрельцов остается тонким лириком и в прозе. Его герой часто грустит по утраченному общению с природой, о безвозвратно исчезнувшем мире детства. Но он не ищет спасения в уходе от действительности, так как пленен и динамикой современного города, в котором эмоциональное и интеллектуальное бытие героя движется в другой сфере.

Многосложность внутреннего мира героя (и автора) передана проникновенно, с присущей поэту метафоричностью, богатым художественным языком: «Дул свежий ветер, на подсохшем асфальте уже курилась пыль, и гулко хлопали в подъездах двери. Весною всегда просторно в городе: и шум машин, и веселое прогромыхивание поезда, и перезвон трамваев слышны далеко, потому что весною бывает, наверное, самое молодое эхо...»

Стрельцовский герой напоминает мне Сали Яшара — героя болгарского писателя Йордана Йовкова, мастера телег, которой своими красками и молотками претворяет весь мир.

Герои Михася Стрельцова и Йордана Йовкова перекликаются так же, как и внутренняя рифма в творчестве этих удивительных художников слова, ставшая апофеозом Красоты, Любви и Надежды. Только зрящий, творческий дух может создать произведения, похожие на поющие телеги настоящего Мастера.

Герои обоих писателей ищут спасительный брод, смысл существования в экзистенциальных вопросах бытия, в водовороте жизни. И когда не находят его в мутных водах безвременья будничной суеты, устремляются к желанному берегу познания, с надеждой встретить Белую ласточку надежды (Й. Йовков). Встретит мир иной — мир своего идеала, нетронутый временем, неподвластный тлению... непостижимый.

Всякое индивидуальное писательское дело представляет определенно художественное единство. Это характерно не только для писателей, творящих в одном жанре, но и для тех, чье творчество многожанровое и разностороннее, как у Михася Стрельцова. В каком бы жанре он ни творил (лирика, рассказы, повести, эссеистика, литературная критика), ему присуще нечто исключительно своеобразное, чисто «стрельцовское».

Художественное единство творчества белорусского писателя — отражение индивидуальной сущности, этики и эстетики художника, воплотившие концепцию о человеке и мире.

Автор перевоссоздает странствия духа, стремление оторваться от цепей бытия, а также возможное и невозможное в его стремлении. В его произведениях, словно прилив и отлив, чередуются волны экзистенциальных вопросов о смысле жизни, о любви и познании в свете укрощенной стихии философского созерцания.

Самое важное в искусстве, в литературе — исследование движений человеческой души. Много написано об этом, душа человеческая бездонна, и к ее тайнописям направлен талант поэта-философа.

Пытаюсь разгадать уникальную личность Михася Стрельцова, и мне кажется, так трудно, невозможно понять его медитативный и возвышенный дух, его бесконечную доброту и мужество, детскую ранимость, незащищенность рас-

пахнутой навстречу жизни души, иногда спрятанные под иронической улыбкой. Нестандартность светлой личности, в которой уживались самоуглубленность, восторженное принятие пронзительной красоты мира. И скепсис — недовольство собой, сознание несовершенства мира. «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Не было более сладостного искушения, чем печаль».

Соблазн разгадать сущность творческих исканий поэта, превратностей судьбы, незримых движений души… Понять «мысли-чувства» Михася Стрельцова, понять в человеке то, что порой и самому-то ему непонятно... Сам Стрельцов тоже испытывал этот соблазн, работая над «Загадкой Богдановича», исследуя творчество и повороты судьбы гениального белорусского поэта: «Вот где загадка и вот где чудо! Так что же, начнем разгадывать ее? Но сможем ли, и нужно ли это? Ведь, в конце концов, разгадать загадку или тайну значит наполовину лишить ее привлекательности. Лучше удивимся этой загадке и этой тайне...»

Разгадывая «Загадку» Максима Богдановича, М. Стрельцов вникает в сложные взаимоотношения личности поэта-творца с миром окружающих его людей и миром идей, с одной стороны, и с другой — творчество вообще и талант в частности, как судьба и предопределение.

У Михася Стрельцова высокий поэтический Дар. Все, что он написал в повести-эссе о творчестве гениального поэта Максима Богдановича, можно отнести и к самому автору книги. Его произведения отмечены «печатью мастера», они как гимн человеческой жизнестойкости и надежды. Писатель достойно продолжает литературную традицию, раскрывая национальный менталитет и нравственные ценности.

И как бы слышен голос автора, негромкий и глуховатый его рассказ об Иванке и его деде, который просил Бога за внука: «У него добрая душа, ты знаешь это. Пошли ему испытания по силам...»

Но не всегда судьба посылает испытания «по силам»!

«Он был нужен всем. Его хватало на всех, только не на себя, не на свои замыслы, не на свои житейские и духовные потребности. Всем он казался сильным, жилистым, выносливым. А был он, как ломтик хлеба, отрезанного так тонко, что нужно было держать обеими руками, чтобы не переломился. И не удержали ни мы, ни судьба» (Рыгор Бородулин).

В личности Михася Стрельцова привлекает и то, что он почти никогда не заставлял свою музу заниматься тем, что ей не свойственно. Изменить голос значило изменить себе. И он никогда не изменял своему призванию. Его творчество — разговор о надежде и добре, живущих в душе человеческой, словно неувядающий цветок «Золотой розы» К. Паустовского, выточенный мастером-ювелиром, приходит к нам, чтобы остаться навсегда.

И так же, как любимый дед Михалка завещает Иванке, так и Михась Стрельцов завещает нам «все свое богатство» — Доброту. И мы понимаем, «что нет для нас иной мудрости, кроме той, что надо быть по-настоящему добрым и мужественным…». И жить надо так, как сказал и жил поэт: «Быццам апошi дзень жыву на зямлi».

Из вечной Вселенной Прекрасного, где он навсегда остался в расцвете творческих сил, Михась Стрельцов завещает нам свой мир, в котором «добро и надежда очертили свой круг».

«За вечностью слово!»

ВАЛЕРИЯ СМЕХОВСКАЯ

Познавательная поездка по Глубокскому району, или Путешествие дилетантки

Средства массовой информации, как и глобальную сеть Интернет, считаю действенным двигателем прогресса. Почему? В поисках не изведанных мною путей-дорог просмотрела разные маршруты по синеокой Беларуси. В глаза бросились строки заголовка: «На Глыбоччыне нарадзілася шмат вядомых людзей». Да-да, сайт районной газеты «Веснік Глыбоччыны» предлагает статью Александра Жигунова, поэта-журналиста, в которой тот рассказывает о знаменитых земляках глубокской земли: Язэп Дроздович (кто не знает странствующего художника), Игнат Буйницкий (в профессиональном театральном мире первый человек), Павел Сухой (его самолеты известны во всем мире), Тадеуш Даленго-Мостович (и он также из Глубокого?), Вацлав Ластовский, Клавдий Душ-Дужевский... список продолжается. Интересно, что за местность такая, где родилось столько одаренных людей? Разумеется, чтобы удовлетворить свое любопытство, без поездки в Глубокский район никак не обойтись. Что ж, вперед — путешествие обещает быть захватывающим и насыщенным.

В край голубых озер…

…мчит меня автобус «Минск—Глубокое», раскрашенный в яркие цвета, среди которых ласкают глаз очертания голубой жестянки любимого лакомства — знаменитой глубокской сгущенки. Под вкусные воспоминания и дорога кажется не очень утомительной. К тому же попутчик, коренной житель Глубокого, оказался человеком разговорчивым и влюбленным в историю своего края. Заочная экскурсия в прошлое еще более разожгла мой интерес ко всему, что связано с этим городом и районом. Оказывается, Глубокский район — живописный озерный край, в котором насчитывается более ста маленьких и больших озер. Большую площадь района занимают леса, где можно встретить лосей и диких кабанов, волков и лисиц, в некоторых местах посмотреть на поселения бобров. С древних времен в этих красивых и пригодных для жизни местах селились люди. Первое письменное упоминание о Глубоком относится к 1414 году: земля, принадлежащая Зеновию Братошичу. Река Березовка разделяла Глубокое на две части: юго-западная принадлежала Зеновичам и входила в состав Ошмянского уезда Виленского воеводства, северо-восточная — Корсакам и входила в состав Полоцкого воеводства. Центром юго-западной части была торговая площадь с лавками, амбарами, униатской церковью с плебанией, госпиталем. Здесь был построен Глубокский замок. В северо-восточной части Глубокого в центре также была торговая площадь, от которой начинались дороги на Дисну, Полоцк и городок Березвечье.

Глубокое известно своими уникальными архитектурными памятниками. Среди них костел Святой Троицы, церковь Рождества Богородицы, кармелит-



Архитектурные памятники Глубокого.

ский монастырь, монастырь базилиан в Березвечье, средства на строительство которых дал Иосиф Корсак. На кладбище Коптевка находятся Ильинская часовня и мемориальная колонна в честь Конституции 3 мая 1791 (обе конца XVIII в.), недалеко находится еще одна достопримечательность — могила с фамилией известного литературного героя Мюнхгаузена. Кто он был в реальности — никто не знает.

После такого экскурса мне, любопытному туристу, осталось только навестить эти места. Успеть бы все осмотреть и узнать…

Город славных людей

Первое впечатление: городские улицы и здания переодеваются и украшаются, будто готовятся к грандиозному событию. И действительно, в Глубоком 2 сентября пройдет республиканский праздник — День белорусской письменности. Потому город прихорашивается и обретает праздничный вид.

Сегодня же, в день моего приезда — 9 Мая, — город празднует День Победы. По подсказке местных жителей попала на торжественное мероприятие — концерт… Еще на улице началось праздничное действие. Девчата с барабанами, в коротких юбочках, красных мундирах и киверах под музыку духового оркестра браво отбивали ритм, выстраиваясь в разные фигуры. Рядом с ними стояла (и было заметно: волновалась за мажореток) стройная женщина.

Мой любопытный взгляд, направленный на нее, перехватила соседка слева.

— Это Маргарита Цветникова, — с гордостью сказала она. — Руководитель ансамбля барабанщиц «Виват».

— Наверно, хорошо знаете ее?

— А отчего ж не знать? Я же местная, да и столько лет своей жизни связала с культурой Глубокского района.

Я поняла, что случайное знакомство с приветливой собеседницей станет для меня очень полезным, и с деликатной настойчивостью продолжила разговор. Алина Юргель — самый «культурный» человек: всю свою жизнь посвятила этому занятию. После окончания школы работала заведующей сельским клубом в Глубокском районе и параллельно училась в Могилевском библиотечном техникуме. После его окончания пошла по карьерной лестнице вверх: художественный руководитель сельского Дома культуры, библиотекарь Глубокской детской библиотеки, инспектор отдела культуры райисполкома, методист централизованной библиотечной системы. Вершиной для Алины Викторовны стала должность директора районного организационно-методического центра. 24 года была она первым и несменным его руководителем. На заслуженном отдыхе, конечно, таким людям тяжеловато, поэтому ее творческим и организаторским способностям нашлось применение: Алина Викторовна — методист по массовым праздникам и обрядам. С кем, как не с ней, путешествовать по культурным путям-дорогам Глубокского района.

Потомки Игната Буйницкого

Кто из белорусов не знает знаменитого Игната, отца белорусского театра? А родился он в Глубокском краю, в деревне Полевачи. Здесь работал землемером: измеряя землю по деревням, одновременно собирал песни, танцы, образцы народной одежды. И скоро театр стал основным делом его жизни. Сначала Игнат Буйницкий выступал со своими артистами в родных местах: на ярмарках, деревенских вечеринках, праздниках. Устраивал концерты, спектакли. Обычно представления были смешанные: и сценки из народной жизни, и песни, и танцы, и стихотворения.

Когда же Алина Викторовна рассказывала про местный народный театр фольклора «Терешка», которым руководит Наталья Никифорович, то казалось, что он повторяет историю творческого пути Первой белорусской труппы Игната Буйницкого. Янка Купала увековечил артиста в стихах:

Важна рэй Ігнат Буйніцкі
У танцах нашых водзіць,
Аж здаецца — усё чыста
Хадыром з ім ходзіць.

Посмотрев выступление терешковцев, для себя отметила: так про них всех можно сказать. Как оказалось, Алина Юргель — идейный вдохновитель создания фольклорного коллектива. В 1997-м вместе с Натальей Никифорович, методистом, которая взяла на себя руководство «Терешкой» (название пошло от обряда «Женитьба Терешки», который они возродили первыми в области, по крупицам собирали песни, танцы, известные в районе, составляли первую программу. С ней вышли «в свет» — на областную сцену во время телефестиваля «Беларусь — мая песня», где их коллектив заметил Василий Литвинка, ведущий фольклорист республики. Его передача «Запрашаем на вячоркі» с участием «Терешки» и стала звездным часом коллектива. Три года выступлений на фестивальных сценах (на белорусских и на зарубежных) принесли коллективу почетное и заслуженное звание «народный». А в 2003 году Наталье Никифорович была присуждена республиканская премия «За духовное возрождение».

В этом году народный театр фольклора отметит пятнадцатилетие. Кто же сегодня в строю? Татьяна Молотовник (начальник отдела культуры Глубокского райисполкома), Татьяна и Дмитрий Джавшанашвили, Дмитрий Кривенок, Виктор Синявский, Дмитрий Сычев, Оксана Гуменник, Светлана Почепко — все работники культучреждений.

По словам Алины Викторовны, коллектив фольклорного театра создавался преимущественно с участием работников культуры, чтобы быть мобильным. Так,

например: народный театр фольклора «Терешка» принимал участие и в праздновании Дня независимости Латвии, и в празднике славянских культур в Латвии (г. Даугавпилс).

Под крышей дома одного

Новенькими окнами, словно светлыми очами, смотрит только-только отремонтированный и достроенный Глубокский районный Дом культуры. Ну как не зайти? Встретила нежданных гостей его улыбчивая хозяйка — директор Тамара Колонтай. Ее дом — ее гордость: здесь живут шесть народных и образцовых коллективов. До недавнего времени Тамара Даниловна возглавляла два коллектива: ансамбль народной песни «Крынічанька» и народный клуб ветеранов войны и труда «Монолит», который, кстати, в прошлом году отметил двадцатипятилетие. Теперь — только «Монолит».

По словам Алины Юргель, эти два коллектива Тамара Даниловна сопровождает на сцену на всех районных концертах. Строгая и сосредоточенная, дирижирует она во время выступления монолитовцев, а цветистые наряды «Крынічанькі» превращают Тамару Даниловну в обаятельную белорусочку начала века.

— Как вам удается работать в таких разных творческих направлениях?

— Я живу народной песней и музыкой.

— Интересно, а какая песня из вашего репертуара самая любимая?

— Да сразу определить тяжело… Люблю песни про нашу Беларусь.

При клубе «Монолит» работают хор ветеранов, вокальные группы, солисты, дуэты. Искренние и преданные искусству люди, которые, находясь на заслуженном отдыхе и не обращая внимания на возраст и болезни, стараются не пропустить ни одной репетиции, выступают на городских и районных площадках и даже выезжают с концертами за границу. Неугомонные натуры.

Тамара Даниловна с гордостью отмечает:

— У «Монолита» и гимн свой есть — «Юность прожитых лет». На слова нашего участника-ветерана Михаила Осипова я написала музыку. Живем всегда с песней.

Двадцать пятый юбилейный год встречает и «Крынічанька» (двадцать два из которых, кстати, ансамбль носит звание народного). Коллектив объединяет 16 любителей белорусской песни, которые исполняют песни современных белорусских композиторов и, конечно, местных авторов.

— Участники «Крынічанькі» — все профессиональные музыканты и вокалисты? — хочу узнать у Тамары Даниловны.

— Нет, не все профессионалы. В ансамбле народной песни «Крынічанька» собрались любители белорусского слова и мелодии. Песни сочетаются с элементами хореографии. Основная часть нашего репертуара — народные песни именно нашего региона в современной музыкальной обработке местного музыканта Владимира Голубева.

Наверно, когда своими традициями дорожит целый коллектив, то долгая творческая жизнь ему гарантирована.

Каждое учреждение культуры собирает под своей крышей представителей разных поколений. Если со старшей половиной участников я уже познакомилась, то встреча с молодыми у меня еще впереди. С их руководителем, Маргаритой Цветниковой, заочно Алина Викторовна меня уже познакомила. А убедиться в ее организаторских и хореографических способностях я смогла благодаря видеозаписям прошлогоднего концерта. Образцовый ансамбль эстрадного танца «ВераНика» (не удивляйтесь, название написано правильно) Маргариты Цветниковой — три разновозрастные группы: две младшие (8—13 лет) называются «Вера», а старшая (13—16 лет) — «Ника».



Ансамбль народной песни «Крынічанька».

Ярким дополнением к юным танцорам «ВераНики» является народная эстрадная вокальная студия «Архив», которая готовит маленьких звездочек эстрады для большой сцены. Молодые, яркие вокалисты из числа одаренных учащихся старших классов, рабочей молодежи разных профессий города и района радуют своими выступлениями и местную публику, и областную, и республиканскую. Молодые и одаренные любители пошутить собираются вместе в народном театре миниатюр «Шпилька». Руководит веселой молодежью и вдохновляет ее на создание сатирических мини-спектаклей Елена Шурпик. «Шпилька» — коллектив-долгожитель. В 1984 году он организовался на базе агитбригады «Вестник», а учитывая предыдущие заслуги, в 1985-м коллективу было присвоено почетное звание «народный».

В хоре под руководством Дарьи Волковой собрались люди, одержимые высоким искусством.

— Наш народный камерный хор — единственный самодеятельный хор в Витебской области, — просвещает меня Алина Викторовна. — Характерно, что он исполняет произведения местных авторов.

Камерный хор собрал 26 человек разного возраста и разнообразных профессий — любителей академического хорового пения. Его визитной карточкой стали авторские и духовные произведения, хоровые миниатюры, белорусская и зарубежная классика.

Звездно-образцовая школа

Их невозможно не заметить: трубы, кларнеты, флейты ослепительно блестят на солнце, а громкие звуки знакомых с детства мелодий разносятся по окрестности. В то весеннее праздничное утро духовой оркестр был главным героем всех торжественных мероприятий.

По подсказке Алины Викторовны среди бравых «военнослужащих», преподавателей и учеников Глубокской детской школы искусств, нашла главного капельмейстера — трубача, руководителя оркестра и по совместительству директора школы Николая Лашкова. Конечно, такой поведет за собой вперед не хуже Суворова. И вот уже в течение 35 лет ведет. Потому, наверное, и отмечен духовой оркестр почетным званием «образцовый» и дипломом Министерства культуры Республики Беларусь за высокое исполнительское мастерство.



Хореографический ансамбль «Радость».

* * *

Алина Викторовна с гордостью сообщила, что в этом году Глубокская детская школа искусств отметит шестидесятилетний юбилей. Как раз 1 сентября 1952 года первые ученики, будущие музыканты, переступили порог учебного заведения, и по сегодняшний день юные жители Глубокого овладевают музыкальными знаниями на шести отделениях.

А двенадцать лет назад две творческие женщины, преподаватели школы искусств, решили создать два больших коллектива и собрать вместе маленьких «звездочек» Глубокского района. Одни желали красиво петь, а другие — танцевать. Вокальные способности учеников развивала руководитель и дирижер Вероника Науменок, а танцевальным па учила хореограф Галина Худякова. Так образовались хоровой коллектив и хореографический ансамбль «Радость», которые через некоторое время стали образцовыми коллективами.

У каждого из них своя гастрольная деятельность, свои конкурсы и репертуар, но цель одна: не только принести радость и восхищение зрителям, но и воспитать маленьких «звездочек», достойную смену для учреждений культуры Глубокского района.

Ремесел глубокских созвездие

Попрощавшись с «культурным экскурсоводом» и договорившись на завтра о путешествии в городской поселок Подсвилье, где нас также ждут интересные люди, спокойно прогуливаюсь по улице Ленина — от Глубокской детской школы искусств к Центральной площади. Заметив здание с табличкой (так отмечают объекты историко-культурной ценности), к тому же украшенное афишей, заинтересовалась. Театральный зал имени Игната Буйницкого, в котором находится городской центр культуры, приглашал на выставку клуба народных

мастеров «Крыніца». Привлекло и поэтическое название — «Ремесел глубокских созвездие». Хороший повод познакомиться с местными мастерами.

Открываю двери… — глаза разбегаются от такого количества «рукотворной» красоты. Сколько материалов и техник задействовано для создания всех чудес: глина, солома, дерево, бисер, нити, ткань… Умелые руки мастеров сотворили настоящие произведения искусств.



Светлана Сковырко.

— Нравится? — спрашивает женщина, доброжелательно улыбаясь.

— Глаз не оторвать. Какие же у вас чудесные мастера! — в восхищении отвечаю я.

— В нашем клубе «Крыніца» 33 глубокских таланта-самородка: гончары, мастера по резьбе и по лозоплетению, ткачихи, художники, вышивальщицы… И работы получаются отличные, пользующиеся спросом на разнообразных праздниках, конкурсах не только районного, но и республиканского и даже международного масштаба.

— А откуда вы все знаете?

— Я участница клуба, занимаюсь росписью по дереву, — говорит собеседница. — Похвастаюсь: у нас две женщины имеют звание «Народный мастер Беларуси» — Мария Ермалович и Вера Байкова, и одна — Светлана Сковырко — член Союза мастеров Беларуси.

— Расскажите, пожалуйста, о них! А изделия народных мастеров на выставке представлены? А ваши? — засыпала я вопросами женщину.



Мария Ермалович.

Светлана Ковальчук (так звали новую знакомую) оказалась и отличным экскурсоводом, и руководителем клуба «Крыніца». Путешествие в мир народного искусства было познавательным, как и рассказ про мастеров.

— Марию Ермалович в Глубоком, наверно, знают все, как и ее замечательные изделия из соломки. Она — мастер-методист по соломоплетению и аппликации соломкой. В ее творческой сокровищнице — соломенные панно, бытовые изделия, украшения для волшебниц, куклы, картины. А сколько головных уборов сплела из желтенькой соломки Мария Вячеславовна! Из ее коллекции козырьков, шапок, кокошников, веночков персональная выставка получилась. Мария Ермалович — самобытный мастер. Ей хорошо даются не только соломоплетение, но и резьба по дереву, макраме, вязание, лепка из глины. Званий, достижений, наград она собрала мно-

жество: народный мастер Беларуси, член Белорусского Союза мастеров народного творчества, ее имя и названия ее работ можно найти на страницах энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь», профессионального издания «Соломенных дел мастера Витебщины»...

Мария Ермалович как мастер по соломоплетению состоялась благодаря Дарье Бельской, мастеру-самоучке, ставшей членом Союза мастеров Беларуси. Впервые увидев панно из соломки, Дарья Бельская захотела попробовать сама: сначала это были букеты цветов, сказочные сюжеты, а потом появились более сложные композиции, подсказанные рисунками Язэпа Дроздовича и Федора Суховило. Последнее увлечение — «расписывание» ковров соломкой — стало характерной чертой работ Дарьи Бельской.

— А здесь словно сам Язэп Дроздович ковры рисовал, — воскликнула я. — Только краска почему-то свежая, и фамилия подписана другая — Светлана Сковырко.

— Это наш молодой «Дроздович», — улыбается «экскурсовод». — Светлана по профессии художник-оформитель. Работает с любыми природными и неприродными материалами, изготавливая при этом такие чудеса... Например, из борщевика сделала Эйфелеву башню, чем удивила делегацию французов, приехавшую в Глубокский район. В последнее время Светлана, обучая росписи по тканям в Доме ремесел, увлеклась творчеством нашего земляка Язэпа Дроздовича. На ее полотнах восстают архитектурные памятники Глубокского края в обрамлении цветов, как у нашего странствующего художника.

С тканью, но в другом ключе, работает народный мастер Беларуси Вера Байкова. У нее очень редкое для современного человека занятие — ткачество. Азы сплетения нитей в полотно Вера Васильевна узнала в детстве, этому ее научила мать. В 1990 году во время работы в Глубокском Доме ремесел села за ткацкое оборудование и до сегодняшнего времени бранной, закладной и другими техниками ткачества создает чудо-полотенца, постилки и пояса. Интересуется Вера Байкова и историей Глубокского края: по итогам экспедиций в деревни района воссоздала региональный мужской и женский костюмы.

Слушая рассказ об увлеченных своей профессией женщинах, по-доброму завидовала: и работа, и хобби. Правда, в клубе народных мастеров «Крыніца» не всем так повезло. Мастера Глубокского района объединили свои интересы в 1986 году, а Дом ремесел начал свою деятельность (первый в области!) в 1990-м, да и рабочих мест в учреждении культуры гораздо меньше, чем талантов-самородков в Глубокском крае. Но на количестве удивительных работ это никак не сказывается.

Идущие на смех

По дороге в городской поселок Подсвилье от Алины Юргель многое узнала о культурных событиях прошлого и настоящего. В Глубокском районе дорожат традицией своих предков. Здесь полтора столетия назад Игнат Буйницкий создал первую самодеятельную театральную труппу, которая положила начало профессиональному белорусскому театру. В Глубокском районе на театральных подмостках сейчас работают 24 самодеятельных коллектива, два из них — в городском поселке Подсвилье. К тому же подсвильская земля — малая родина Язэпа Дроздовича.

Стоп. Приехали. Нас встречают подсвильские артисты.

В прошлом году народный театр миниатюр Подсвильского Дома культуры «Идущие на смех» отметил пятнадцатилетие.

— Наш коллектив тем отличается, что на сцене играют только парни, — включилась в разговор руководитель народного театра миниатюр Тамара Спецанова. — Стараемся ставить спектакли на белорусском языке. Создаем театральные постановки преимущественно исходя из местной тематики, из деревенской жизни.

Алина Викторовна уточнила, что который год «Идущие на смех» традиционно готовят две новые программы. Артисты, среди которых старшеклассники, предприниматели, строители, рабочие, своей сильной сценической энергетикой создают такой водоворот юмора, который захватывает и жителей деревни, и горожан, и жюри фестивалей, в которых они принимают участие. Многие из них — вчерашние выпускники образцового театрального коллектива для школьников, которым когда-то тоже руководила Тамара Спецанова.

Юные актеры — ученики средней школы в возрасте от 10 до 16 лет — делают первые шаги на сцене Подсвильского городского Дома культуры. А овладев актерским мастерством, сценическим языком, мимикой и пластикой, подсвильские юноши и девушки участвуют в районных смотрах, неделях театра, удивляют своими творческими способностями жителей района.

Не сомневаюсь, что и музыкальные, и вокальные подсвильские коллективы смогут в дальнейшем получить почетные звания «народный» или «образцовый», здесь есть кому повести за собой к культурным вершинам, тем более на такой богатой талантами земле.

Решили с Алиной Викторовной, как говорят, одним махом всю театральную закулисную жизнь Глубокского района просмотреть. Путь держим в деревню Дерковщина, где на сцене центра культуры проводят репетиции и выступают два драматических коллектива, одному из которых присвоено звание «народный», второму — «образцовый».

На каждом деревенском концерте или празднике местные жители всегда приветливо встречают любимых артистов народного драматического коллектива, которым руководит Татьяна Феркович. Шоферы, учителя, главные специалисты хозяйства, строители — люди разных специальностей, далекие от профессии актера, с такой искренностью и преданностью исполняют роли на сцене, будто осваивали актерское мастерство по системе Станиславского. Люди эти, одержимые белорусским словом, сами пишут драматические произведения, используя местный материал.

Посмотрела на их репетицию и определила для себя, в чем заключается их успех: в колоритных, запоминающихся образах, ярких костюмах и искренней подаче материала.

Не отстает от театральных высот и взрослых артистов образцовый детский драматический коллектив.

— Юные театралы из Дерковщины — желанные гости в городских и сельских школах, детских садах, — хвалит коллектив Алина Викторовна. — Молодой режиссер Андрей Ермолаев отбирает для репертуара спектакли с большим количеством участников. В пьесах продумана и обыграна каждая деталь, каждая мелочь. И костюмы у маленьких артистов яркие, и роли свои исполняют чудесно.

В красоте и выразительности костюмов я убедилась, жалко только, что маленьких дерковщинских театралов на сцене не увидела. Думаю, еще встретимся, было бы желание…

А впереди встреча с руководителем образцового кукольного театра «Диковинка» Зарубинского сельского Дома культуры Еленой Заяц.

По дороге размышляла: «Почему кукольный театр называется «Диковинка»? Что в нем такого необычного? Или кто-то кукол не видел?»

Мои саркастические мысли развеяли… сами куклы. Большие, яркие животные, птицы, цветы, сказочные герои, даже овощи и те ожили: тыква такая важная, а свекла очень смешная. Действительно «Диковинка»! К тому же Елена уточняет:

— Костюмы создаем сами — фантазии у маленьких артистов хватает и в швейном деле, и в дизайнерском, поэтому наряды у наших кукол такие яркие, необычные.

Послушали фонограммы, которые артисты-кукольники вместе со своим руководителем записывают к каждому из спектаклей. В этом еще одна особенность «Диковинки» — на сцене не просто театральная постановка, а фееричес-

ский мюзикл. Такой музыкальный репертуар режиссер Елена Заяц подбирает специально, чтобы в полной красе раскрыть талант своих актеров.

Жители Глубокского района, маленькие и взрослые, этот кукольный театр очень любят. Его гастролей всегда ждут. А в прошлом году даже жители Новополоцка и Дубровно, что на Витебщине, смогли полюбоваться на глубокскую «Диковинку». Может, когда-нибудь и мне посчастливится увидеть этот «диковинный» театр.

Вдоволь покрутив палочки с толстеньким зайчиком, надутой жабкой, веселой капустой, вообразила, как радуются этим красивым куклам детки-зрители, как внимательно слушают сказочные мюзиклы и, конечно, подпевают и подтанцовывают юным артистам. Загляденье!

Наша последняя остановка в Зарубино стала ярким эпизодом театрального путешествия. Назад, в Глубокое! Какие завтра пути-дороги будем отмеривать? Утро вечера мудренее…

Феи книжных страниц

Маршрут следующего дня был очерчен сразу при встрече с «культурным» экскурсоводом. Без лишних вступлений решили посвятить его книжным скарбницам, тем более двухэтажное здание манило к себе яркой вывеской «Библиотека».

Алина Викторовна пояснила, что здесь находится «мозговой центр» культучреждений города и района: библиотека семейного чтения, организационно-методический центр, библиобус, автоклуб. В стенах одного здания они оказались не так давно, в 2005 году. В районной библиотеке помещения новые, а традиции сохранились давние: литературно-музыкальная гостиная «Встречи для души» получила новый адрес и новое звание «народная» (2008 г.). Гостиная является преемником клуба «Время и мы», организованного в 1986 году, который через 20 лет был переименован в литературно-музыкальную гостиную «Встречи для души». И, по словам Алины Викторовны, в отдых для души. Руководитель гостиной Жанна Юркевич огромное удовольствие получает от встреч с людьми, знакомыми и незнакомыми. Она приглашает на вечера-воспоминания, вечера-портреты, презентации книг, музыкальные вечеринки — всего не перечислишь. Юбилейные даты писателей, композиторов, певцов отмечаются местной интеллигенцией во время встреч в народной литературно-музыкальной гостиной.

Жители деревни Голубичи тоже могут гордиться своей литературно-художественной гостиной под названием «Наследие», которая создана при центре культуры. 15 лет радуют односельчан песнями, мелодиями, поэтическим словом первые помощники руководителя Наталии Молоковой — ученики школы, которые занимаются творчеством под девизом:

Нам лепей роднага краю
Нічога на свеце няма.
І спадчыну мы захаваем,
Бо дорага вельмі яна!

Потому и звание «народная» заслуженно «прикрепили» к названию своей гостиной.

Вот, кажется, и познакомилась с культурой Глубокского района. Присев за стол в читальном зале библиотеки, подсчитала, сколько «народных» и «образцовых» районных коллективов я увидела. Получилось восемнадцать, но помню, в самом начале знакомства с Алиной Викторовной звучала цифра девятнадцать. Кого потеряли? О ком забыли?

Им никогда не скучно

Оказалось, что не забыли, а оставили на потом чуть не самый знаменитый народный семейный клуб «Остров понимания». Начинателем и вдохновителем клуба, который объединил некоторые семьи города и района, стала неугомонная Марина Горопович. Проекты «Последняя героиня» и «Граница прочности» для настоящих женщин и мужчин, «Воспитание мужества», во время которого соревновались команды мужчин, женщин и ветеранов Великой Отечественной войны, «Властелин села», в котором участвовали двенадцать семей из Глубокского района, широко освещали в средствах массовой информации, их снимало телевидение. Участников семейного клуба знала вся страна.

С этого года обязанности руководителя исполняет Доната Серегина, человек интересный, энергичный. Семьи, которые вступили в клуб «Остров понимания», еще не известны всему свету, но уже прошло несколько этапов соревнований: зимних, весенних, летних, за которыми наблюдали горожане и читатели районной газеты. Смотрю на снимки и понимаю: для участников клуба главное не само соревнование и его раскрутка, а радость встречи, совместного активного отдыха семьи. Действительно же, не каждый человек может организовать себе и другим достойный досуг. А жителям Глубокского района повезло: за плечами их лидеров-организаторов много прекрасных мероприятий, а сколько еще впереди…

«У Глыбокім што ні свята — талентаў збярэ багата»

Алине Юргель, как самому главному организатору всего грандиозно-праздничного, я адресовала самый главный вопрос:

— Где и когда можно увидеть одновременно все глубокские таланты, чтобы полюбоваться ими?

— Маленькие звездочки Глубокского района сияют на фестивале детской песни «Веселые голоса» вот уже 16 лет подряд. Юные таланты собираются на одной сцене и радуют зрителей интересным репертуаром, завораживающим вокалом и яркими номерами.

Последователей Игната Буйницкого — поклонников театрального творчества — приглашают «Театральные кругозоры». Этот районный смотр-конкурс проводится в конце каждого года, в декабре, и собирает большое количество драматических коллективов. Жюри выбирает лучших, которые во время Недели театра (проводится ежегодно в марте) в Театральном зале Игната Буйницкого показывают свое мастерство.

Любимым летним и главным праздником, который собирает наибольшее количество жителей района и гостей города, стал «Квітней, Глыбоччына!» .Мероприятий, которые проходят на разных городских площадках, просто не сосчитать. И если начало и конец программы обычно традиционные: праздничное шествие ветеранов, руководителей района, городских и сельских трудовых коллективов по улицам Глубокого и фейерверк, то «концертную часть» пробуем делать разнообразной, каждый год дополняя разными действиями. То, что больше всего нравится зрителям и участникам, проводим постоянно. Так произошло с программой «Две звезды», которая в этом году в четвертый раз собрала районных любителей-вокалистов и профессионалов на одной сцене.

Раньше Глубокский район приглашал на праздники приезжих артистов. Когда же появилась проблема с финансами, решили своих самодеятельных артистов вывести на сольные концерты. Местные артисты-самородки проявили свои таланты на глубокской сцене во всей красе. Первый творческий сольный концерт организовал местный самодеятельный композитор Бронислав Громаковский, на следующий год эстафету подхватила его коллега по музыкальному творчеству Анна Шаколо.

Чуть с меньшим размахом, но с деревенской искренностью проводится «Свята на Дзядку» — чествование деревень и их жителей ближайшим сельсоветом. Теперь на праздник собираются все любители летнего отдыха на природе. Особенный колорит этому мероприятию придают конные соревнования.

В последнее воскресенье августа, как раз перед началом учебного года и осенних работ, Центральная площадь Глубокого превращается в огромную цветущую клумбу. Так начинается традиционный «Праздник цветов». Каждый год стараемся подобрать такую тематику, чтобы не ограничивать полет фантазии наших участников. Кроме соревнований организаций, учреждений, предприятий в лучшем оформлении цветочных композиций подводим итоги и награждаем лучших цветоводов, дизайнеров глубокских подворий.

Масленица, Купалье, Зажинки, Дожинки, Святки, Пасха с волочобным обрядом — эти праздники для наших работников культуры стали неотъемлемой частью их работы. Надо сказать, что возрождение народного наследия — главное направление районных культучреждений.

Известно, что во времена Российской империи и «за польским часом» Глубокое славилось своими ярмарками. И сейчас — пожалуйста, и осенью, и весной, — сердечно приглашаем под частушки и танцы прикупить что-нибудь у нас.

Для развития художественного вкуса глубокской публики и поощрения увлечения серьезной музыкой с февраля начали проект «Живой звук», в котором исполнительское мастерство показывают многочисленные наши таланты — музыканты и вокалисты.

Конечно, некоторые культурные мероприятия дорабатываем, обновляем — так произошло с традиционными праздниками деревень. Разработан новый проект «Моя деревня. Я в ней хозяин», в котором активное участие принимают районный Совет депутатов и Глубокский райисполком. На празднике чествуем жителей из отдаленных деревень, людей труда, лучших хозяев деревенских усадеб.

Наиболее значительным испытанием для глубокских культучреждений и коллективов является международный католический фестиваль христианского кино и телепрограмм «Magnificat», который шагает по Глубокской земле с 2005 года. На этом представительном мероприятии выступление наших артистов оценивают гости из разных стран мира.

В рамках подготовки к Дню белорусской письменности и по поводу юбилейной даты со дня рождения Якуба Коласа в районе проводится проект «Читаем «Новую зямлю» вместе», во время которого руководители района, организаций и заведений читают свои любимые коласовские строки. Все прочитанное ими записывается на видео. А потом весь фильм, всю «Новую зямлю» по-глубокски покажут 2 сентября во время республиканского праздника.

— Есть повод приехать… — улыбнулась я Алине Викторовне.

— Конечно, будем ждать. Увидите наши коллективы во всей красе! — приветливо улыбнулась та в ответ.

Конечно увидим! А пока до встречи, живописная сторона озер и лесов, знаменитых и талантливых людей!

Фото Елены АДЕДЕДЖИ и Владислава БАРИЛО.



ЗОЯ ЛЫСЕНКО

Мюзикл в законе
Мировой хит на белорусской сцене

Знаковым стал этот сезон для Белорусского государственного академического музыкального театра — впервые на его сцене был поставлен лицензионный мюзикл мирового уровня. Речь идет о легендарном произведении американского композитора Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история».

Постановка на белорусской сцене мирового мюзикла — дело непривычное, к тому же очень кропотливое и затратное. И самое главное здесь — приобретение лицензии. Осуществить этот проект удалось при содействии Посольства США в Республике Беларусь, в результате чего все материалы для постановки мюзикла были предоставлены компанией Music Theatre International, владеющей авторскими правами на данное произведение.

Непосредственно перед премьерой на официальном сайте Посольства США был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось об этом событии. В рамках поддержки данного проекта Посольство финансировало покупку у американского правообладателя лицензии на постановку и показ мюзикла сроком на один год, а также помогло театру в поиске заинтересованных в постановке американских специалистов и организовало их приезд в Минск. Кроме того, Посольство взяло на себя расходы, связанные со стажировкой в США нашего балетмейстера Дмитрия Якубовича, а также передало в дар театру перкуссионные музыкальные инструменты и микрофоны, которые используются в спектаклях.

Итак, над созданием минской версии «Вестсайдской истории» работали приглашенные из Америки дирижер-постановщик Филипп Симмонс и балетмейстер-постановщик Пол Эмерсон со своим ассистентом Джейсоном Игнасио. А режиссером-постановщиком, в соответствии с условиями соглашения, является штатный режиссер Музыкального театра Анастасия Гриненко.

— Нам предоставлено право на постановку «Вестсайдской истории» с возможностью своей режиссерской интерпретации, что на самом деле является редкостью, — говорит Анастасия Гриненко. — Как правило, все лицензионные мюзиклы ставятся строго по копирайту, то есть являются точным переносом первых постановок. Мы имеем право и на свою оригинальную хореографию, основанную на концепции Джерома Роббинса. Поставленный нами спектакль пока будет идти в течение года, так как лицензия всегда выдается на год, а потом она либо продлевается, либо нет — по этой системе работают все театры мира.

Специалисты считают «Вестсайдскую историю» первым произведением, ознаменовавшим собой переход от легкой развлекательной формы мюзикла к серьезному музыкально-драматическому жанру. И действительно, его либретто имеет ярко выраженные литературно-содержательные черты, а музыка решает серьезные драматургические задачи. Как и во многих позднейших западных и российских мюзиклах, в основе сюжета «Вестсайдской истории» лежит широко известное произведение мировой драматургии, а именно — трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Автор либретто талантливо перенес вечный сюжет в



Премьера мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» состоялась 26 сентября 1957 года на Бродвее в театре «Winter Garden». Сценарий к нему написал драматург Артур Лорентс, стихи — поэт Стивен Сондхайм, а хореографию создал Джером Роббинс, который являлся режиссером и балетмейстером первой постановки. В этом же году мюзикл получил театральную премию «Тони» в номинации «Хореография». На сцене театра мюзикл был показан 732 раза, после чего отправился в мировое турне.

В 1961 году вышла киноверсия «Вестсайдской истории», которая с триумфом обошла экраны всего мира. Этот фильм был удостоен 10 премий «Оскар», премии «Грэмми», 3 премий «Золотой глобус». А Американский институт кинематографии назвал его одним из величайших мюзиклов всех времен. Вскоре прославленный американский мюзикл попал на подмостки ведущих театров СССР: в 1965 году он был поставлен в Московском театре оперетты с Татьяной Шмыгой в главной роли, а в 1969-м — в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. Однако дальнейшая сценическая судьба «Вестсайдской истории» в бывшем Союзе была очень непростой, главным образом по причине запрета на показ оригинальной версии, наложенного авторами мюзикла.

В 2007 году в России появилась первая и пока единственная лицензионная постановка «Вестсайдской истории», осуществленная на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», в которой полностью сохранена концепция бродвейского оригинала.

современность: события развиваются в середине XX века в Нью-Йорке, и вместо вековечной вражды двух аристократических кланов в мюзикле показывается столкновение двух фанатично враждующих молодежных группировок — «Ракет», потомков белых эмигрантов, и «Акул», пуэрториканцев, заканчивающееся любовной трагедией.

«Ракеты», считающие себя хозяевами Вест-Сайда (западной окраины Нью-Йорка), ведут беспощадную войну с «Акулами», недавними переселенцами из Пуэрто-Рико. И любовь Тони и Марии — главных героев произведения, оказывается меж двух огней. Тони является лучшим другом Риффа, предводителя «Ракет», а Мария — сестрой Бернардо, главаря «Акул». Тщетно пытается Тони завоевать доверие Бернардо — гордый пуэрториканец отвергает его, а затем убивает Риффа, предводителя «Ракет». И тогда Тони, мстя за своего друга, убивает Бернардо и погибает сам.

«Вестсайдская история» получилась глубоко реалистичным произведением, музыкальная драматургия которого очень выразительно передает все перипетии сюжета. Вокальные и танцевальные номера мюзикла настолько драматургически емкие и насыщенные, что, кажется, содержательнее диалогов — так велика сила их эмоционального воздействия. Однако при кажущейся легкости восприятия сценического действия музыка этого произведения очень непроста по форме и содержанию и очень сложна для исполнения. В ней есть все — элементы классики, американский и пуэрториканский фольклор, и конечно же, — джаз. Просто поражает разнообразие стилевых и жанровых линий, и

особенно логика их развития и гармоничного сочетания. И публика в зале сразу же ощущает непривычные для нас ритмы, интонации и гармонию, своеобразное тембровое звучание оркестра.

И здесь необходимо отметить, что с оркестром театра работал не только дирижер-постановщик Филипп Симмонс, но и наш дирижер Николай Макаревич, который провел всю подготовительную работу с музыкантами, сделал адаптацию партитуры под состав нашего оркестра (в первую очередь для группы деревянных духовых инструментов) и теперь ведет этот спектакль.

— «Вестсайдская история» стоит особняком от всех мюзиклов, которые знает наш слушатель, так же как и сам Бернстайн со своей творческой манерой стоит особняком от других авторов, — говорит Николай Макаревич. — Есть мюзиклы четкой стилизованной направленности, такие, например, как всем известные «Чикаго», «Кошки» и другие, а этому мюзиклу невозможно дать какое-то лаконичное стилевое или жанровое определение. Фактура, которой пользуется Бернстайн, очень сложна, здесь и симфоджаз, и полифония, например, когда одна тема развивается в разных пластах, проигрывается несколько раз, вступает во взаимодействие с другими темами… Это произведение очень тяжелое для исполнения. Я работаю в театре 22-й год, но ничего похожего никогда не играл и не могу назвать ни одного произведения, которое бы вызывало столько трудностей в плане его разучивания, черновых репетиций, которое требовало бы к себе столько внимания при чтении с листа, когда музыканту нужно быть предельно внимательным. К примеру, если он пропустит свое вступление, то уже «не поймает», а самое страшное, если кто-то из ключевых пропустит — тогда и остановиться можно. Если на репетицию любого другого спектакля оркестрант может позволить себе прийти, не посмотрев партию, то здесь это не проходит — он будет инородным телом в оркестре. Однако при всей сложности прочтения и разучивания эта музыка очень красивая и легко запоминающаяся. Полифоническая фактура всегда очень сложна, к тому же манера письма Бернстайна чрезвычайно индивидуальна и непривычна. И Филипп Симмонс нам многое объяснил по стилистике, по динамике, по балансу звучания; много было вопросов, в частности, по американским джазовым сурдинам. Ведь это не европейская музыка, и влияние американского дирижера, являющегося носителем этой культуры, здесь трудно переоценить.

Однако сам Филипп Симмонс все трудности, с которыми сталкивались наши оркестранты, корректно называет исследованием незнакомой партитуры. «И музыканты, и вокалисты, участвующие в постановке, с большой готовностью взялись за усвоение незнакомого для них джазового стиля и джазового звучания, — говорит дирижер-постановщик, — это честь поделиться с ними тем, что знаю. Но и для меня в этой работе существуют некоторые трудности. К примеру, я постоянно должен держать в голове, что в русском языке требуется больше слов, чтобы передать тот же текст песен на английском языке; кроме того, при рифмовке переводного текста смещаются акценты и логическое ударение. Но мы приходим к совместному решению и добиваемся, чтобы переводной текст так же хорошо ложился на музыку, как и оригинальный».

Не только с оркестром довелось работать дирижеру-постановщику. Солистам-вокалистам и артистам хора также необходима была его помощь — и в плане усвоения произведения, и в плане постижения самого стиля мюзикла. Ведь в данном случае постижение стиля — залог успеха постановки. Только прочувствовав суть этого произведения изнутри, можно приступать к построению его сценической формы, совершенством которой не перестают восхищаться до сих пор.

И можно представить, какая ответственность легла на режиссера этой постановки Анастасию Гриненко. Да, она поставила уже немалое количество мюзиклов — и не только в Беларуси, ее называют креативным режиссером. Однако здесь особый случай: первая в республике лицензионная постановка, работа в команде с американскими специалистами и сложнейший из всех материалов, с которыми когда-либо приходилось соприкасаться.

Обычно если в постановке режиссеру удается удачно разработать линию главных героев, то и остальное как бы нанизывается на нее. Но в работе над «Вестсайдской историей» такой подход в принципе невозможен, потому что из музыкально-драматургической канвы этого произведения выделить главных героев практически невозможно. Это тот спектакль, где масса не является массовкой, а наоборот — превращается в движущую пружину всего действия и сама рождает героев. И особой режиссерской задачей здесь является создание ансамблевого взаимодействия на сцене всех действующих лиц. «Вестсайдская история» в оригинале — это совершеннейший сплав музыки, хореографии и драмы. В это произведение изначально заложено множество действенных массовых сцен, в которых особое значение придается танцам. Как уже отмечалось, наш балетмейстер Дмитрий Якубович проходил стажировку в Нью-Йорке в Broadway Dance Center, без чего ему было бы очень трудно работать совместно с американским балетмейстером-постановщиком.

— У нас в республике хорошо развиты традиционные хореографические направления: классический танец, народный, современный, очень распространен бально-спортивный вид танца — вот, в принципе, и все. А в Америке существует очень много направлений, стилей и жанров, которые искусно соединяются и переплетаются между собой, — вот в этом многообразии и есть основное отличие их хореографии от нашей, — говорит Дмитрий Якубович. — И нашим хореографам и балетмейстерам очень полезно было бы периодически делать подобные выезды, чтобы иметь представление, как развиваются в мире другие хореографические направления. А для Музыкального театра, который стремится к развитию разных жанров, — это особенно важно. И я очень благодарен Посольству Соединенных Штатов за содействие в этой командировке, чрезвычайно важной для меня в плане накопления опыта и повышения профессионального мастерства.

Работа над постановкой этого мюзикла была трудной еще и потому, что в нем должны одинаково хорошо танцевать все его участники. Для бродвейской труппы это в порядке вещей — там артистам изначально закладываются все универсальные качества, необходимые для этого жанра, поэтому они одинаково хорошо и танцуют, и поют. А у нас же получается так, что наше классное мастерство нам же и мешает — наши вокалисты академически поют, артисты балета академически танцуют, а тут им нужно как бы поступиться своим профессионализмом да еще кардинально изменить свой исполнительский стиль. Короче, до начала репетиций солистам-вокалистам и артистам хора довелось заняться необходимым тренингом и усвоением профессиональных основ хореографии (хорошо, что артистам балета пока петь не приходится!..). Вообще-то на подобный спектакль еще несколько лет назад театр не осмелился бы замахнуться, но сегодня это стало возможным благодаря тому, что состав хора (основного «поставщика» массовых сцен) кардинально помолодел и способен решать более широкие актерские задачи.

В связи с этим интересны высказывания балетмейстера-постановщика Пола Эмерсона: «В этом театре мне пришлось работать и с артистами балета, и с артистами хора, и с солистами-вокалистами, которые в традиционных спектаклях выполняют совершенно разные задачи. И поначалу всем нам было нелегко. Но эта труппа очень подвижна в плане восприятия всего нового. И мне теперь особенно нравится соединять в танце балет и хор. Просто нужно четко понимать способности тех людей, с которыми работаешь, и давать им задания такой трудности, которые были бы для них выполнимы. Вообще, с позиции балетмейстера и танцовщика хореография Роббинса очень тяжела, однако зрителю она кажется легкой и безумно нравится. Идеи этой хореографии, конечно, совершенно новы для белорусских танцовщиков, и техника танца, в которой само распределение движений происходит по-иному, им тоже непривычна. Поэтому с каждым моим приездом я постепенно усложнял им задания. Дмитрий Якубович был режиссером по репетициям в мое отсутствие. Кроме того, он тоже ставил хореографические номера, и, судя по тому, насколько профессионально это у него получилось, я

могу сказать, что в следующий раз он сможет что-то подобное сделать сам. Дмитрий — тот человек, который умеет черпать информацию из всех доступных источников, к тому же он талантлив по своей природе, что и приводит его к успеху. А относительно произведения, над которым мы работали, я хочу отметить следующее: «Вестсайдская история» — один из величайших мюзиклов, когда-либо созданных, а Роббинс — один из самых лучших хореографов, которых я когда-либо наблюдал на Бродвее. Он понимает ритм и метрику так, как очень немногие люди, и одинаково хорошо работает как с джазовым танцем, так и с классическим балетом. И именно это делает его таким уникальным. В этом мюзикле с помощью хореографии он смог рассказать настоящую историю, которую мы, в свою очередь, также старались воспроизвести на белорусской сцене».



Дмитрий Якубович в роли Тони.

В свое время танцы Роббинса с подмостков Бродвея перешли и в экранизацию «Вестсайдской истории», познакомившись с которой, легко убедиться, что они действительно «говорящие» и в них порой заложено гораздо больше чувств и эмоций, чем в диалогах. Ведь не зря говорят: когда эмоции становятся слишком сильными для слов, они переходят в песню, а когда становятся слишком сильными для песни, то переходят в танец. Это высказывание справедливо и в отношении нашей минской постановки: с одной стороны, потому, что вокальные и танцевальные номера в ней действительно энергетически очень насыщенные и емкие, не говоря уже об их эмоциональном воздействии, а с другой, — потому, что диалоги на их фоне как-то меркнут и вообще слабо воспринимаются. Невыразительность разговорной части спектакля — пожалуй, единственное, что не способствует его стройности и гармонии. (Невольно возникает мысль, что режиссер настолько была озабочена более сложными постановочными задачами, что упустила самое простое.) Однако это поправимо — в новом сезоне спектакль будет набирать силу, и в нем будет исправляться то, что можно исправить.

Важно, что в этом спектакле получилось главное — музыка и танец стали единым художественным целым. Без слов понятно, какая из группировок — «Ракеты» или «Акулы» — действует на сцене: у каждой из них свой музыкальный язык, свой характер танца. Например, это ярко проявляется в очень выразительном и экспрессивном танцевальном номере «Dance At The Gym», где «Ракеты» проявляют свой напор и силу при помощи спортивных элементов и акробатических трюков, а «Акулы», особенно их девушки, — прирожденно-аутентичную грациозность и одновременно упорство и целеустремленность. У каждой из группировок даже свой вариант очень выразительного и азартного Mambo. Здесь, в дансинге, впервые встречаются главные герои Тони и Мария, между которыми вспыхивает первая искра любви (все как у Ромео и Джульетты). Чуть позднее Тони-Ромео будет исполнять свою арию, ожидая выхода на балкон Марии-Джульетты. И возникает особое чувство, когда известные композиции из этого мюзикла, такие, как «Maria», «Tonight», «Somewhere» звучат в исполнении наших солистов.

Роль Тони в спектакле исполняет Дмитрий Якубович (солист-вокалист и балетмейстер в одном лице). Он обладает тем необходимым сочетанием качеств актера, певца и танцовщика, которые присущи хорошему артисту мюзикла (для



Илона Казакевич (в центре) в роли Марии.

наших условий комплекс чрезвычайно редкий). И на сцене он одинаково хорош как в амплуа героя, так и в острохарактерной роли. Тони в его исполнении — истинный лирический герой, он, как и Ромео, жил в ожидании настоящего большого чувства еще до встречи с прекрасной незнакомкой, а потом, упоенный любовью, так же, как и Ромео, призывал к примирению враждующих кланов и так же, как Ромео, лишь под воздействием спонтанного острого чувства, мстя за гибель своего друга, убивает Бернардо, брата Марии, с которым еще недавно хотел подружиться. В роли Марии предстала Илона Казакевич — партнерша Дмитрия Якубовича во многих других спектаклях. И в «Вестсайдской истории» их дуэт очень органичный — они равноценные партнеры во всем, даже по фактуре очень подходят друг другу. Их персонажам принадлежат лирические музыкальные номера, звучащие классически гармонично и ярко контрастирующие с динамичными массовыми сценами, представляющими из себя невероятный сплав джазовых и латиноамериканских ритмов.

Все остальные роли в этом мюзикле отличаются острой характерностью и ярче всего проявляются в массовых сценах в экспрессивных музыкальных номерах и танцах. В роли предводителя «Ракет» Рифа — одновременно романтичного и безрассудного — предстал блистательный Виктор Циркунович, обладатель великолепного баритона, к тому же владеющий всем арсеналом сценических выразительных средств. А в роли Бернардо, неустрашимого предводителя «Акул», притягательного в своей диковатой, первозданной красоте пуэрториканца, — Денис Немцов, колоритная внешность которого как нельзя лучше подходит к этому образу (жгучий брюнет со стройной фигурой и в красной рубахе, символизирующей внутренний огонь, невероятно гибкий и напружиненный в движениях — как дикий ягуар, готовый к прыжку). Этот артист обладает редким драматическим даром, помноженным на отточенность актерского мастерства, и не перестает восхищать многогранностью своего таланта (чего стоит только его потрясающее умение танцевать).

Одну из самых острохарактерных женских ролей — Аниты, девушки Бернардо, — исполнила Светлана Мациевская. Яркая, энергичная и притягательная

дочь знойных Карибов — такой и предстала героиня Мациевской со сцены. Но главное — она должна четко выделяться в музыкальных и танцевальных номерах, и этого артистке удалось достичь за счет целого комплекса выразительных средств. Вообще девушки-«Акулы» в массовых сценах в целом выглядели эффектнее, чем девушки-«Ракеты», и среди исполнительниц больше всех выделялась Виктория Жбанкова-Стриганкова: пластикой движений, мастерством танца и особенно — чувством стиля.

— При создании этих образов нам нужно было кардинально отличить девушек-«Ракет» от девушек-«Акул», — говорит художник по костюмам Юлия Бабаева. — Первые предстают в спектакле в образе так называемых стиляг, изображающих из себя продвинутых американок, а вторые, наоборот, подчеркнуто женственны — в ярких пышных юбках, с высокими прическами-бабеттами и всевозможными украшениями, потому что хотят быть привлекательными. Для их нарядов нам удалось закупить шелковую тафту разных цветов. А вот с мужскими образами была проблема: никак не удавалось найти какой-то тип, более всего соответствующий их характерам. И в конце концов остановились на «стиле улиц» — ведь действие разворачивается на открытом пространстве.

Итак, целостное хореографическое решение спектакля и четкая расстановка танцевально-пластических акцентов наглядно демонстрируют нарастающую напряженность между враждующими группировками, и больше всего — впечатляющие, пронизанные острыми ритмами, картины уличных боев. Но в массовых сценах немало и хоровых эпизодов, отличающихся разнообразием стилей и сложностью голосоведения. Кстати, в партитуре отмечены также различные возгласы и выкрики, без которых не обходятся массовые сцены. «Только партия Тони — по-настоящему классический вокал, — отмечает хормейстер-постановщик Светлана Петрова, — однако хоровые партии нельзя исполнить классически, ведь они выражают настроение двух молодежных враждующих группировок, и это должно находить свое отражение в вокале. Но при этом нельзя опуститься и до уличного крика — здесь очень важны нюансы, акценты, тонкие штрихи. В действительности, это очень серьезная музыка, и на нас лежит ответственность донести ее до слушателя так, как было задумано автором. К тому же во всех хоровых эпизодах огромное значение имеет пластический рисунок. К примеру, исполняя номер «America», артистки хора танцуют. И это происходит на протяжении всего спектакля».

Однако есть в этой постановке несколько небольших мизансцен, полностью построенных на диалогах с участием взрослых персонажей. В них нет музыки, нет танцев, а есть только слово, которое решает все, если оно звучит из уст мастера. Так, роль владельца лавочки Дока, у которого часто собираются «Ракеты», исполняет заслуженный артист России Алексей Кузьмин. Его обычное амплуа в театре — яркие характерные роли, чаще всего комические. А характерный артист без драматического дара немыслим. В общем-то, образ Дока довольно схематичен — он просто призывает молодежь к благоразумию, поэтому здесь нельзя говорить о каких-то серьезных коллизиях, но нельзя не сказать просто об актерском мастерстве. Именно о мастерстве диалога, в данном случае — монолога, а если еще конкретней — о совершенстве сценической речи, о ее интонационной выразительности и многих других составляющих, из которых складывается это понятие.

Все это в полной мере относится и к исполнителю роли инспектора Шрэнка Александру Осипцу. Небольшая, тоже довольно схематично выписанная роль не позволяет выявить весь драматический талант этого артиста, но она позволяет судить о его творческом потенциале. Даже не очень большого монолога Шрэнка достаточно, чтобы понять психологию двойных стандартов этого блюстителя порядка. А ведь весь этот подтекст исходит именно от исполнителя: не очень важно, что он говорит со сцены, важно — как! Одна только тембровая подвижность его голоса несет в себе больше смысла, чем слова, плюс умение расставлять акценты, держать паузу…

В спектакле есть еще один блюститель порядка — полицейский Крапки, которого автор либретто совсем обделил текстом, оставив ему лишь несколько громких возгласов. Заслуженный артист Республики Беларусь Василий Сердюков «вытягивает» эту роль только за счет своего актерского мастерства, при помощи внешних выразительных средств. Ну а Массовику-затейнику какой-никакой текст, но положен, и Людмила Сучкова справлялась с этой ролью в первую очередь также за счет выразительности сценической речи. Таким образом, получилось, что второстепенные персонажи в мастерстве диалогов превзошли главных.

Несколько разочаровал финал спектакля. Он должен быть трагически-надрывным: у Марии разрывается душа — убит Тони!.. Но настроившегося на сильные переживания зрителя вдруг отвлекает неожиданно громкий трескучий выстрел — какой-то «самодеятельный», как из игрушечного пистолета. Кажется — мелочь, а восприятие нарушено.

И в завершение — о сценографии спектакля. Художник-постановщик Андрей Меренков мог разочаровать только того зрителя, который вообще не знаком с этим произведением. Почему на сцене какие-то металлические лестницы, трубы и решетки? А потому, что это урбанистическая картина. Это символ индустриальной окраины Нью-Йорка середины прошлого века. И в экранизации «Вестсайдской истории» мы видим то же самое. А на сцене все эти металлические конструкции очень функциональны, например, в нужный момент они превращаются в балкон Марии. И как бы в противовес холодному блеску металлических конструкций художник-постановщик придумывает яркий суперзанавес в виде граффити, наполненный множеством философских смыслов.



Драматург + режиссер

Конец театрального сезона был отмечен для Центра белорусской драматургии очень важным событием — проведением творческой лаборатории, которую курировали белорусский режиссер и руководитель Центра Александр Марченко и известный российский драматург Михаил Дурненков. Цель творческой мастерской — перенести на «белорусскую почву» опыт лаборатории в Ясной Поляне, которая не один год собирает молодых драматургов и молодых режиссеров, чтобы помочь им найти общий язык и дать возможность сообща поработать с современными текстами на разных этапах их создания и сценического воплощения.

Как «прижились» в белорусском пространстве идеи Ясной Поляны, через которую прошло большинство известных сейчас в России драматургов и режиссеров, — покажет время. Результат подобных экспериментов проявляется не так быстро, как всем хотелось бы. Но поприсутсвовать на читках пяти текстов, за неделю созданных усилиями драматургов Дмитрия Богославского, Виктора Красовского, Анастасии Таранко, Марии Кашель, Андрея Иванова и режиссеров Татьяны Наумовой, Ольги Саратокиной, Елены Плютовой, Татьяны Лариной и Сергея Анцелевича, можно будет уже этой осенью.

Михаил Дурненков заметил: «Мы с Марченко выступали исключительно как кураторы, но не как редакторы, преследуя цель свести вместе драматурга и режиссера. От этого союза каждый что-то получает: драматург — знания о театральной реальности, от которой он часто отключен, а режиссер видит перед собой живого автора, понимает логику создания текста, участвует в этом процессе, избавляется от режиссерского отношения к тексту «Что это мне дали?». Мы надеемся, что эти режиссеры смогут ставить современные пьесы. А это не все могут: в классической режиссерской школе этому не учат, в редких вузах работают с современными текстами».

Журнал «Нёман» попытается разобраться в течениях современной драматургии в новой рубрике, посвященной загадочным и непостижимым текстам, новой драме и современному театру в принципе — «Verbatim» (техника создания спектакля, при которой в качестве основы для пьесы используются интервью с представителями тех социальных групп, которые должны стать героями постановки). Открывает рубрику беседа с Михаилом Дурненковым.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ

Михаил Дурненков: «Профессионализмом не обойдешься»

«А вы пишете пьесы?» — спрашивает у меня известный российский драматург Михаил Дурненков. Я улыбаюсь и говорю: «Нет». Дурненков тоже улыбается: «Зря. Пишите. Это же очень просто: слева — кто говорит, справа — что говорит». Писать пьесы Михаила Дурненкова и его брата Вячеслава, в дуэте с которым они и начали карьеру драматургов, научил основатель тольяттинской школы драматургии Вадим Леванов. И среди сосен Острошицкого городка, где Михаил курирует творческую лабораторию молодых белорусских драматургов и режиссеров, мы разговариваем об этом опыте, о том, каким должен быть современный театр, и о «тумблере реальности».

— *Как из слесаря получился сначала актер, а потом драматург Михаил Дурненков?*

— Драматургия — это причинно-следственная связь. Как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, просто так кирпич на голову не падает. Поэтому из слесаря никакой драматург получиться не может, — я писал с пяти лет.

— *Сразу пьесы?*

— Нет, все подряд.

— *А что вы писали в пять лет?*

— Стихи, естественно. Потом сразу начал романы.

— *Детективные?*

— Фантастические. Стремление к литературному творчеству у меня было всегда. Ну, а тот факт, что я работал слесарем, просто говорит о каких-то жизненных перипетиях. Я был режиссером-постановщиком фестиваля единоборств, был Дедом Морозом, был ведущим кулинарной передачи на телевидении — ни одно из этих занятий с театром не связано.

— *В принципе пишут все: кто-то с пяти лет, кто-то позже. Но с пьесами особенная история — чтобы так писать, ты должен так думать. Как это к вам пришло?*

— Через Вадима Леванова. Это мой учитель и культуртрегер. Он недавно умер, и это большая потеря для нас всех. Это человек, который привел меня в театр, который жил в Тольятти и всем людям с творческой искрой предлагал написать пьесу. Таким образом появилось довольно много драматургов: Юрий Клавдиев, мы с братом, Кира Малинина. Существует такое понятие как «тольяттинский феномен». В небольшом, на 700 000 жителей, городе появился один из крупнейших центров драматургии в России. Благодаря одному человеку, которому всего лишь хотелось общаться с себе подобными.

— *Одни театральные люди говорят, что тольяттинская школа и тольяттинский феномен существуют, а другие утверждают: «Да что вы! Нету никакой тольяттинской школы, это все придумали!» А что думаете вы?*

— Теперь уже конечно нет, потому что уже нет Вадима Леванова, потому что мы все со временем разъехались. Но у нас был театр, у нас был фестиваль, у нас выходил сборник.

— А школа была?

— К нам на фестиваль (международный фестиваль драматургии театра и современного искусства «Майские чтения». — *Е. М.*) приезжали театры со всей России и из-за границы. Я не знаю: была, не была. В каком-то банальном смысле слова ее, конечно, не было, потому что школа подразумевает некий диктат со стороны учителя, передающего свое творческое знание. Вот в этом смысле не было, потому что мы становились драматургами в условиях полной творческой свободы. Мы все писали кто как хотел, любил и мог. Но, например, каждый из учеников Николая Коляды переживает этап, когда все его пьесы очень похожи на пьесы Коляды, потому что он учит тому, что знает сам. Вадим в этом смысле был совершенно не такой, он был другим учителем. В том смысле, что ты смотришь на него и понимаешь, как правильно жить, каким человеком, а не драматургом, правильно быть.

— Но наверняка у этой школы были какие-то особенности, характерные только для Тольятти?

— Да, их можно выделить. Но я не аналитик театра, не критик, для меня это сложно, но в принципе родовые черты определяются средой. Тольятти — это индустриальный город, где делают автомобили ВАЗ, ему 50 лет. Когда я приехал туда в 1995 году, средний возраст жителей был 25 лет. Это был бандитский город, в котором вообще не было никакой культуры (я имею в виду культурного слоя: был старый город, стал новый). Город, построенный в степи. Конечно, это все сказывалось на том, что мы писали. Все пьесы того периода пропитаны какой-то городской мифологией, шаманизмом из-за стены хрущевского дома. Город-миф. Детройт.

— Который неоднократно у вас появлялся в пьесах. Расскажите о своих впечатлениях о нем. Освободились ли вы от него? Отпустил ли он вас?



***Михаил Дурненков** — драматург, сценарист. Родился в 1978 году в России. Работал сторожем, слесарем, режиссером, актером, инженером, тележурналистом, ведущим телепрограмм, сценаристом. Как драматург начал писать в соавторстве с братом Вячеславом Дурненковым, потом их союз распался. Автор более 15 пьес и киносценариев, среди которых «Хлам», «Самый легкий способ бросить курить» и др. Живет и работает в Москве. В Беларуси на сцене Центра белорусской драматургии была поставлена его пьеса «Хлам» (режиссер Александр Марченко).*

— Думаю, да. Но Тольятти с тех пор сильно изменился. В каком-то смысле он был прогрессивным, в нем была такая энергия мощная, молодая. Сейчас я приезжаю, а город постарел, там плохи дела на ВАЗе — как везде в России. Боюсь, что я уже не смог бы там жить. Там остался только мой старший брат, который пишет пьесы. И это тоже правильно: сильная драматургия возникает в тех местах, где жизнь сопротивляется чему-то. Среде, в частности, индустриальному гнету.

— Тольяттинская среда, какая она?

— Это одномерное пространство, город, поделенный на кварталы-квадраты, которые там назывались «штаты» (каждый устроен по законам отдельного мини-государства). Город с совершенно одинаковыми домами, где можно, как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», зайти не в свой квартал и прийти в такой же подъезд другого дома. И все это населено вазовскими рабочими. Одномерное пространство, которое ты пытаешься сделать трехмерным, из которого ты пытаешься вырваться, противостоишь которому. А вокруг красивейшие леса сосновые, невероятная самарская природа, заповедник, гигантская Волга… Вот это все какая-то своеобразная поэтика места.

— Если я не ошибаюсь, к Леванову вы пришли не как драматург, а как актер?

— Да. В то время я писал стихи, издавался в сборниках, читал свои стихи на литературных вечерах (где и познакомился с Юрой Клавдиевым, которого потом тоже привел в свой спектакль как актера). И вот это публичное чтение стихов как-то подвигло меня: а не попробовать ли мне свои силы в качестве актера? Я пришел в подвальчик на Голосова, 20, где сидел Вадим Леванов, и предложил свои услуги в качестве актера.

— Вошли актером, а вышли драматургом?

— А вышел всем. Потому что через какое-то время мы уже сами и писали, и ставили, и играли в своих спектаклях. Мы делали все, были монтировщиками, сценографами, режиссерами. Кроме гримеров разве что… Потому что зачем нужен гример в современной пьесе? Мы попробовали все. И это было довольно счастливое время моей жизни.

— Сначала вы писали в соавторстве с братом…

— Нам было легко это делать, когда мы жили в одном городе, смотрели одни фильмы, читали одни книги, передавая их друг другу. Потому что для соавторства очень важно быть на одной волне. Теперь мы разъехались, встречаемся раз в полгода. Это очень познавательный, очень бурный процесс, когда мы друг другу рассказываем о своих открытиях за это время. За полчаса разговора очень сильно вырастаешь. Но этого недостаточно, чтобы писать вместе. Мы уже слишком разные. А тогда мы могли чувствовать друг друга, находиться в одном поле и, не договариваясь о сюжете, писать кусочками. Сейчас так чувствовать уже невозможно.

— Сейчас каждый пишет отдельно?

— Да. Но это же хорошо: был один драматург — стало два.

— Что такое новая драма? Существует ли она? Уместно ли это определение?

— В новой драме нет стилевого единства, но есть ряд драматургов, объединенных желанием занять свое место в театре, в современном театральном процессе, желанием создавать свой театр, а не пристраиваться к старому, не трансформироваться под него. Это то общее, что объединят авторов новой драмы, а внутри там целая палитра разных оттенков: от абсурда и психоделии до гиперреализма.

— Какой, на ваш взгляд, должна быть современная пьеса?

— Вы как будто не слушали мой предыдущий ответ. Искренней должна быть. Мне кажется, это такая область в современном искусстве, где одним профессионализмом не обойдешься. И искренность, переданность ощущений драматургом, она является определяющей. Наверное, это запрос сегодняшнего дня: на какой-то гуманизм, на присутствие человека в произведении. Это то, что сейчас делает пьесу современной, талантливой. Присутствие автора и его собственных переживаний.

Когда я вижу хорошо сделанную пьесу, но сделанную с холодной головой, я понимаю, что она не пойдет нигде. Потому что сейчас мы находимся в каком-то таком информационном поле, где просто задача хорошо сделать пьесу никого не удовлетворяет: ни зрителя, ни режиссера. Если ты придешь посмотреть хорошо сделанное аудиовизуальное произведение, оно тебя не тронет, не удовлетворит, потому что там нет энергии, вот этого неповторимого фингер-принт.

— Лейтмотив ваших пьес — инертный человек, который разрушает сам себя…

— Это моя реакция на современность и на самого себя.

— Почему вам интересен этот герой?

— Я даже не знаю, подходит ли здесь термин «интересен». Мне хочется разобраться в чем-то. Но сейчас, я думаю, что-то меняется в мире, соответственно меняется мое отношение к нему и меняются мои герои — становятся более активными. Я не очень управляю этим процессом, это не полностью сознательный выбор — выбор этого героя…

— Т. е. «он сам пришел»?

— Я пытаюсь сделать активного драматического героя, который действует, преодолевает, выбирает. Но в процессе он сам может трансформироваться.

— Вы телесценарист, киносценарист, драматург. А кем вы сами считаете себя в первую очередь?

— Если говорить о том, чем больше всего занимаюсь, то я пишу сценарии. А если о том, что есть мое любимое занятие, — это театр. Мир театра мне ближе, потому что я в нем свободен: могу делать все что захочу, без оглядки.

— Свободный драматург Михаил Дурненков приходит в театр, где режиссер поставил его пьесу, садится, смотрит, и что он чувствует, глядя на происходящее?

— Он думает, что надо сделать такую партнерскую лабораторию, чтобы режиссер сразу понимал, о чем пьеса (улыбается. — *Е. М.*). Но бывает по-разному, бывает и радость.

— Но проблема неумения режиссера работать с современным текстом сегодня стоит достаточно остро.

— Когда мы все начинали, лет шесть назад, это была очень острая проблема, сейчас уже не в такой степени, потому что есть прослойка режиссеров, которые занимаются современными текстами. У меня нет амбиций: пусть те режиссеры с опытом, которые не ставили современные тексты, вдруг начнут их ставить. Я не уверен, что это хорошее решение, потому что по результату я вижу, что не надо им ставить современные тексты. Другое дело — те, кто был на этом воспитан. Если вы посмотрите афишу современных пьес в Москве — все их режиссеры прошли через творческую лабораторию в Ясной Поляне. И не только в Москве, эти режиссеры потом рассеялись по России — и это уже процесс.

— А зачем Михаил Дурненков приходит в театр как зритель?

— Я сейчас практически не хожу в театр как зритель. А вообще, за тем же, за чем и все остальные зрители — за катарсисом. Или за какой-то увлекательной работой мысли, за каким-то открытием.

— Далеко не все зрители за этим ходят.

— Хорошо, я про себя сказал.

— Есть зрители, которые выполняют какую-то культурную миссию. Вот он — культурный человек, он должен сходить в театр. Зайдешь в любой академический театр, а там чуть ли не весь партер таких.

— Это то, что Михаил Угаров называет «культурный жест»: надо раз в неделю сходить в театр. В перерыве зайти в буфет и хлопнуть коньяку. Это как в баню сходить. Это «я поддерживаю в себе состояние культурного человека».

Я за того зрителя, который пришел на спектакль одним, а ушел другим. И который приходит для того, чтобы измениться и уйти другим, с этой целью. Потому что театр — это волшебное орудие преображения сознания. Это чудо какое-то. Это возможность посмотреть на человечество сверху. Театр — это чудо.

— Преображение и искусство могут быть разными... А должно ли современное искусство, и театр в частности, быть гармоничным, созидательным?

— Деструктивное тоже несет в себе созидательную функцию. Не может не нести, оно по форме просто деструктивное. Если мы видим, как плохо, мы задумываемся: как сделать так, чтобы было хорошо? Это же созидательная функция в итоге. Рассказать, что все плохо, все зря, — нет такой задачи у искусства вообще.

— А насколько как для драматурга важна для вас документальность?

— Если вы имеете в виду положенный в основу факт или документ, то не важна. А если некий реализм существования, то важна. Мне кажется, реалистично выписанный персонаж в какой-то момент забирает функции управления у автора и начинает сам управлять сюжетом. Об этой странности рассказывают многие драматурги — когда персонаж в какой-то момент начинает сам вести действие.

Мои пьесы не очень реалистичны, они пропущены через какую-то призму моего восприятия, поэтому сказать, что они абсолютно реалистичны, нельзя: есть какая-то мера искривления, и кстати, эта мера искривления отличает одного автора от другого. Это как тумблер: чуть-чуть повернул — чуть-чуть изменилась какая-то реальность, еще повернул — еще изменилась. У кого-то очень сильный градус поворота, у кого-то нет. Но режиссеру как раз это и нужно — поймать эту тонкую настройку автора на реальность, насколько мир пьес отличается от реальности. Если драматург и режиссер не совпадают в своем видении, то спектакля часто не случается. А режиссер понимает, что текст должен быть способным передать эту настройку. Если он ее улавливает, то это очень хорошо.

Я одно время задавался вопросом «шкалы реальности». Образ этого тумблера от точки ноль до 100%, от реальности до художественной реальности, например, Ионеско. Как-то я расставил на этой шкале всех драматургов, которых знаю. Очень интересно получилось. Например, украинский драматург Максим Курочкин — живой классик, на мой взгляд. Человек, который войдет в учебники по истории театра, по драматургии (в том числе и мировой), но очень мало хороших спектаклей по его пьесам, у него очень тонкая эта настройка. Создается ощущение, что у него реализм в пьесах, но если ставить их в реалистической манере — они проваливаются. И поэтому должны существовать режиссеры, которые чувствуют этот тумблер и эту настройку на реальность.

— А по вашим пьесам много хороших спектаклей?

— Давайте следующий вопрос.

— Как бы вы коротко презентовали свои пьесы для белорусского читателя?

— Не могу презентовать. Да и задача ли это драматурга? Или это задача театра? Мы же пишем пьесы не для чтения. Первые пьесы, когда мы наверняка знали, что нас не поставят, мы скорее писали для чтения (и литературно, в том числе, развлекались). А сейчас тексты сложны для чтения, но удачны для сцены. Пусть театр делает то, о чем вы просите.

Беседовала Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ.
Фото Александра МАРЧЕНКО.



Русу косу расплятаци

Имя Павла Михайловича Шпилевского — писателя, этнографа, фольклориста — сегодня широко известно в Беларуси. Однако из немалого перечня его работ издано только «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» (Предисловие, текстологическая подготовка и комментарии А. Кузняевой — Мн.: Беларусь, 2004 г.). Ввести в культурный обиход другие работы, прокомментировать их — такую задачу поставил перед собой Александр Ващенко. Дело, конечно, не в трудностях перевода, а в том, что статьи, рассказы, колдовские сказки, очерки жизни белорусов оказались разбросаны по разным журналам, публиковались в разное время и под разными псевдонимами и криптонимами. Проследил А. Ващенко и биографию Шпилевского (от рождения в 1823 году в деревне Шипиловичи Бобруйского уезда до смерти в 1861-м на 38-м году жизни), подробно рассказал о его не столь уж простом творческом пути в Петербургский период. (Книга «Беларусь у абрадах і казках» вышла в издательстве «Литература и Искусство» в 2010 г.)

Наследие писателя довольно разнообразно. «Словарь белорусского наречия», «Западнорусские очерки», «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» и т. д. — далеко не полный перечень его работ. Но в книге, которую представляет читателям А. Ващенко, основное место отдано «Беларуси в характеристических описаниях и фантастических поверьях».

«Белорусец не может жить без песен, легенд и всяческих колдовских тайн», — пишет Шпилевский.

Даже в моем *(О. Ж.)* — пусть далеком, но обозримом — детстве было немало суеверий, верований в различные чудеса. Есть они и сейчас. Что же тогда говорить о временах, о которых писал Павел Шпилевский, — середина XIX века! «…Ни одна полоса огромной России не может похвалиться таким богатством народных чар, заговоров, суеверий, какими славится Беларусь, — писал он. — Этот уголок нашей родины по справедливости можно назвать столицею древней славяно-русской мифологии».

Можно, конечно, найти массу рациональных объяснений тому, что в Беларуси столь были распространены суеверия разного толка, все эти ведьмы, русалки, домовые, лешие, водяные и проч. и проч., но можно и предположить, что все они так или иначе украшали, обогащали повседневность простых людей.

Некоторым поверьям можно и позавидовать. К примеру, с помощью колдуньи было нетрудно приворожить парня, стоило лишь только косточкой летучей мыши уколоть его в область сердца. Или, например, чтобы остановить бесконечный дождь в летнюю пору, нужно было объехать на деревянной лопате три раза вокруг дома. А чем не хорош способ добывания денег с помощью, опять же, летучей мыши? Стоило лишь поймать, посадить в ящик с дырками, и через тринадцать дней вместо мыши в ящике окажется горка денег. А вот факт, который вполне может заинтересовать женоненавистников: в Беларуси было значительно больше ведьм, нежели «ведьмаков».

Но, наверно, никакой другой обряд не развивался столь тщательно, с любовью и вдохновением, как свадебный. Никакой иной не вовлекал в свое действо столько людей. Ни на каком ином не пелось столько песен, не проливалось столько слез. Песни и пляски — понятно: молодость, но, спрашивается, почему — слезы? А потому, что, во-первых, жизнь впереди сложна и трудна, и многие уже знают это, во-вто-

рых, есть, как известно, слезы радости, в-третьих, свадьба — великое действо, оно развивается по всем самым важным законам драматургии, и все в этом действе должно иметь место: и смех, и песни, и слезы. Ну и кроме того, девушка, плачущая на своей свадьбе, то есть, скорее всего, от счастья, — это красиво. Мать, плачущая на свадьбе дочери или сына, — трогательно. И хочется гостям всех утешать, успокаивать, убеждать, что все будет хорошо…

Да цяпер той дзень настав,
Што да мене милый пристав,
Русу косу расплятаци,
Слёзки мае разливаци.

Итак — о драматургии, точнее, о свадебном сюжете. Сперва — малые и большие «запоины». Конечно, запоины — это сватовство. Здесь еще все так неопределенно и необязательно. Даже если невеста принесет рюмку водки и с поклоном подаст свату, что означает сосгласие. Еще все может быть, хотя чаще всего жених и невеста давно сговорились... Вот «большие запоины» — иное дело. Теперь отступление невозможно. А случится — две семьи станут врагами на всю жизнь.

Надо заметить, что «гарэлачка» в свадебных обрядах занимает немалое место. Пьют на запоинах, на «заручинах», то есть, на сговоре, на выкупе невесты и, конечно, на самой свадьбе. Заметим, однако, что питие это именно обрядовое, пьют часто, но мало, стараются сделать это красиво. К примеру, на запоинах сват пьет за здоровье нареченной, невеста за здоровье отца, отец за здоровье своей жены, жена за здоровье свояков, свояки за здоровье подружек невесты, что якобы случайно присутствуют в хате...

Сягодня заручники
Бог нам дав,
Працив нядзельки
Бог нам дав,
Ишли дары на три сталы,
Таму-сяму па падарачку...

Дальше все пойдет по сценарию, разработанному веками: сговор, прием жениха, выкуп и одевание невесты, свадебные поезда и, наконец, свадьба...

Ой, ци ж я табе, матулесечка,
Не выгодна, — кривдунесечка,
Што ты мяне аддаеш чужому?
Я цябе аддаю не чужому,
А такому ж радному…

Разработано все, вплоть до того, как нести венчальные свечи. И следят за такими мелочами знатоки очень ревностно, поскольку, оказывается, дело важное: кто поднимет свечу выше другого, тот и будет командовать в будущей семье.

Читая эту книгу, постоянно сравниваешь обряды вчерашние и сегодняшние. К примеру, какую бы вы предпочли свадьбу: печеную или вареную?

Ответ прост: как говорится, по силе-возможности. Оказывается, если жених из богатой семьи, свадьба будет печеная, из бедной — вареная. Печеная свадьба — будут на столах блюда мясные, колбасы, копчености, сушеные яблоки, орехи, мед. Вареная — скромнее, мяса — самую малость. То же и музыканты на свадьбе: на печеной — несколько музыкантов, можно сказать, оркестр, на вареной — один-два. Однако все это не означает, что на печеной свадьбе веселее, нежели на вареной. Не от колбасы зависит сие душевное состояние.

Обстоятельно рассказывает Шпилевский о крестьянских обрядах при уборке хлеба с полей. Это и *покрывание поля*, когда еще до восхода солнца молодица в присутствии других девчат сжинает снопок и, обвязав рушником, подбрасывает его вверх:

Пакрыла нивку
На добрую спаживку;
Парадзи, Божа,
Наша збожжа!

И *зажинки* на заходе солнца:

Месяц, месячку!
Свяци ж нам дарожачку;
Што б мы не зблудзили,
Снапочка не згубили.
Бо снапок наш красны,
Як месячик ясны.

И, наконец, — *дожинки*. Не было более важной работы, чем жатва. Никакая иная работа не требовала столько сил, но и не сопровождалась таким количеством песен.

Однако не только из работы состоит жизнь. Есть время и для развлечений, *игрищами* называет их Шпилевский. Игрища — это не что иное, как крестьянские дискотеки середины XIX века. Время их — осень, зима. Обыкновенно молодые люди находили просторную избу, в которой хозяева согласны были принять их, возможно, что-то и платили им за беспокойство. А вот музыкантам каждый парень (девчата освобождались от такого налога) платил две-три копейки. Если в деревне имелась корчма, проблема упрощалась: хозяин корчмы рад был принять молодежь, зная, что игрище принесет ему немалый доход: обязательно кто-то покупал и медовухи, и крепкой водки, а порой и напивался так, что готов был заложить и коня, и корову.

Обычно на игрище собирались свои, молодые крестьяне, «мужики». Если же вдруг являлся пан или подпанок в богатой одежде, это могло вызвать немалое волнение. Более того, Шпилевский замечает, что если пришлый человек желал доверительно общаться с людьми, он должен был знать их — белорусский — язык. Именно знание языка помогало автору собирать свою книгу.

Немало внимания уделил Шпилевский и печальным обрядам и верованиям белорусов. Впечатляет рассказ о том, что умирающего снимали с постели и укладывали на покрытый соломой пол, даже в лютые морозы. И не пытайтесь объяснить умирающему и его родным вредоносность такой традиции, усугубляющей состояние больного. «Так умирал мой отец и так завещал умереть мне», — будет ответ. Открывались настежь окна и двери — чтобы душе легче было покинуть бренное тело. А однажды Павел Шпилевский оказался свидетелем прощания старика со своим большим семейством. «Скоро меня не станет, — говорил он. — Живите в согласии, не делитесь на малые семейки, будьте всегда вместе, как этот снопок соломы, которым я благословляю вас».

Есть хотя и печальные, но смешные на сегодняшний день поверья. К примеру, нельзя сбивать гроб в той хате, в которой имеется черный петух или сивая корова. Опять же, в гроб ставят бутылку водки, блины или кашу. Кладут и немного денежек, наверно, на случай, если покойник в ближайшее воскресенье попадет на тамошний базар.

Нынче, как всем известно, покойника навещают на другой день после похорон, этот обряд называется *побудка*, родные идут на кладбище *будить* родного человека. Во времена, описываемые Шпилевским, покойного навещали только на седьмой день. Тут-то и можно было услышать голошение по покойному.

«А мой же ты миленьки, пташачка родненькая! Чи ж я табе не спадручна была, не умела цябе гутариць? Мы с тобой жили, как рыбка с вадою! Прабач мяне дурную: можа, я цябе не сцерегла? Можа, я табе паприкрылася? Можа, ты не залюбыв сваей печкилавки? А вей... А вей!..» (Привожу в сокращении. — *О. Ж.*)

В исследовании о вовколаках Шпилевский прежде всего приводит написание этого слова в различных славянских языках. «wilkolek, wilkolak» на польском, wilkodlak, wlkodlak — на чешском, влколек, врколак и влколиjек — на сербском (а также написание на хорватском, далматском, немецком и других языках). Приводит и корнеслов этого понятия.

Сюжетные истории, связанные с вовколаками, подчас сложные, драматургически неожиданные, чаще всего с печальным концом: вовколак снова превращается в человека, но не находит счастья. Можно вывести мораль: однажды потеряв человеческое лицо, нельзя снова стать человеком.

«Не успеет белорусец родиться, — пишет Шпилевский, — как со всех сторон его окружают шептухи, лекарки, знахари и т. д. Больше того, еще до рождения, в лоне матери, его как бы подготавливают услышать или увидеть какой-то чудесный мир, некий хаос колдовства, заговоров, шептаний…»

Роженице не дают покоя: ее обкуривают, бормочут какие-то невнятные загадочные слова, шепчут, а то и укутывают в черную баранью шубу, кла-

дут на порог хаты и заставляют мужа перешагнуть через нее, расчиняют тесто и усаживают роженицу на дежу, переносят к печи и кладут на пол туда, где лежат кочерги, веники, заслонки… Много интересного сообщает Шпилевский и об обрядах, сопровождающих рождение ребенка. После купания в теплой воде, настоенной на руте и ясельнике, его укутывают в ту одежду, в которой была мать во время родов, надевают на шейку и ножки красные пояски.

Пашов каток у лясок, нашов каток паясок.
А котачка адняла и дзицяци аддала.
Пашов каток на таржок,
знашов каток пиражок;
Чи самому есьци, чи дзицяци несьци?
И сам трошки ўкусив, и дзицяци принасив.

Приводит П. Шпилевский ряд поговорок, присказок, характерных для народной среды. «Вырвався, як шляхціц з Канапель», «ногі дзярець, а боты на кійку нясець», «схавай грашульку на зязюльку», «вала зъядуць, зайца забъюць»… Каждая поговорка приводится с разъяснением смысла и происхождения, поскольку тогдашний петербургский житель далеко не все мог понять в жизни белорусов, тем более в специфическом народном юморе.

Немало места занимают описания белорусского кирмаша (базара), колядные вечерки и т. д.

«Мне вспомнились чудесные дни, наполненные невыразимым весельем, понятным лишь тем, кто сам испытал это… — писал Павел Шпилевский. — Я торопился на каникулы в далекий уезд… прислушивался к звукам гармоничного, певучего родного языка, записывал слова и рассказы из уст крестьян — доморощенных баянов и знахарей, забирался в белорусские хаты и клети, находил удовольствие в разговорах за скромной деревенской трапезой с седыми стариками и морщинистыми старухами… Что влекло меня к ним, в хаты бедных людей? Не знаю… Я любил этих добрых людей, я находил наслаждение в их медленном, ленивом говоре, в их песнях, присказках и поговорках…»

Думается, надо было нежно любить свою родину, верить в ее будущее, чтобы посвятить жизнь столь кропотливой, постоянной, не слишком благодарной работе.

Александр Ващенко правильно заметил, что книга эта — «Беларусь у абрадах і казках» — возвращение писателя на родную землю, к родному языку.

Олег ЖДАН



«Целый мир, судьбой подаренный...»

Имя Елизаветы Полеес хорошо известно в литературных кругах не только в нашей стране, но и за рубежом: она печаталась в России, Украине, Казахстане. Ее перу принадлежат нескольких поэтических сборников: «Легких кружев волшебная стая», «Я земная и грешная», «Быль». В прошлом году в минском издательстве «Ковчег» вышел еще один сборник ее стихов — «Не приучай меня к себе...».

«Стихи Елизаветы Полеес прежде всего эмоциональны, — а это основополагающее качество настоящей поэзии. Вся панорама любовных чувств, все тайны женской души перед нами обнажены целомудренно и бесстрашно (как в гениальной поэзии Ахматовой). Порою чувства достигают подлинных высот самой чистой поэзии», — так охарактеризовал ее творчество поэт Вениамин Блаженный.

Сборник «Не приучай меня к себе» состоит из четырех разделов: «Так далека еще печаль», «Две вечности назад», «Зачем две грусти мне?», «Забытый облик», которые сами по себе дают представление о содержании книги. Любовь, нежность, верность — это те чувства, которые украшают нашу жизнь, делают ее наполненной счастьем и смыслом. Действительно, почти все стихи, вошедшие в сборник, о любви: «Зачем нам разум, // Когда есть чувства? // Любовь ведь — радость, // Игра, искусство». Волшебный клубок любви постепенно разматывается перед нами, каждая новая страница искрится все более яркими красками и радугой эпитетов, способных передать весь спектр чувств любящей, чистой души, обладающей тонким художественным восприятием мира: «Не полночью — счастьем // зажжен небосвод, // и звезды в бесстрастном // течении вод // волнуют, колышут // реки колыбель. // И нежностью дышат // левкои и хмель. // Покоя не зная, // под тяжестью грез, // от страсти вздыхая, // целует до слез // беспечную речку // хмельная луна. // На глади колечком // свернувшись, она // качается зыбко».

Мир Елизаветы Полеес юн, романтичен, прекрасен. Благодаря влюбленности не только в мужчину, но и постоянной любви к самой жизни, все ее чувства обострены, все вокруг поет, как звонкий переливчатый ручей, наполненный чистой, прозрачной водой: «Выйду на луг, медуницей пропахший, // В поле, где кружатся в танце ромашки // Под ослепительной синью бездонной, // Жаркое солнце поймаю в ладони, // В травы густые уйду с головою, // Чистой умоюсь водой ключевою — // Пусть обожгут шелк травы и роса, // Пусть в родниках растворится слеза!»

Лирическая героиня в стихах Е. Полеес любит, страдает, но наперекор всем неудачам с легким сердцем встречает новый день, новое сердечное увлечение и связанные с ним надежды на счастье. Это удваивает ее силы, она счастлива и наслаждается своей возвышенной любовью:

Но это так ярко! Но это так сильно,
Когда за спиной поднимаются крылья!
Но это так нежно. Но это так тайно.
Как вместе могли оказаться случайно?

Стихи наполнены радостью жизни, энергией творчества, совершенством и постижением красоты человеческих отношений: «Ты звук, отголосок, ты эхо в ночи... // Ответь, отзовись, повтори, не молчи. // И я попытаюсь прочесть между строк, // Зачем, на какой ты назначен мне срок. // Чтоб лед растопить? // Чтобы сердце разжечь? // Чтоб горечь забыть? // Чтобы нежность сберечь? // Иль только чтоб песня из тьмы родилась, // Свою предъявляя всесильную власть?..»

Переживания поэтессы выливаются порой в особую форму стихосложения, очень похожую на причитания, коим образом изливали свою скорбь и горечь женщины прошлых веков, что известно нам по фольклору разных народов мира:

Разлетелось, раскололось наше счастье —
Не на три, на две коротких части.

Разлетелось, раскололось безответно.
Разнесли осколки счастья злые ветры
И по белому по свету разметали.
А казались — сплава крепче, тверже стали.
Выжгло сердце, выжгло душу, выжгло солнцем
До последней горькой капельки, до донца.
Ни слезинки,
ни дождинки над пустыней —
Только пепел да зола, да сумрак синий.

Или еще строки:

Опустили крылья ласточки,
Закатилось солнце красное...
Не кори меня, мой ласковый,
Что пойдем путями разными.

Были вместе, были около
Целый миг, судьбой подаренный.
А теперь — голубкой с соколом —
Полетим морями дальними.

Вот этот «целый миг, судьбой подаренный», и есть настоящее счастье, полнота его зависит от нас самих. Плохо, когда человек просто не заметил его, прошел мимо. И такому человеку только и остается сказать:

Не воротишь прошлое —
Как ни плачь.
Рубит время в крошево
Жизнь-палач.

Любовь так прекрасна, что даже начало осени не причина для стужи души: «Время счастья запоздалого: // По бездонным по ночам // Под звездою одичалою // Улыбаться, не кричать. // Время позднего свершения // Всех несбывшихся начал — // У нежаркого, осеннего, // У костра найти причал». Женская мудрость и жизненный опыт помогают сберечь то чувство, которое охватывает неожиданно и всеобъемлюще: «Пусть осень тронула виски // Серебряною краской, // Во мне живут еще ростки // Забытой женской сказки»; «Говори мне о любви, сказки сказывай. // Только рук моих, прошу, не развязывай. // Не взошло оно еще, красно солнышко. // И не выжжена огнем я до донышка. // В наползающий туман, в утро шумное // От тебя не убегу, полоумная. // Прямо в темное окно тайно брошу я // Полустертую печаль в кольцах прошлого. // И пускай с зарею все переменится, // Я хочу твоею быть верной пленницей. // А что краток путь любви — лгут пророчества, // Ведь не выпито еще сердце дочиста».

Елизавета Полеес затрагивает и традиционную тему в творчестве многих авторов — тему поэта и поэзии: «Однако страсти две я знаю в мире этом: // Одна — с тобою быть, другая — быть поэтом. // Какая победит? Они друг с другом в споре». О важности рождения стихов в своей жизни, об этой великой тайне для самой поэтессы находим слова: «Я верую, я знаю, я дышу, // Когда слова в простой узор вяжу». Или: «Я заблудилась в чаще слов, // Как в зарослях густого сада», — пишет она, определяя этими строками значимость слова и его материальность в нашем мире. Это ощущение слов как живого сада, который всегда наполнен ароматами цветов, шумом листвы, поспевающими плодами.

Подводя итоги написанному, следует отметить, что стихи, вошедшие в сборник «Не приучай меня к себе...», можно считать своеобразным руководством в мире любви, так как они учат женщину любить, учат быть разной: нежной и сильной, мягкой и гордой, пленительной и всегда прекрасной.

Когда о любви будет все уже сказано,
Жар сердца погаснет, надежда умолкнет...
Я выпорхну в поле,
чтоб петь и бродяжничать, —
И ветер весенний расчешет мне волосы,
И стану я горсточкой пуха лебяжьего,
И стану мелодии трепетным голосом.

Будет продолжаться жизнь, жизнь, наполненная любовью, ведь у Елизаветы Полеес необыкновенная душа, способная рождать удивительные стихи, которые привлекают к себе все новых и новых почитателей ее таланта.

Надежда СЕНАТОРОВА

ЮРИЙ САПОЖКОВ

Возвращение поэта

Много лет назад, по-моему, это был 2002 год, сидя в Национальной библиотеке, я увидел у своего соседа по столу книжку со странным названием *«апошнія вершы леаніда галубовіча»*. К тому времени я не был знаком с Леонидом Михайловичем, но с его стихами достаточно полно. Уже его первая книжка, «Таемнасць агню», помнится, произвела впечатление. Но эту видел впервые. Почему, думалось, он назвал книжку так фатально? Да еще с маленькой буквы? Постмодерн изнутри и извне? Самолюбование своим талантом? Стремление к супероригинальности? Вряд ли. Леонид Михайлович, два года покрутившийся в Москве, на Высших литературных курсах при Литинституте имени М. Горького, вряд ли успел отвыкнуть от скромности. Ведь на котурнах славы уже далеко ушли Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, а в Беларуси — Михась Стрельцов, Рыгор Бородулин, Генадь Буравкин, позднее Анатоль Сыс. Так что — не хотел тягаться с ними, известными? Честно предупредил: «апошнія»? А может, все проще? Не сумел найти емкое, стреляющее название книги? Из разных предположений трудно выбрать какое-либо одно. Стихи и судьба Голубовича разубеждали как в том, что он слишком выпячивает грудь и на своих собратьев смотрит сверху вниз, так и в беспомощности вынести на обложку издания яркую метафору, олицетворяющую содержание книги.

В следующий мой приход в библиотеку «апошнія вершы» заказал сам. И не мог оторваться. Великолепные языковые находки и образы не переставали удивлять. Глубина, философичность стихов заставляли задумываться над проблемами и собственной личности, и социума, в который она погружена, и времени, отпущенного человеку. Вот одно из таких.

* * *

Андрэю Федарэнку

Славяне мілыя, усе мы — аднакроўкі.
З уласнай крапінкай, як божыя кароўкі,
Паўзём па доле аднаго ліста,
Нібы па далані свайго Хрыста…

І вось, да краю дапаўзлі, здаецца,
Гасподняй літасці…
Што ж застаецца —
Раскрыліць дух, уціхамірыць плоць?
А ўжо — сціскае даланю Гасподзь…

Можно ли при таких стихах уходить из поэзии? Разве это не творческое самоубийство? В истории литературы такие примеры есть. Последние три года своей жизни не писал Блок. Фраза, которой он объяснил это, непонятна. «Я слишком хорошо это делаю». Суеверный русский поэт Лев Котиков расшифровывает ее так: «Это не бравада, не антигордыня, а здравая попытка отвести невыносимый морок демонов и бесов. Эту же цель выполняло и сознательное мрачное пьянство Блока, дабы через хмельное забытье, через белую горячку обратить демонов и бесов тьмы в заурядных зеленых чертиков, способных лишь на козни и мелкие каверзы» (из книги «Демоны и бесы Николая Рубцова»).

Прежде чем привести другие примеры, хочется напомнить тем, кто забыл:

к 2002 году Леонид Голубович уже совершил два подвига в своей жизни и никак не мог уподобиться Блоку. К этому времени он уже отсидел положенный срок в ЛТП как неисправимый пьяница, после чего бросил пить и все последующие годы ни разу не нарушил самозапрета. Одновременно он бросил курить и также ни разу с тех пор не изменил своему поступку. Из сотен тысяч можно пересчитать по пальцам подобных людей. Почему, почему Голубович и с литературой решил поступить, как с алкоголем и курением? Артюр Рембо, например, оставил поэзию, чтобы разбогатеть. На целых восемнадцать лет гениальный стихотворец ударился в торговлю, скитания по южным странам. И не испытывал при этом ни малейшего раскаяния. Самоубийственный акт и привел его к гибели. Леонид Голубович и не помыслил заняться бизнесом, как в те расхристанные годы, в конце прошлого века, решился на индивидуальное предпринимательство, чтобы прожить, автор этих строк. Нет, Леонид Михайлович, живя на копейки, с головой и некой злостью (к себе?) ушел в журналистику, в литературную критику. Причем оставаясь в столичном городе. Не сбежал в родное село Воронино, к матери. А вот, скажем, Сэлинджер бросил писать на пике своей литературной славы и на протяжении 20 лет вел жизнь отшельника в глухой провинции. На грани того, чтобы отвернуться от литературы, примерно в те же годы стоял Андрей Федаренко: «Аднак нешта зламалася ва мне. Па інэрцыі я яшчэ дацягваў пачатае старое, але ўжо неахвотна, без энтузіазму. Літаратура раптам згубіла ранейшыя фарбы і гукі. Я не бачыў стымулу пісаць далей. Не ведаў, пра што і навошта». К прозаику в себе, как он пишет дальше в своей откровенной до телесной и духовной обнаженности «Мяжы», «з'яўляюцца апатыя і агіда». Но в пропасть этого мутного, бесцельного существования писатель не упал. Случилось то, что он сам назвал везением. В своей деревне, где проводил летние каникулы, как-то на глаза попалась заметка в районной газете об угоняемых городскими подростками уставших за день колхозных лошадях. Так вернулась в хлев его вдохновения лошадка, с которой почти расстался. Родился рассказ «Труцень», он-то и снял путы, второе литературное пришествие состоялось.

Раздумывая о природе возникающего у иных мастеров пера отчуждения от призвания и еще недавно любимой работы, сколько я ни перебирал вариантов ударов судьбы, не находил (кроме своего, о котором позже) ничего достойного ясности. Вот как помогал мне в этом русский поэт Михаил Яснов, в одном из своих стихотворений перечисливший мотивы, из-за которых поэты бросают писать. Его герою либо «не хватает таланта или работоспособности», либо он «понял нелепость этих защитных стен», либо «сдуру схватился за халтуру». Упомянул и другие причины: влюбился; избавился от геморроя и принялся за физическую работу, по которой стосковался; ощутил подкравшуюся старость; не мог совладать с языком; «судьба скосила близких друзей». На этом, кажется, все. Но он забыл еще одну, самую, пожалуй, главную: неисправимую вину перед другим человеком. Так произошло со мной. От презрения, ненависти к себе я бросил писать стихи. Молчание длилось десять лет. Но, как у Федаренко, случилось чудо. В Израиле, в Храме Гроба Господня, стоя перед ликом Христа, я истово просил снять с души моей камень. И вдруг послышался голос, до неправдоподобия отчетливый, осязаемый не в ушах, а в сердце. И внушил истину, до которой сам бы никогда не дошел:

Тот, пред кем ты виновен,
Он и снимет твой гнет,
Если собственный камень
Мне, как ты, принесет.

Может быть, когда-нибудь Леонид Голубович расскажет нам свою историю временного отречения от поэзии. А может, уже рассказал: «...так я сыходзіў ад вершаў, // быццам ад першай дзяўчыны, — // самай прыгожай і лепшай //— без абвяшчэння прычыны». В книге «З гэтага свету» много таких или похожих признаний драмы.

Тихон Чернякевич, написавший в предисловии к «вершам пасля вершаў» (уточнение смысла книги): «Паэт змаўкае толькі праз адчай. Паэт пачынае гаварыць толькі праз адчай», слишком категоричен. Божья милость нисходит на нас как прощение за старание жить чисто.

Заканчивая рассуждения на тему, предшествующую разговору о неожиданном появлении на небосклоне белорусской поэзии крупной, выделяющейся среди всех звезды, процитирую, что сказал о людях, решивших уйти из литературы, Бруно Ясенский: «Талант нужен, чтобы писать, но не меньший талант нужен, чтобы не писать. И если есть талант писать, считайте, что есть у вас и талант не писать». Разве не доказал это Леонид Голубович?

Сказать, что стихи этой книги не написаны, не осуществлены в слове, а выдохнуты из какой-то воздушной, неосязаемой материи, найденной поэтом в себе, в солнечном выдохе или в звездном тумане, — это ничего не сказать. То, что сие нематериальное обнаружило себя в слове, или оно не живет вне слова, приближает меня к осознанию равенства слова и Бога. Но Голубович пришел к этому восемнадцать лет назад: «А памяць пра жыццё якая змесціць мова?! // О Слова, ты — Гасподзь. // А ты, Гасподзь, — ні слова...» («Заложнік цемры»). А теперь? Сейчас слово для него то, чем владеет, что чувствует, в чем живет душа. Но этого мало. Незримое присутствие в Слове Бога вострит чуткость каждой клеточки поэта для физического опознания Его. Но ничего не происходит: «Гасподзь, — ні слова...». И теперь ни слова. Он невидим, но существует, но повелевает, и наши дух и плоть в его власти. Это не может не страшить. «Яго паўсюднасць страшыць нас, // таму, здымаючы пакровы // з грахоў сваіх у Судны час, // мы просім мацярынскай мовы, // каб расказаць Яму сябе, // якімі ёсць з Яго жадання // на гэтай праведнай сяўбе — // ад росквіту да завядання...» («Бог не жыве на Беларусі...»). Но материнская мова — это ОН САМ. Круг таким образом замкнулся. Поэт не скрывает отчаяния.

* * *

Мне страшна, я не разумею
ні Божых дзей, ані дарог, —
бо як пад сонцам ні мадзею,
не дапамог ні ў чым мне Бог.

Хоць скаргі шлю яму здалёку
й штодзённа дзячу за жыццё,
я не магу даймецца клёку,
каб зразумець Яго *быццё*...

Бывае, й вера пакідае
і ў Божы свет, і ў свет людскі,—
ды ў падсвядомасці ўзнікае
свяшчэнны жэст Яго рукі...

Бо хто ж яшчэ з нябёс вячыстых
забраць гатовы ў нас без слоў
той *дух*, што даў калісьці чыстым,
каб нас *зямлёй* пакінуць зноў?..

І чым я больш прад Богам млею
і ледзь жыву, бы ява ў сне,
тым больш і больш я разумею,
што — разумее Бог мяне.
(«Божы страх»)

Но ведь по логике разуметь и означает быть, понимать и означает прощать. Мучиться из-за неверия в Бога и в его творение — «свет людскі», и тут же ужасаться этого неверия, ежедневно благодарить Господа, что дал жизнь; беспомощно пытаться представить себе Его бытие умом поверхностным и вдруг явственно увидеть в недрах сознания «свяшчэнны жэст Яго рукі». Все эти противоречия сцеплены так прочно, так неразделимо в одно целое, в единство, что и составляют, как ни парадоксально, полнокровную жизнь стихотворения. Подобным образом, сближением разного, невозможного сойтись, и обретением благодаря этому дыхания живого существа, поселились в книге очень многие стихи. Только что разумение двух — Великого и неунизительно ничтожного (а как еще рядом с Богом назвать человека?) — было передано единственно возможными для этого словами. И все-таки ужасно окрестил я человека. Забыл, что есть, есть-таки в книге другое, совершенно противоположное по смыслу стихотворение, только что изо всех сил крикнувшее: «брод найден!». Этот брод означает возвышение человека до божественных небес.

* * *

Усе мае лепшыя вершы
са мною павінны памерці,
калі ж я сканаю першы,
то вы ім паверце
і без маёй прысутнасці,
проста на слова,
бо, калі браць па сутнасці,
я — іх палова.
Не тая, што водзіць пяром
і строфы складае,
а тая, што ў неба пралом
пагляды кідае
і ловіць маланкі клінок
натомленым духам,
зямны завяршыўшы віток
немачнай скрухай.
Калі ж пакарае Гасподзь —
і жыць буду доўга,
чытач, не саромся, прыходзь
за паэтычным доўгам.
Ці хоць бы зірнуць на таго,
хто зоркі вымольваў з неба
не толькі для аднаго
духоўнага хлеба,
хто ў цень ступаў Сатаны,
душы сваёй не прадаўшы,
таго, што Бог затаіў,
так і не разгадаўшы...

Человек-то, оказывается, велик! До того огромен и таинственен, что даже Бог не может разгадать его. Затмение уставшего человека. Болезненное головокружение. Пропасть, в которую обратился брод. Человек возвышается — умом, сердцем, волей, честью, любовью к ближнему — только с помощью Бога. С возрастом понимаешь это всем своим существом и серым веществом. Интуицией, материализовавшейся в уверенность. Понимаешь это и всматриваясь «З гэтага свету» в тот. Почти вся эта книга — обращение к Богу, просьба к Распорядителю Вселенной *позволить* разгадать Его.

И раньше поэт, зажмурившись от страха, стремился к этому. «Няхай апошнім грэшным гнюсам, // Няхай для пекла і пакут — // І ўсё ж прад Ім Самім з’яўлюся, // І скажа Ён, хто быў я тут?!» («Заложнік цемры», 1994). Выходит, Он не смог, не открыл тайную тайных души человеческой: «таго (ну ведь ясно, что автора стихотворения), што Бог затаіў, так і не разгадаўшы». Безумно смело (можно отбросить слово «смело») приходить к этому выводу. Что мы во Вселенной, если она собрана Им (прости, Господи, за «если», оно ведь направляет меня к однодумцу и односердечнику Голубовичу)? Крохотные биочипы в суперсистеме Жизни. И Управляющий сей системой не может проникнуть в пылинку чипа?

Казалось, подобными вопросами мучился Леонид Михайлович всю жизнь, и напрямую шел к ясности, и ходил вокруг да около, приближаясь к ней как бы со стороны. «Гасподзь справядлівы нават у тых выпадках, калі, на наш зямны погляд, абыходзіцца з намі несправядліва. Да прыкладу, ён змоладу забраў здароўе ў Максіма Багдановіча, але ж прытым не забыўся надзяліць яго бессмяротным талентам...Чаму так? Не чалавечае гэта разуменне... Не людскае... але боскае». Или: «Усе — людзі, а ўсё — Бог». А вот эта — почти комментарий к стихотворению: «Чалавечая святасць — міт. Богу гэта *ведама* ад самага пачатку. Ды і самі мы ўяўляем пра сябе Бог *ведае* што...» (Все цитаты взяты из «Зацемак з левай кішэні», опубликованных Голубовичем 14 лет назад.)

В этой же, дай Бог, не последней книге, не так все определенно, как в прежних. Здесь Леонид Михайлович как бы стоит на раздорожье: куда пойти. Перед ним путь к Богу, создавшему все живое на Земле, или — к поиску биовозможностей последней, случившихся **без** божественного чуда. Иначе как понимать такие строфы:

Хацеў не ісціну знайсці,
а завязь сутнасці жывога,
з якой магчыма ў свет прыйсці
і дасягнуць вянца зямнога.

Но разве найти завязь сущности живого не означает найти истину? Ну ладно, не в этом суть. Она в том, что

Ды зразумеў, што чалавек
вышэй сябе паўстаць не можа,
бы глянуць з-пад чужых павек
на ўсё, што нішчыў тут і множыў...

Не здольны выявіць пакуль
мяжу, дзе дух стае над плоццю, —
таму й сыходзіць ён адсюль
як і належыць ягамосцю...

І гэты самы чалавек,
што сам спазнаць сябе не можа,

спазнаць жадае цэлы свет,
які яму стварыў Ты, Божа?!
(«Нічога я не запісаў...»)

Вопросительный и восклицательный знаки, поставленные вместе, что как не признак раздорожья автора? Я выбираю восклицательный! Хочется порассуждать и над строкой «Ды зразумеў, што чалавек // вышэй сябе паўстаць не можа» ...А зачем ему это нужно — встать выше себя (по-русски в таком контексте хоть есть слово поскромнее — прыгнуть), выше своей высоты? Вспомним поэта, «што ў неба пралом // пагляды кідае // і ловіць маланкі клінок // натомленым духам...» Сила, мощь, красота происходящего радостно удивляют. Или: «Прадчуваю: з сусветных высяў, // працінаючы неба сінь, // Сам Гасподзь мне насустрач выйшаў, // каб паўстаць Адзін на адзін. // Я з сустрэчы той не вярнуся // ані мёртвым, ані жывым, // а ўсёй сутнасцю застануся // ў вышняй Вечнасці разам з Ім». Читаю такое, и выпрямляется позвоночник, исполняешься гордостью за человека. Ну как ему еще вставать выше себя?

Оказывается, можно! В этом случае человек ощущает, что растет, он чувствует в себе божественное. Вдохновение — так называется такой случай, такой момент творчества.

Амаль

Бывала,
што ў лесе
я адчуваў сябе амаль дрэвам,
у вадзе — амаль рыбай,
у полі — амаль коласам,
амаль птушкаю — на вяршыні,
а блізу мудрых людзей —
амаль чалавекам.
І нават
помню,
нешта амаль боскае
адчуў у сабе аднойчы,
калі ўзняўся над сабой
і адолеў сваё маладушша,
але да самога Слова так і не дайшоў —
не памысліў нават
і
не сказаў,
што ёсць *усім*...

Ловлю себя на мысли, что, читая Леонида Голубовича, в самом деле ощущаешь себя почти человеком. Потому что он думает свои стихи. Делает тебя собеседником. Заставляет и сопереживать, и *содумать*. Не додумать чужие стихи (особенно за письменным столом) — все равно, что написать свое стихотворение с уже освоенной и предложенной тебе мыслью. То есть заведомо пойти на плагиат. Нет, поэт наводит тебя на открытие в, казалось бы, известном чего-то совершенно нового, необычного, ранее не встречавшегося.

И если вдохновение — полет поэта над собой, то у Голубовича такой полет поддерживает мысль. И при этом никакой рассудочности, голой философичности, холодной прозы ума. Мудрость, которую, волнуясь, и как под чью-то диктовку свыше, не запинаясь выказывает творец. Вдохновение, задержавшееся на шесть строф, чтобы в последней блеснуть мыслью.

Імя

Прачнуўся ноччу й на паперы
я запісаў тваё імя,
і не даю наранку веры,
што анідзе цябе няма.

Ні ў памяці, ні ў сэрца сховах...
Ёсць толькі музыка, ёсць гук
няўлоўнага дарэшты слова,
аддадзены даслоўны гул...

Імя ў душы маёй начуе,
якая ў снах з пары тае
яго з-за свету дзесьці чуе,
а выкрыць свету не дае...

Цябе няма на гэтым свеце,
а там, дзе ёсць, ты й там — адна,
як Магдалена ў Назарэце,
што аднаму Хрысту відна...

Яна імя сваё адкрыла,
і Ён ад поклічу свайго
ёй даць хацеў — упаўшай — крылы,
калі прасіла... рук Яго...

Не адкрывай сябе
нязданым
тваё імя кляймом насіць,
лепш паміраць ад вечнай страты,
чым страчанай навечна быць.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что это одно из лучших стихотворений в мировой литературе. И, как видим, в нем снова присутствует Бог. Бог-Сын.

Тема Всевышнего, образно говоря, воздух (написать «сквозняк» редактор не разрешит), всей книги. Но такой, на котором не простудишься, а не дашь душе успокоиться, угнездиться в бренной плоти. Она не сжимается под ветром раздумий, потрясений и любви. Открывается и вбирает в себя свежий, новый мир словесного и «доСловесного» бытия.

Происходящее под пером поэта достойно отдельного исследования. Много раз в своей критической деятельности касался этого феномена и сам Леонид Михайлович. Но ярче всего, пожалуй, это получилось у него в книге литературных эссе «Сыс и Кулуары», изданной в 2010 году. Вот хотя бы эта мысль: «...чым даўжэй жыву, тым ясней (знутры сябе, а не са знешніх эмацыйных пасылаў) разумею і адчуваю сутнасць Паэзіі. Мяне, сённяшняга, яна не павінна ні шакаваць, ні маралізаваць, а перш за ўсё здзіўляць прыадкрываючы таямніцу аўтарскай душы. Паэзія, у высокім яе разуменні, ніколі не была асабістай справай, а найперш асабовай творчай дзеяй. Яна была і ёсць з'явай духоўных узрушэнняў чалавека, а не прыгожаслоўнай канстатацыяй пэўных дзей і рэчаў у прыродзе людскога жыцця. Прасцей кажучы, Паэзія — гэта інтымныя (tet-a-tet) адносіны паміж Словам і чалавекам...»

«Перш за ўсё здзіўляць». Да, нет в книге ни одного стихотворения, которое бы не открыло твои глаза на нечто не встречавшееся тебе раньше, напоминающее, скажем, какую-нибудь новинку архитектуры в городе, куда ты приехал на экскурсию. В поэзии роль такого обращающего на себя внимание «строения» чаще всего играет метафора. «Дзеці сачкамі для матылькоў // ловяць у мелкім канале малькоў... // Невадам зорным ловіць Гасподзь // зямнога тварэння зацененых спод...» Весьма наблюдательно, ничего подобного не находишь в памяти. «Сабака злізваў, як марозіва, // прынесены на пысе першы снег...» Улыбаешься и думаешь: как это тебе такое не пришло в голову. Таких примеров много, и каждый вызывает удивление. Подтверждая, по Голубовичу, наличие настоящей Поэзии. Но лучшие-то стихи его замахиваются на большее. Они поражают не столько точностью рифм (хотя поэт уверен, что «сховы ад рыфмы — // паэзіі // гострае брытвы»), і даже не столько метафорой (если она не сквозная), сравнением, мелодикой (такой, скажем, как при описании косьбы: «Паглядзіць на траву, // А пасля — на неба... // «Жык-жыву! Жык-жыву!» // І жыве як трэба» («Таемнасць споведзі», 1993); нет, они завораживают исповедальностью. Когда «таемнасць» раскрывается. Наверное, с таким чувством выслушивает священник исповедь прихожанина. Как это удается Голубовичу? Чаще всего лаконичностью простоты. Кажется, пишется воздухом.

* * *

Са сваімі правінамі, балячкамі, бедамі
раней да Бога чамусьці не йшоў —
далёка,
бліжэй да мамы...
Цяпер штораз да Яго іду,
Каб быць да мамы бліжэй...

Сердце переворачивается, когда читаешь и такое: «Сёння год як памерла мама. // У вёсцы лясной // зямля на магіле прасела, // грудок з долам зраўняўся. // Можна й *прыкласці,* // як кажуць у нас, // гэта значыць, // паставіць помнік. // Вясною выйдзеш на свет // першай травою, // мама... // А памяць сына // глыбейшая за магілу. // Там схавана тваё жыццё...» Как видим, минимум изобразительных средств. Но так стреляет пушка по сравнению с автоматной очередью. Служил — знаю.

У Голубовича подчас один образ вытягивает все стихотворение; так человек, очутившийся в заболоченной местности, спасительно нащупывает кочку. Сравним, как дважды Леонид Михайлович написал об одном и том же, и как оба раза по-разному. «Ёсць адчуванне, што страчваю сэнс жыцця. Куру, што патраплю. Чытаю, на што наткнуся. Гавару з кім давядзецца. Не смяюся. Не плачу. Не заводжу гадзіннік. Забываю нумар свайго тэлефону...» («Зацемкі з левай кішэні»). Есть здесь поэзия? Нет, конечно. Ни одной кочки.

А вот из книги «З гэтага свету»: «Хвіля за хвіляй, // дзень за днём, // год за годам... // Лыжка за лыжкай, // як дыетычную страву, // без жадання — // з'ядаю сваё жыццё...» Комментарии, как говорится, излишни.

Но иногда поэт как бы просто фотографирует. Ни одной внешней детали не берет, чтобы художественно оттенить снимаемое. Даже в замкнутом пространстве у него работают не придуманные, а вдруг проступившие живые штрихи. Кричат, вопят, ужасают. А на фоне этого не сходит из глаз и сердца поникшая, беспомощная фигура человека, окруженная безысходностью происшедшего в его жизни.

Адведкі бацькоўскай хаты

Цэлы год пражыла бацькоўская хата
сіратою ў спусцелай вёсцы.
Адна масніца ў святліцы
яшчэ мамінай хадою гаворыць,
а другая — скрыпіць чужым голасам...
Стаю пасярод хаты,
аточаны таямнічай ачужанасцю.
Распнуты Хрыстос на покуці
упарта чапляецца
за павучыну
жыцця...

«З гэтага свету» — возвращение поэта после долгого отсутствия? Да нет, от себя, конечно, он никуда не уходил. И когда жизнь, наслоившаяся годами, поступками с бесконечным погружением на дно самоанализа, оказалась невозможной без того, чтобы не рассказать о ней, появилась эта книга. Человека, для которого мир не стал пресным и до конца познанным. Тем она интересна и поучительна. Ведь нам никогда не хватает — для ума и восприятия жизни — чужого опыта. Все равно, что жить сиротой. «З гэтага свету» Голубовича каждый вынесет что-то очень важное для себя. Даже такое: «Помні, раз ты нарадзіўся, // ты ніколі не памрэш, // бо з мінулага з'явіўся // і ў наступнасць адплывеш...» Что и говорить: совет с легким юмором, а окрыляет, прибавляет оптимизма. Опыт — всегда багаж. Но редко бывает, чтобы тяжелый багаж прожитого, приобретенного и потерянного (только в поэзии существует *багаж потерянного*) уместится в тоненькую книжицу, да и тираж-то которой всего 360 экземпляров. Что ж, мал золотник, да дорог.

P. S. Изобретя оксиморон о багаже потерянного и порадовавшись ему, вдруг наткнулся на похожий в одном из сотен прежних стихотворений Леонида Михайловича: «Адзіны іх набытак — гэта страта». Настроение упало. Неужели все, что мы изобретаем, уже найдено другими, носится в космосе и с ехидной улыбкой посматривает на нас?



Имена

По следам одной литографии

Знакомясь как-то на досуге с эпистолярным наследием русского революционера, писателя и философа А. И. Герцена, я остановил свое внимание на одном письме, датированном 5 марта 1859 года, к художнику Михаилу Боткину. В нем Александр Иванович, рассматривая проблему соотношения искусства к действительности, в частности писал: «Чем кровнее, чем сильнее вживается художник в скорби и вопросы современности — тем сильнее они выразятся под его кистью. Знаете ли вы литографию, некогда сделанную Мицкевичем, — «Белорусского раба» — я на эту картину никогда не мог смотреть без биения сердца».

Неплохо зная творчество нашего соотечественника Адама Мицкевича, я, к великому стыду, ничего не знал об этой литографии. Тут же обратился к примечанию на это письмо, но в нем ничего не говорилось о картине. Тогда я стал просматривать произведения Герцена в надежде отыскать какие-либо подробности о «Белорусском рабе». Ведь не случайно заметил Александр Иванович, что «никогда не мог смотреть (на картину. — *В. А.*) без биения сердца». Значит, он рассматривал ее не один раз.

Вскоре мне повезло. Оказывается, А. И. Герцен уже писал об этой картине в 1853 году в своем знаменитом памфлете «Крещеная собственность». В нем Александр Иванович ставил перед своими читателями вопрос, на который сам же спешил и ответить: «Видели ли Вы литографию, изданную А. Мицкевичем и представляющую «Славянского невольника»? Ненависть, смешанная со злобой и стыдом, наполняет мое сердце, когда я гляжу на этот жестокий упрек, на это «к топорам, братцы», представленное с поразительной верностью». Далее следовало уточнение — это не обобщенный образ «славянского невольника прошлых столетий, а современный крепостной белорус: «Белорусский мужик, без шапки. Обезумевший от страха, нужды и тяжкой работы, руки за поясом, стоит середь поля и как-то косо и безнадежно смотрит вниз. Десять поколений, замученных на барщине, образовали такого парию, его череп сузился, его рост измельчал, его лицо с детства покрылось морщинами, его рот судорожно скривлен, он отвык от слова. Звериный взгляд его и запуганное выражение показывают, на сколько шагов он пошел вспять от человека к животным. За это преступление, за этого белоруса его паны не свободны, за него их геройство, их мученичество, их страдания не были приняты».

Неоднократное упоминание Герценом литографии, «изданной», а может быть, даже «сделанной Мицкевичем», рассчитано было на широкую известность этого плаката в кругу передовых читателей сороковых и пятидесятых годов. Дело в том, что с конца 1840 года до середины 1844 года Адам Мицкевич читал лекции по курсу славянских литератур в College de France в Париже. Свои лекции, кстати, пользовавшиеся широкой популярностью, великий поэт неоднократно сопровождал иллюстративным материалом, подтверждающим отдельные звенья его концепции. В этом отношении ему оказалась очень полезной и литография «Славянский невольник». В процессе работы над «Крещеной собственностью» Герцен не только сослался на эту самую литографию, но одновременно вспомнил и давно прочитанный им в Москве парижский курс славянских литератур Мицкевича. Именно в этих лекциях Герцен нашел для себя много родственных мыслей. Так, в дневнике от 12 февраля 1844 года А. И. Герцен констатирует: «Лекции Мицкевича au College de France 1840—1842. Мицкевич — славянофил вроде Хомякова u Chie со всею той разницей, которую ему дает то, что он поляк, а не москаль, что он живет в Европе, а не в Москве, что он толкует не об одной Руси, но о чехах, иллирийцах и пр. и пр. Нет никакого сомнения, в славянизме есть истинная и прекрасная сторона; эта прекрасная сторона верования в будущее всего прекраснее у поляка, — у поляков, бежавших от ужасов и казней и носящих с собою свою родину».

Как видим, курс славянских литератур Адама Мицкевича имел некоторое влияние на идейную эволюцию Герцена и подготовил в какой-то мере его переход от западничества сороковых годов к точке зрения



«русского социализма», побуждая одновременно со всей серьезностью отнестись к выдвинутой славянофилами проблеме русского крестьянства. К этим вопросам и проблемам Александр Иванович будет неоднократно возвращаться в таких своих работах эмиграционного периода, как «О развитии революционных идей в России» (1850), «Русский народ и социализм» (1851), «Поляки прощают нас!» (1853).

Но с течением времени строки о «славянском невольнике», а точнее, о «белорусском рабе», стали утрачивать свою конкретную осязательность, так как старые экземпляры восхитившей Герцена «литографии» растерялись и до нас не дошли. А новых ее воспроизведений в течение ста с лишним лет не появлялось. Неизвестным оставался и автор плаката. Больше того, о «белорусском рабе» не нашлось никаких сведений ни в литературе о Мицкевиче, ни в исследованиях о Герцене. Ни в одном из наших музеев и библиотек не оказалось воспроизведения «Белорусского раба». Безрезультатными были долгое время и поиски утраченного плаката, организованные редакцией академического издания сочинений и писем А. И. Герцена.

Следует сказать, что в этих поисках принял участие тогда молодой польский литературовед Базыль Бялокозович, выпускник Ленинградского университета, окончивший два его факультета — филологический (1956 г.) и исторический (1957 г.), ставший затем преподавателем Варшавского университета, а потом профессором Института славяноведения Польской академии наук и одновременно главным редактором журнала «Восточнославянская филология». Только в 1965 году он обнаружил в каталоге парижского музея Адама Мицкевича инвентарную запись, позволившую, наконец, установить, что именно имел в виду А. И. Герцен, апеллируя к литографии «Славянский невольник». Она дана в каталоге на странице 34-й, под номером 546. Здесь же отмечен и цветной вариант «Славянского невольника» под номером 547. Этот вариант выпущен в свет известной парижской литографией Лимерсье, вероятно, по заказу Адама Мицкевича. Правда, при увеличении портрета и его раскраске он был несколько деформирован.

В этом же каталоге указано и имя создателя плаката «Белорусский раб». Им оказался Юзеф Озембловский — наш соотечественник, уроженец города Минска. Он был на шесть лет моложе Мицкевича и учился в том же Виленском университете, в котором великий поэт слушал лекции тех же профессоров. Как художник Ю. Озембловский сложился в школе профессора живописи Виленского университета известного гуманиста Яна Рустема. В 1835 году он основал в Вильно литографическую мастерскую, где иллюстрировали свои книги Ю. Крашевский, Т. Нарбут, Ф. Бохвиц, Ю. Струмила, Я. Шимлер и другие. Среди работ Ю. Озембловского — пейзажи и виды Вильно, литовских и белорусских городов, жанровые зарисовки, портреты Я. Рустема, Ю. Франка, великого князя литовского Ольгерда, польского короля Сигизмунда II Августа и других, им же самим литографированных в основанной им в Вильно мастерской.

Место и время создания Юзефом Озембловским плаката «Славянский невольник» точно не установлены. Но есть все основания предполагать, что работа эта выполнена в той же мастерской, что и названные выше произведения.

Владимир ЧУКАЛИН

Литературное содружество

Стихи, которые лечат сердце

Жизнь подарила мне множество интересных встреч. Прожив несколько лет в Туркменистане, я познакомился со многими литераторами. Во-первых, я писал об их творчестве для разных ашхабадских газет. В том числе — и для газеты «Эдебият ва сунгат», литературно-художественного еженедельника, каждой публикацией в котором гордился. Пожалуй, самыми дорогими для меня являются воспоминания о встречах с народным поэтом Туркменистана Керимом Курбаннепесовым (1929—1988). Открыв для себя многие имена в туркменской поэзии, полюбив стихи целого ряда мастеров художественного слова, все же пальму первенства я отдаю великому шахиру Кериму.

Такие ж, как у всех людей,
Глаза поэта.
Да, не светлей и не темней
Глаза поэта.

Но в колебаниях теней,
В потоках света
Увидят мир всего верней
Глаза поэта.

Ты от него слезы не прячь,
А жди ответа:
Все прочитаешь, коли зряч,
В глазах поэта.

Глядит душа в глаза тебе,
Огнем согрета,
Заложенным в его судьбе,
Из глаз поэта.

А сквозь нее стихи глядят,
Почувствуй это!
Всегда на твой ответят взгляд
Глаза поэта!

Узнают: честен ли твой хлеб…
Для них секрета
Нет —
Все прочтешь ты, коль не смог,
В глазах поэта.

…Спустя 24 года после расставания с Керимом Курбаннепесовым и Туркменией я перечитываю это стихотворение в переводе О. Дмитриева в минской больнице. Сюда я попал с неделю назад. Свалил обширный инфаркт. И когда уже перевели из реанимации в обычную палату, попросил дочь принести из дома книгу «Избранное». Вчера и сегодня перечитываю все стихи подряд. Такое, согласитесь, бывает не часто — когда весь внушительный сборник (365 страниц!) принимается в душу одной большой порцией… Но сердце мое выдерживает. Знакомые и раньше стихотворения (многие из них отдельными строчками прочно засели в памяти) похожи на биклагу с родниковой водой. И жадными глотками я выпиваю эту спасительную воду, будто в сенокосный июнь где-нибудь за речкой Свислочь. У родного дома. Почему так происходит? Почему легко кочуют стихи из пустыни в мою лесную и речную Беларусь? Причина кроется, вероятно, в одном: в подлинности, в проникновении в сокровенное, что всегда волновало и волнует читателя.

В предисловии, точнее — в серьезной вступительной статье Дмитрия Молдавского к книге «Избранное», есть такой пример: «Мне вспомнилось письмо женщины из Белоруссии, приведенное в «Литературной газете»: «Неожиданно жестокий удар свалил меня с ног, я думала, лишилась разума. И я дошла до крайности. Я отправилась на почту, чтобы написать последнее в жизни письмо. И вдруг на глаза мне попалась витрина с книгами. Внимание привлекла солнечного цвета обложка небольшой книжки и название «Ради доброты». Взяла сборник и тут же прочла на десятой странице:

Скажите, вы, наверно, замечали
Средь уличной текучей тесноты
Отмеченные глубиной печали
Людские лица скорбной красоты!
(Перевод Ю. Рябинина)

Прочитав стихотворение, я сдержала слезы. Но невольно прижала к груди волшебную книжечку, как самое дорогое, боясь потерять. Я даже забыла, что шла писать последнее в жизни письмо» («Литературная газета», 1976, 15 апреля).

Здесь речь шла о стихах Керима Курбаннепесова».

С «Избранным», по которому я цитирую и письмо, и стихи, у меня своя история. Вообще-то у меня есть 3 экземпляра из десятитысячного тиража этого солидного поэтического тома, выпущенного московской «Художественной литературой» в 1979 году, аккурат к 50-летию Керима Курбаннепесова. Две книги я привез из Ашхабада. Одну купил в букинистическом магазине, где-то между Русским базаром и

Текинским рынком. Вторую мне подарил Керим-ага. А третий экземпляр, который лежит у меня перед глазами, недавно передал Алесь Жук. На шмуцтитуле экземпляра Жука — автограф: «Моему талантливому другу Алесю — Саше с наилучшими пожеланиями и с симпатией к его личности — Твой Керим. 24.XII.1980. Ашхабад».

Я и тогда, в середине 1980-х, знал, что Алесь Жук приезжал в Ашхабад, встречался с Керимом Курбаннепесовым. А в домашней библиотеке народного шахира видел одну из книг белорусского прозаика. Кажется, сборник, вышедший в московском издательстве «Молодая гвардия». Книгу же «Избранное» известный белорусский писатель, лауреат Государственной премии Республики Беларусь получил из Ашхабада по почте. Вместе с теплой открыткой от Керима Курбаннепесова, которая тоже, как и автограф на книге, датирована 24 декабря: «Дорогой Алесь! Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом! Большое спасибо за книгу «Снег под солнцем». Почитаю и напишу. Спасибо за книжки Панченко. Прочитал 5—6 стихотворений, очень понравились. Должно быть, на белорусском еще лучше.

Посылаю свою книжку на память. Приезжайте еще раз. Просто так. В Туркмению, ко мне в гости.

Поклон домочадцам.

Еще раз с Новым годом!

Твой Керим (автограф подписи)».

Текст открытки интересен и тем, что подтверждает постоянный интерес Керима Курбаннепесова к поэзии народного поэта Беларуси Пимена Панченко. В 1987 году Керим-ага (по подстрочнику, который я специально для него подготовил) перевел и опубликовал в газете «Эдебият ва сунгат» «Поэму стыда и гнева» П. Панченко. Яркое, гражданское, публицистическое произведение, каждая строчка которого брала за душу, полюбилось и туркменскому читателю. Проблемы языка, национальной культуры, экологии — все это было актуально и для Туркменистана. Знаю, что после публикации было много звонков и писем и в редакцию, и непосредственно автору. Кстати, Керим-ага очень трепетно относился к общению с читателями. Об этом говорят и многие его стихотворения. Даже такое шутливое, написанное в 1977 году, «Фото на память»:

Любому ясно —
В сорок восемь лет
Весьма приятно получить конверт,
Надписанный девической рукой!
Я нынче утром получил такой,
Запрещено ли письма получать?
(Читателям я должен отвечать…)

Конверт красивый с подписью «Джемал»
Вертел в руках, письма не вынимал.

Известно, почерк с человеком схож.
А у Джемал он — дьявольски хорош!

На обороте — дорогой девиз:
«С приветом мчись,
С ответом возвратись!»

Я всей душою ощутил восторг —
Джемал нежнее этих славных строк!

Я вскрыл конверт,
И в этот чудный миг
Явил мне фотоснимок
Чудный лик.

Прелестный ротик скрыт под яшмаком —
Вы даже не мечтали о таком.

Еще в конверте было письмецо:
«Поэт, примите в дар мое лицо,
Оно озарено любовью к вам
И к вашим замечательным словам!

Я всей душой надеюсь, что в ответ
Вы мне пришлете книгу и портрет.

Я вас не забывала никогда —
Ни в наши дни, ни в новые года.

Я в вас влюбилась тридцать лет назад,
А вот теперь мне
Скоро шестьдесят».

Шепчу я, как в тумане, как во сне:
— Ну, женщина!
Устроила ты мне…

(Перевод О. Дмитриева)

…Кроме Алеся Жука Керим-ага хорошо знал и других белорусов. Частыми гостями у него дома были в разные годы журналист Дмитрий Писляков, писатель-документалист Николай Калинкович. Поэт Алесь Емельянов, привезший в Ашхабад антологию белорусской детской литературы для перевода на туркменский язык, тоже встречался с Керимом Курбаннепесовым. В библиотеке туркменского шахира я видел альманах «Даляглядды» с переводами стихотворений Керима на белорусский язык. Ежегодник вместе с обстоятельным письмом прислал в Ашхабад сам переводчик — Микола Аврамчик.

Будем надеяться, что дороги поэтического слова Керима Курбаннепесова в Беларуси станут еще шире и прочнее. Такие стихи лечат и сердце, и душу.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

После публикации

Достойно и ярко

Если спросить у случайного прохожего, что, на его взгляд, ассоциируется с Аргентиной, то, скорее всего, он ответит, что эта страна помимо танго дала миру Марадону и Месси, а у нас в Беларуси все знают Эдуарда Малафеева, Сергея Алейникова или Александра Глеба. Футбол в настоящее время — брэндовый вид спорта. В 30-е годы прошлого века и вплоть до войны таким же брэндовым видом спорта являлись шахматы. Этому предшествовал период конца XIX века, когда шахматы были популярны в домах европейской аристократии, а первый турнир в 1851 г. дал старт спортивной эре шахмат. В то время древняя игра была культовым занятием у европейской знати, сродни гольфу сейчас. В представлении многих умение хорошо играть в шахматы говорило об интеллекте и уровне культуры человека.

В 30-е годы XX века фамилии Ласкера, Капабланки, Алехина были на устах и слуху, в том числе у жителей Советской России, в немалой степени благодаря популярности шахмат за рубежом, ярким победам чемпиона мира Александра Алехина и колоритности его личности, а также личностей Ласкера и Капабланки. Уже в те времена Страна Советов переживала настоящий шахматный бум. В шахматы играли все: от школьников и студентов до чиновников и военачальников. Шахматные чемпионаты собирали огромные аудитории, по радио регулярно вели репортажи об этих турнирах, к началу которых торопились домой почти так же, как сейчас к началу футбольных трансляций, а фамилии ведущих шахматистов были известны широкому кругу общественности.

Мой отец стал завсегдатаем этих соревнований будучи в ранге перворазрядника (тогда ему было 22 года). Уже в первом престижном — чемпионате СССР — он произвел фурор, обыграв ряд ведущих шахматистов, в том числе и победителя турнира Григория Левенфиша, занял 13-е место при 20 участниках, одержав 9 побед при 10 поражениях без ничьих (случай уникальный), и враз стал известным на весь Союз.

В 1937 году отец завоевал звание мастера спорта СССР, обыграв в квалификационном матче сильного мастера из Москвы Василия Панова.

Планка мастера спорта СССР по шахматам была поднята высоко: для получения этого звания необходимо было обыграть мастера, назначаемого Шахматной федерацией. Причем эти шахматисты в поддавки не играли — для них поражение в матчах с перворазрядником рассматривалось как серьезный удар по их престижу. Экзаменатором отца был один из сильнейших московских шахматистов Василий Панов. Отец был человеком скромным, и хотя я был осведомлен о его довоенных шахматных достижениях, об общественном резонансе его успехов я узнал позже. В конце 70-х годов, когда отец мужественно боролся с постигшим его тяжелым заболеванием, директор онкологического Института им. Герцена в Москве академик Павлов сказал ему во время обхода: «Гавриил Николаевич, а ведь Ваша фамилия гремела перед войной». Отец был тяжело болен, но ему было приятно это услышать, и, вернувшись в Минск после последнего курса облучения, он с гордостью рассказал об этом в семье. На одной из научных конференций я встретился с известным физиком-теоретиком профессором Лазарем Роттом, и тот рассказал, что за матчем отца с Василием Пановым следила вся Белоруссия.

В середине 30-х годов отец в шахматных успехах постепенно и постоянно поднимался, что позволило эстонскому гроссмейстеру Паулю Кересу сделать прогноз (в это время отцу было 28 лет), что к середине 40-х годов Гавриил Вересов может выйти на ведущие позиции в мире. И действительно: в чемпионате СССР 1940 года отец разделил уже 7—9-е места при 20 участниках (гроссмейстер, будущий чемпион мира Михаил Ботвинник расположился непосредственно перед ним, заняв 6-е место). Возможно, прогноз выдающегося эстонского шахматиста Пауля Кереса и сбылся бы, если бы этот спрогнозированный пик не пришелся на сороковые годы — годы войны. Постоянно прогрессируя, отец входил тогда в десятку сильнейших на чемпионатах СССР.

В июне 1941 года отец играл в чемпионате СССР в Ростове. По рассказам мамы, он возлагал большие надежды на этот турнир и считал, что способен победить любого и занять высокое место. В Ростов приехала мама, чтобы поддержать

его. Но 22 июня грянула война. Чемпионат прервали, и Вересовы заспешили в Минск — здесь у мамы остались родители. Когда они доехали до Смоленска, Минск уже был захвачен немцами. Мама в Смоленске пошла навестить свою тетю. В это время немцы высадили десант, который разделил родителей линией фронта, к счастью, не навсегда. Мама оказалась на оккупированной немцами территории, а отец на еще не оккупированной, где и был призван Красную Армию. Мама со своей тетей, обходя пункты, занятые немцами, и не имея каких-либо запасов продовольствия, решили добираться пешком в Минск, где оставались ее родители, и в конце концов через 10 дней дошли туда.

На фронте в 1942 году отец был тяжело ранен, а командир части сообщил, что он погиб. Однако отец чудом выжил, хотя на всю жизнь на затылке у него осталась метка — углубление размером в несколько сантиметров…

Позднее, в 1948 году, отец был направлен на учебу в аспирантуру Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, которую успешно закончил, защитил кандидатскую диссертацию по истории международных отношений, а параллельно закончил еще и заочную дипломатическую школу при АОН. Надо сказать, что до войны он закончил физмат Белорусского государственного университета. После окончания АОН отца направили на работу в Белорусский МИД, а в 1952 году назначили Председателем Белорусского общества культурных связей с зарубежными странами (БЕЛОКС). Понятно, что у него не было возможности уделять много времени любимой игре. Шахматные успехи понемногу пошли на спад, хотя он и выиграл несколько чемпионатов Белоруссии (в 1958, 1963 и 1971 гг.), а в семи первенствах стал призером, сыграв, как говорят сейчас, «на классе». Помимо занятости на работе сказалось и ранение, и длительное отлучение от профессионального занятия шахматами. В результате прогнозировавшийся экспертами высокий пик шахматных достижений отцом так и не был достигнут. Война по существу поставила крест на возможно звездной карьере талантливого шахматиста, но в то же время дала толчок в ином направлении. С 1952-го по 1958 год он председатель правления Белорусского общества культурных связей с заграницей. На этом поприще отец, приученный шахматами к свободе в творчестве, к поиску и принятию нестандартных решений, в чиновничьей среде, как мне сейчас представляется, чувствовал себя не слишком комфортно. Зато его всегда манило общение с людьми творческими, талантливыми. Среди его друзей были писатели Иван Шамякин и Иван Стаднюк, Аркадий Кулешов, Максим Лужанин, драматург Андрей Макаенок, скульпторы Заир Азгур и Андрей Бембель, художник Зенон Павловский, актер театра и кино Роман Филиппов, академики Федор Константинов и Евгений Коновалов.

Где бы отец ни трудился, как бы ни был загружен общественными делами, любую свободную минуту он посвящал шахматам. Большинству нынешних шахматистов, которые тем и заняты, что играют, переезжая с одного турнира на другой, возможно, трудно представить, как удавалось ему совмещать, причем на высоком уровне, столько занятий, каждое из которых требовало огромной самоотдачи. Секрет здесь прост — он был трудоголиком. Его невозможно было застать ничего не делающим. Забывая о времени, он порой до рассвета засиживался за анализом шахматных партий, за чтением справочников, энциклопедий, книг, он любил и прекрасно знал литературу, отечественную и зарубежную (это были новинки из его любимых журналов «Новый мир», «Иностранная литература», «Современник», «Юность», «Неман», «Наука и жизнь», на которые он подписывался, читал книги на польском языке), и, как мне представляется, отдавая предпочтение произведениям глубоким, с философским подтекстом. Порой казалось, что жизни только для себя у него просто не существует. Двери нашего дома были открыты в любое время. Шахматисты, коллеги и ученики, его друзья приходили на огонек нередко поздними вечерами, и никому не отказывалось в гостеприимстве.

Мой отец был высоконравственным человеком, что было присуще многим представителям интеллигенции того времени, и тяжело воспринимал непорядочность людей, с которой ему иногда приходилось сталкиваться. Показателен случай, произошедший на одном из чемпионатов БССР. Отец был уже немолодым человеком, для него выступление в том чемпионате было сродни «лебединой песне». В семейном кругу он говорил, что этот чемпионат, скорее всего, станет последним в его шахматной карьере. За два тура до окончания он лидировал с перевесом в одно очко, а в предпоследнем туре после двух часов игры имел небольшой позиционный перевес в

партии с одним из участников. Подойдя к столику, где его основной конкурент играл с одним из ведущих мастеров, он увидел, что конкурент остался без ладьи, находится в безнадежном положении и по логике вещей должен был признать свое поражение, т. е. сдаться. Перевес в одну ладью в шахматах — это огромное преимущество, достаточное, как правило, для легкого выигрыша шахматиста 2-го или 3-го разряда у гроссмейстера. Видя столь безнадежную ситуацию в партии конкурента, отец не стал «испытывать судьбу» (смысл кавычек станет ясен ниже) и согласился на предложенную ему ничью, тем более что в последнем туре его ожидала встреча с одним из аутсайдеров чемпионата, у которого отец выигрывал без проблем. Каково же было его изумление, когда партия, в которой его главный конкурент имел безнадежную позицию без ладьи, была отложена, а не сдана. У отца, естественно, закралось подозрение, которым он, придя домой, поделился со мной и мамой, правда, добавил, что вряд ли известный мастер проиграет, по сути, выигранную партию — ведь он тем самым скомпрометирует себя как человек. На следующий день сбылось то, что накануне представлялось маловероятным, — «мастер» в абсолютно простой ситуации… подставил ладью и проиграл, т. е. сыграл в поддавки. Всегда тяжело переживавший непорядочность людей, отец был сильно расстроен, и в результате в последнем туре сам проиграл не самому сильному шахматисту, во встречах с которым до этого имел едва ли не стопроцентный результат. Как представляется это мне сейчас — та партия конкурента была тщательно срежиссированным спектаклем от начала до конца: от попадания конкурента в проигранную позицию до последующего «возрождения из пепла» и расчета на гиперчувствительность Вересова к непорядочности. Однако, как говорят, бог им судья. Сейчас такие поединки называют договорными, часто мотивируются большими деньгами, но ведь независимо от мотива у людей, участвующих в договорных матчах, не все в порядке с совестью и моралью. Отец же занял в том турнире 2-е место и в течение нескольких месяцев находился в подавленном состоянии, плохо спал, и это, возможно, явилось причиной серьезной болезни в дальнейшем.

Отец был принципиальным и объективным человеком. Будучи председателем Шахматной федерации БССР, он принимал окончательные решения при формировании команд и распределении членов команд по номерам досок (т. е. игравший на первой доске шахматист играл с сильнейшим шахматистом команды соперников, второй со вторым и т. д.) для участия в соревнованиях, таких как командные чемпионаты СССР, спартакиады или встречи с зарубежными шахматистами, всегда руководствовался спортивными принципами. Он всегда считал, что в команде должны быть представлены самые сильные шахматисты, а распределение по доскам должно осуществляться в соответствии с их шахматными достижениями. Казалось бы, это естественно для руководителя любой федерации по любому виду спорта. Однако чего греха таить, и у нас, да иногда и в других странах, формирование команд осуществляется необъективно и не всегда следуя спортивным принципам.

Я также вспоминаю, что отцу в период его руководства федерацией шахмат как-то предложили из тактических соображений поменять досками нескольких шахматистов, поставив более слабого на более высокую доску, а более сильного, который был способен обеспечить результат, опустить на более низкую. Однако отец резко пресек это предложение, сказав, что мы — сборная Белоруссии, а не команда карточных шулеров. Он и впоследствии, уже не являясь руководителем шахматной федерации, боролся за принципы честности, чистоты и «fair play» в белорусских шахматах.

В 70-е годы отец принимал участие в турнирах лишь изредка, стал заниматься шахматной аналитикой. Хочу пояснить роль аналитики в шахматах. Хотя шахматы теоретически (математически) конечны (существует конечное, хотя и очень большое, число вариантов), но число возможных вариантов многократно превосходит среднее количество вариантов, которые квалифицированный игрок способен просчитать за время обдумывания одного хода в партии, т. е. шахматы — бесконечны с практической точки зрения, будучи конечными теоретически (иногда говорят, что они находятся на грани конечного и бесконечного). Вместе с тем за короткое время обдумывания хода шахматист должен принять решение об оптимальном продолжении, которое чаще всего базируется на количестве просчитанных вариантов и интуиции при отборе просчитываемых вариантов, что часто происходит на уровне подсознания. Часто ход, который делает шахматист после длительного размышления, не является абсолютно лучшим, что иногда обнаруживает соперник

и наказывает за просчет, но… ошибка вскрывается лишь при более продолжительном и глубоком анализе уже в несоревновательной обстановке. Так обнаруживаются «победные варианты», которые впоследствии становятся т. н. «домашними заготовками», способными повлиять на успехи в турнирах и матчах. Проанализировав огромное количество партий, сыгранных выдающимися шахматистами мира, отец установил, что многие победы «великих» достигались в результате ошибок и правильных ответов соперника. Если в футболе ошибки обнаруживаются чуть ли не сразу или после анализа видеопросмотров, то для опровержения шахматных вариантов требуются иногда дни и месяцы (а иногда и годы) тщательного рассмотрения и, безусловно, таланта.

Отец пошел дальше, существенно продвинув установление закономерностей в шахматах, которое, казалось бы, закончилось в эпоху известных мастеров XIX века Филидора, Стейница и Тарраша. С тех пор шахматная наука как бы остановилась, и в течение долгого времени считалось, что она достигла потолка из-за того, что шахматы практически бесконечны и в них случайность доминирует над закономерностью.

Отец был первым, кто обратил внимание на существование позиций с проявлением феномена, который можно назвать «практическая бесконечность шахмат при их теоретической конечности». Это две группы позиций, из которых первая — практически проигранные позиции, но теоретически ничейные из-за существования одного-единственного, часто неочевидного, варианта спасения; и вторая — практически ничейные, но теоретически выигрышные из-за существования одного, часто неочевидного, пути к победе. Может быть, я ошибаюсь, но отец первым выдвинул идею о создании науки об ошибках с использованием шахмат, находящихся, как и сама жизнь, на границе между конечным и бесконечным, в качестве модельной системы для исследования природы человеческих ошибок.

Валерий ВЕРЕСОВ,
главный научный сотрудник
Института биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси,
доктор биологических наук.

Жизнь в искусстве

«Тэатральны куфар»-2012. Против правил

Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар» в этом году нарушил свои традиции. Всегда осенний театральный проект на этот раз прошел летом, в качестве авторитетного жюри выступили зрители (победитель определялся только с помощью зрительского голосования), а компанию «самому душевному фестивалю» составил IX Всемирный конгресс Международной ассоциации университетских театров. И если в прошлом году зрители увидели более тридцати спектаклей, то в этом всего лишь двенадцать, два из которых не участвовали в конкурсной программе, а были частью спецпроекта фестиваля «По ком звонит колокол…». Пришлись ли такие изменения по вкусу публике и наполнился ли «куфар» доверху, как это было всегда?

Проводить параллельно два таких масштабных международных мероприятия — не самая простая задача. И это было заметно. Церемония открытия фестиваля в этом году была не такой впечатляющей, как, например, прошлогодняя. Символический золотой ключ отомкнул театральный сундучок у входа в Республиканский Дворец культуры профсоюзов. Знакомство с коллективами-участниками прошло быстро: зрители смогли увидеть лишь спины актеров, поднимающихся по ступенькам во Дворец культуры профсоюзов. Концертная часть открытия прошла в форме небольшого представления с национальными белорусскими песнями и танцами. Организация оставляла желать лучшего, но длилось представление недолго.

Без досадных мелких неприятностей на фестивале, к сожалению, не обошлось. Сначала театр-студия Белорусского государственного университета «На филфаке» снял свою постановку из-за болезни актрисы. Потом китайский Театр Центральной академии драмы не привез с собой декорации, отчего спектакль потерял внушительный процент зрелищности: пустая сцена не помогала понимать китайскую речь и действие в целом. Спектакль болгарского Театра-лаборатории «Alma Alter» пришлось



Сцена из спектакля «Музей».

перенести из актового зала Лицея БГУ в холл второго этажа: актеры отказались выступать на сцене из-за неподходящего для их пластических номеров покрытия (однако такие перемены не помешали ребятам из Болгарии донести свои идеи и эмоции до зрителей).

Но досадные мелочи — это не тенденция, а вот какие тенденции можно выделить в программе фестиваля, который прошел в спайке с Конгрессом, где ученые и театральные деятели со всего мира обсудили прошлое, настоящее и будущее университетского театра и театрального процесса в принципе? В этом году среди спектаклей, отобранных на фестиваль, почти все постановки затрагивали тему семьи, взаимоотношений между людьми, умения близких слушать друг друга. Театр Центральной академии драмы г. Пекина открыл фестиваль спектаклем «Семья»: история китайского рода — три женщины пытаются бороться за свою любовь, выступая против феодальных нравов. Нечто похожее продемонстрировал и Театр Университета Атенео, г. Манила (Филиппины) — спектакль «Чистая любовь» был сделан по мотивам «Ромео и Джульетты».

Постановка «Поговори со мной» Творческой исследовательской лаборатории «IACE» Университета штата Нью-Йорк, г. Буффало (США) отправила зрителей в путешествие во внутренний мир героев с его переживаниями и проблемами. Актеры пытались донести мысль о том, что людям нужно уметь говорить, слышать и слушать друг друга. Работа ребят из США получилась довольно динамичной, современной и близкой зрительской аудитории.

Театр-студия «ГаРмЫдЭр» из Украины разбил свою «Мистерию любви» на три истории, каждая из которых о людях, ищущих любви. Герои постановки борются за свои чувства, бегут от одиночества. Особый колорит спектаклю придали стихи украинских поэтов и необычная сценография: например, вертикальные кровати, установленные перпендикулярно к сцене.

«Гамлет, или Три мальчика и одна девочка» — скорее не спектакль, а перформанс театра из Болгарии. Интерактив актеров и зрителей не исчезал из театрального пространства на протяжении всего действия. Герои постановки обращались

к конкретному зрителю с вопросом, просили подержать реквизит или пересесть на другое место. Суть постановки — Гамлет в разрезе: если вскрыть этого персонажа, разобрать на «запчасти» его мысли, мотивации, поступки, то получится совершенно другой герой, а Гамлет станет уже не персонажем пьесы, а феноменом или чертой характера, которая присуща любому из нас. Пожалуй, это самый яркий и эпатажный спектакль фестиваля.

Театр Белорусского государственного университета «На балконе» главным действующим лицом спектакля «Круги» сделал человека. После смерти он разделился на голос, тело, душу… Обретя самостоятельность, они долго спорили, кто же главнее, пока не пришли к выводу, что человек — основа всего, и вернули его к жизни.

Муки совести и страдающая от них личность — предсказуемо основная линия спектакля «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского. Адаптацию русской классики представил Театр-студия г. Пайсанду (Уругвай). Показ прошел не очень удачно: испанский язык был совсем непонятен зрителям — спасал только знакомый сюжет. Кстати, этому театру досталось меньше всего зрительских голосов.

Ложку смеха и бочку искусства привез с собой Театр-студия «INSA Lyon» Национального института прикладных наук, г. Лион (Франция). Спектакль «Музей» (название, кстати, говорящее) познакомил зрителей и с посетителями, и с экскурсоводами, и с уборщицами, и с охранниками. Одним словом, со всеми, кто только может попасть в музей. Герои спектакля попытались доказать, что искусство вокруг нас. Все, что нас окружает, — культурная ценность, а мы — созерцатели.

«Иллюзион» — спектакль о кино, приехавший к нам из России. Актеры театра «МОСТ» из Московского государственного университета оказались виртуозами перевоплощения. Кого только зритель этого спектакля не повстречал: Одри Хепберн, Чарли Чаплина, Марлен Дитрих, Вуди Аллена, Кэтрин Зету Джонс. И это далеко не весь звездный список. Замечательные костюмы, отличная работа со светом, музыкальное оформление — все это помогло создать ощущение настоящей съемочной площадки.

Победителем и обладателем Большого Куфара (главный приз) стал Театр «PS09» Университета прикладных наук (г. Вильнюс, Литва). Ни яркие костюмы, ни новаторство, ни эпатаж не покорили белорусских зрителей — они отдали предпочтение классике. Отрывки из лучших пьес Чехова принесли литовскому театру наибольшее количество зрительских голосов — 8,8 балла.

В этом году основной темой почти каждого фестивального спектакля стали человеческие отношения. В постановках был отражен национальный колорит каждой страны, подтверждая стремление к уникальности, характерное для нашей эпохи. Но есть в этом стремлении и свои минусы. Многие спектакли шли на национальных языках, однако зрителям это доставляло неудобство, так как субтитров не было ни у одной иностранной постановки. Чего не



Сцена из спектакля «Круги».



Сцена из спектакля «Иллюзион».

скажешь о прошлогоднем фестивале, там почти у всех участников были либо русские, либо английские субтитры. Из общих тенденций стоит еще отметить, что многие коллективы использовали в своих спектаклях экран, дополняя постановку еще и видеорядом, а большинство из них — приверженцы синтетического театра: активно используются пластика, танец, музыка.

В целом самый душевный фестиваль «Тэатральны куфар» был таким же веселым, теплым и добрым, как и всегда. И появление новых традиций — это неплохо: «Куфару» есть куда развиваться, а любое развитие предполагает некоторые изменения. Порой и кардинальные. Чем самый душевный фестиваль удивит в следующем году — остается только гадать. И ждать, пока золотой ключик вновь откроет для нас заветный театральный сундучок.

Марина СОЛОВЕЙ

Выставки

Нарисованное слово

В столичной «Галерее искусства» общественного объединения Белорусского союза художников экспонировалась выставка известного художника Алеся Квятковского, преподавателя рисунка и живописи архитектурного факультета Белорусского национального технического университета. На ней были представлены абстрактные живописные работы и акварельная графика.

Зал, вместивший в себя произведения художника, словно пронизан желтооранжевым сиянием, напоминающим то ли солнце, то ли медовый цвет. Выставка вряд ли привлекла внимание любителей реалистических картин, а вот любителей поломать голову над замыслом художника — она порадовала. И особенно любителей белорусской поэзии, потому что ключ к картинам можно найти в стихах поэтов Анатоля Сыса и Виктора Шнипа. Ведь именно их поэзия вдохновила создателя на такие картины, как «Лодка», «Корзина», «Небо», триптих «Стог», «Решето», «Кувшин» (по мотивам стихотворений В. Шни-

па), «Пчелиное вознесение» (по мотивам стихотворения А. Сыса). Вот в этой картине, в которой преобладают оранжево-зелено-коричневые цвета, поэт вознесся с роем пчел над обыденностью, над людьми. Глядя на нее, хочется улыбаться. Впрочем, это мое ощущение, кто-то иной поймет ее по-другому. Ну а картина «Гражданин с собакой стережет пчел» (по мотивам произведений В. Шнипа) точно вызовет улыбку у тех, кто знает поэта, — уж очень легко его, усатого и в очках, узнать в стороже пчел.

«Нарисованное слово» — оригинальный персональный проект Александра Адамовича Квятковского, основной темой которого является тесная связь с белорусской поэзией (чаще всего художник обращается к стихам В. Короткевича, А. Сыса, В. Шнипа, М. Шелехова). Выставка путешествует по городам Беларуси с осени 2009 года, каждый раз дополняясь новыми произведениями. А выставка в Галерее, названная «Нарисованное слово. Продолжение», — восемнадцатая по счету в этой серии. Кстати, многозначительно названная картина «Изображенное слово» тоже демонстрировалась в галерее. На фоне темноты — догадываюсь: темное небо над вечерним морем — видны проблески. Хочется думать, что слово и есть эти искорки света.

Татьяна КУВАРИНА



Авторы номера

ЕЛЕНЕВСКИЙ Николай Васильевич. Родился в 1948 г. в д. Лунин Лунинецкого района Брестской области. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Печатался в отечественных и российских журналах. Автор книг «Время пастыря» и «Небесный штурмовик». Лауреат областной литературной премии им. В. Колесника и премии Белорусского союза журналистов. Живет в Пинске.

ЕВСЕЕВА Светлана Георгиевна. Родилась в 1932 г. в Ташкенте. Окончила литературный факультет Ташкентского педагогического института им. Низами и заочно Литинститут им. М. Горького. Автор книг стихов «Женщина под яблоней», «Новолуние», «Зову!», «Ищу человека», «Последнее прощание» и др. Живет в Минске.

ГОРДЕЙ Виктор Константинович. Родился в 1946 г. в д. Малые Круговичи Ганцевичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор множества книг. Лауреат литературной премии имени И. Мележа. Живет и работает в Минске.

ГАЛЬПЕРОВИЧ Наум Яковлевич. Родился в 1948 г. в Полоцке. Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, окончил Витебский педагогический институт. Поэт, прозаик, публицист, радиожурналист. Автор ряда книг. Директор радиостанции «Беларусь». Живет в Минске.

ШАТЫРЕНОК Ирина Сергеевна. Родилась в Молодечно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Писатель, журналист, публицист. Автор книг «Нешкольные рассказы», «Старый двор моего детства», «Пестрые повести о любви», «Банные мадонны», «Старый двор», «Слово о слове». Лауреат премии конкурса им. А. Дубко Гродненского облисполкома в номинации «Писатель года» за 2011 г. Живет в Гродно.

СИМОНОВ Павел Андреевич. Родился в 1966 г. в Минске. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт. Главный редактор журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков». Живет в Минске.

БРЭДБЕРИ Рэй (Рэймонд Дуглас). Родился в 1920 г. в г. Уокиган (Иллинойс, США). Окончил среднюю школу. Американский писатель, классик научной фантастики. Автор 11 романов, среди которых особую известность получили «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Смерть — дело одинокое», повестей, рассказов. Лауреат многочисленных премий, в том числе Пулитцеровской. Умер 5 июня 2012 г. в Лос-Анджелесе.